ЗАВОЕВАТЕЛИ БЕЛЫХ ПЯТЕН

М. Розанов

МИХАИЛ РОЗАНОВ

ЗАВОЕВАТЕЛИ БЕЛЫХ ПЯТЕН

«ПОСЕВ»
1951 ГОД
ЛИМБУРГ

М. РОЗАНОВ

Завоеватели белых пятен

Посев
1951

Copyright by Autor and „Possev“

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не только для иностранца, но и для многих русских советская действительность остается неразрешенной загадкой. Почему именно в стране узаконенного народоправия больше всего «преступников» и меньше всего признаков обеспеченности и свободы? Почему именно в русском языке родилось слово «невозвращенец», а Красная армия и советская деревня дали, после войны, наибольшее количество «изменников»? Как случилось, что тысячи и тысячи граждан богатейшей и обширнейшей страны теперь ищут места подальше от Родины? Из сотен вопросов я беру один — вопрос о том, почему Россия стала концлагерем с того момента, когда ей дали новое имя — «СССР».

Я отдал концлагерям свыше одиннадцати лет жизни — срок, который выдерживают единицы на миллион. По настоянию друзей и зову совести, я решился еще раз пережить прошлое, беспристрастно описывая не только факты, но и причины их.

В качестве счетовода, нормировщика и экономиста я принадлежал к лагерной аристократии — к тем пяти процентам заключенных, которые не страдают зимой от морозов, а летом от комаров, и у кого не ноет поясница и не трясутся от усталости и слабости колени. Благодаря этому, я сохранил жизнь. Но миллионы, не выдержав «перековки в полезного члена социалистического общества», навеки умолкли. Безвестные могилы их разбросаны по всему необъятному Северу —

... Ветер там один гуляет,
Мать родная не узнает,
Где сынок схороненный лежит...

Так поют заключенные. Другие миллионы, загубив в лагерях здоровье и силу, превратившись в калек и слабосильных, вымерли на ссылках в Сибири и на Урале, куда их, под видом «разгрузки лагерей» вывозили до 1932 года, чтобы добить, ибо они стали убыточным балластом в социалистическом производстве.

Жуток и бесконечен счет «победы большевиков над Севером». Пот, кровь и трупы. Трупы, кровь и пот. По всему миру разносится пропаганда об индустриализации Севера героическим советским народом. — Ложь! Север осваивают только заключенные.

Концлагерь — наглядная школа теории естественного отбора и борьбы за существование. Выживают более ловкие и сильные, выми-

рают робкие и слабые. Эксплоатация человека большевизмом видна в концлагере, как на экране, она бросается в глаза даже близоруким. Кто хочет досканально изучить политику и методы большевизма, тому полезнее всего сесть, хотя бы на год, в концлагерь. Год практического изучения дает больше, чем двадцать лет долбежки в институте Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Туманные ученые определения, вроде—«каждому по труду», в концлагерях уже приняли вполне конкретные формы котлов и черпаков разного размера, — в зависимости от процентов выработки нормы и рода работы. Постояв год в очереди у котла № 8, до гроба не забудешь марксовых формулировок. Концлагерь — это оголенный большевизм под микроскопом. Кто знает его, тот знает большевизм, ибо по концлагерю большевизм изучать проще: все стороны сложной жизни не так затушеваны, и практика социализма встает без прикрас.

За границей заключенных в СССР привыкли исчислять десятками миллионов, а концлагери — рассматривать только как средневековую форму рабства, при которой повсюду, вместо надсмотрщиков с бичом, расставлены НКВД-исты с пистолетом и палкой. Какая уродливая упрощенность в мыслях, порожденная незнанием! О, нет! большевики куда хитрее, подлее и умнее, чем их показывают. Они нашли другие способы, порой внешне даже заманчивее и безобиднее, посредством которых и понуждают рабов подгонять друг друга и до предела напрягать свои мускулы и мозг. И вот об этих-то способах, основанных на глубоких и сложных психологических расчетах, мало кто догадывается, даже из числа испытавших «перековку».

В моей книге нет ни одного выдуманного факта, начиная от дат и мест событий и кончая фамилиями и должностями, за исключением второстепенных лиц, имена которых не донесла память. Описывая концлагерь, я не выпячивал его мрачных сторон, о которых и так уж достаточно известно из пропагандной литературы. Мой труд — не для игры на нервах читателей и не для упрощенной пропаганды.

Мой язык груб. Я не способен «глаголом жечь сердца людей» и копаться в душевных переживаниях: я — не Достоевский. Читателю дается лишь социально-экономический очерк концлагерей, чтобы он понял, как устроены эти тресты НКВД и как, несмотря на сатанизм системы, рабы умудряются выживать и порою даже издавать звуки, похожие на смех. Эти уроки концлагерной науки могут пригодиться многим, еще не обладающим паспортом гражданина СССР.

Улыбаясь отдельным отрадным или забавным фактам, не впадайте в ошибку и не относите их на счет режима. И в концлагерях встречаются хорошие люди, которые, даже служа большевизму, пытаются как-то облегчить участь заключенных. Режим и люди — не одно и то же. Режим страшнее людей, самых свирепых. Я обвиняю режим.

Если коммунистическая агентура объявит мою книгу клеветой, пропагандой или измышлением больного ума, я обращусь в UNO. Пусть международный суд проверит факты, вызвав живых свидетелей и потребовав документы, на которые я ссылаюсь. Я готов в третий раз сесть на скамью подсудимых, чтобы впервые защищаться без чувства страха и предрешенности. Извращать и прятать правду — задача только советского суда.

1-10 декабря 1947 года.

Расчетливая подлость

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЛАГЕРЕЙ

ЛАГЕРЬ — КОПИЯ РЕЖИМА

Советский концлагерь ничего общего не имеет с каторгой и тюрьмами других стран и дореволюционной России.

Во-первых, сама советская система, беспрерывно изменяющая свою тактику в зависимости от обстоятельств, не похожа на другие системы, легче подверженные «болезням застоя».

Во-вторых, состав советской каторги тоже своеобразен и неповторим. Он отражает новый тип испытавших многолетнее моральное уродование людей, измолотых государственной машиной и пропитанных советской философией жизни, с особым представлением о добре и зле.

В-третьих, концлагерь — не тюрьма, где содержат преступников, а копия советского государства. В лагере действует та же политика переработки человека в безропотный и продуктивный скот. В лагере, как и «на воле», — свои тюрьмы, суды, прокуроры, следователи и шпики; своя денежная и натуральная прогрессивная система оплаты, свои газеты, собрания, стахановцы и соревнование.

В-четвертых, у концлагерей та же главная задача, что и у любого предприятия страны: выпускать продукцию больше по количеству, лучше по качеству и дешевле по цене. Нигде, кроме СССР, подобной задачи местам заключения не ставят. Ради этого, как закон, над воротами лагерей красуется изречение Сталина: «Труд есть дело чести, дело славы, доблести и геройства». Хищный оскал режима прикрыт маской большевистского фарисейства.

В концлагере почти все так же, как и «на воле», только рельефнее и потому — страшней.

УСПЕХ ПЕРВЫХ ОПЫТОВ

Когда-то и я представлял себе концлагерь совсем упрощенно: площадка в лесу, с рядами грязных бараков, обнесенных колючей проволокой, откуда заморенных арестантов, чуть забрезжит, под конвоем, с руганью и подзатыльниками, гонят на лесные работы. Действительность оказалась куда сложнее.

Созданные, в период Чека, для изоляции опасных большевизму лиц, концлагери вскоре доказали свою не только политическую, но и экономическую рентабельность. С одной стороны, на свободе оставалось все меньше и меньше не только действительных, но и возможных противников Чека и ГПУ, — за ними, не разгибая спины, упорно охотились по всем закоулкам страны. С другой — собранные ради безопасности на безлюдном Севере, они, на удивление и пользу ГПУ, заготавливали миллионы кубометров леса и прокладывали сотни и

тысячи километров новых дорог сквозь тайгу и тундру, по которым, еще дальше на Север, гнали и везли новые партии арестантов.

На смену когда-то воспетому СЛОН'у (Соловецкий концлагерь особого назначения ОГПУ) пришли другие, куда более величественные лагери:

БАМ — Байкало-Амурский, по прокладке вторых путей транссибирской магистрали;

ББК — Беломорско-Балтийский, по строительству канала имени Сталина — для связи Балтийского и Белого морей;

«Москва-канал» — по углублению и шлюзованию Москвы-реки и соединению ее с Каспийским морем;

«Севжелдорстрой» — по прокладке Северной заполярной жел.-дор. магистрали Котлас-Воркута, протяжением 1100 клм.;

«Воркуто-Печорские» — в бассейне Печоры и Вычегды, с основной задачей — освоить воркутский угольный бассейн в отрогах северного Урала;

«Сибирские золотодобывающие» — во главе с легендарным Колымским лагерем, чье золото, добытое потом и кровью заключенных, уходит за границу, — на оплату пропаганды, — со скромной этикеткой: «СССР. Наркомфин. Государственный Банк». Никаких следов НКВД! Золото не пахнет, и на нем не напишешь кровью: «Спасите! Гибнем!», как то делали соловчане на бревнах для Англии в 1928-1930 годах.

Разве перечислишь все лагери! Названы лишь основные, каждый с составом в сотни тысяч заключенных. Не только на Севере и островах Белого, Баренцова и Карского морей, — концлагери есть повсюду: в сухих степях Казахстана и в жгучих песках Средней Азии, на Каспийском море — под Астраханью, в Сучанских копях на берегу Охотского моря, в шахтах Караганды, Черемхова, Дона, Кузбасса, на стройках-гигантах Магнитогорска, Днепростроя, Нивастроя, Вишеры, Хибиногорска, Волжского водохранилища, в Баргузинской тайге на Байкале, в Темниковских лесах под Москвой, на Свири, под Ленинградом, в тундре Чукотского и Кольского полуостровов, на Волге под Балахной... имена их Ты, Господи, веси! Даже в самой столице, на постройке метрополитена, — и там занято несколько тысяч заключенных.

РАБСТВО РЕНТАБЕЛЬНО ВДВОЙНЕ

а. 880 дополнительных часов.

В Кремле долго держались старого взгляда, будто труд заключенных непроизводителен и нерентабелен. Однако, опыт первых концлагерей доказал, что на строительстве и в лесу, при определенных условиях, заключенные-рабочие обходятся много дешевле вольных. Вскоре — с 1 августа 1931 года — их жуткую вывеску заменили новой:

«исправительно-трудовые», подведя этим «идеологическую базу» под эксплоатацию заключенных. Она давала следующие преимущества:

	вольный	заключенный
Рабочих часов в сутки	8	10
В году: рабочих дней	275	308*)
рабочих часов	2200	3080

Итак, заключенный дает за год 880 часов дополнительной работы — на 40 процентов больше вольнонаемного. Это был первый и главный довод за принудительный труд и расширение лагерей.

б. Пять миллиардов прибыли.

Довод второй — дешевизна труда. Вольный на лесных и дорожно-строительных работах на Севере зарабатывал, по ценам 1938-40 годов, около 10 руб. в день. Сотоимость же труда заключенного (одежда, пища, охрана, жилье и премиальное вознаграждение от 15 до 70 коп. в день) фактически не превышала 5 рублей (при плановой стоимости его в эти годы от 2 руб. 50 коп. до 3 руб.), то есть составляла лишь половину стоимости вольного, не говоря уже о лишних 2 часах работы.

Взятые отдельно, эти сопоставления говорят мало. Вспомним,

---

*) Приводим только плановые цифры по обеим формам труда на Севере. Фактически большинство заключенных работает минимум 330 дней, при средней продолжительности рабочего дня в 11 часов, так как на сезонных работах и «ударных стройках», летом и в период «штурмов», выходные дни отменяются, а работа продолжается по 12 часов (обычно круглосуточно, в две смены). С учетом этих обстоятельств, заключенный отрабатывает за год (330 X 11) — 3630 часов, — на 65 процентов больше, чем вольный. Удлинение рабочего времени обходится лагерю буквально в гроши и рассматривается начальством как «внутренний резерв».

За продукцию сверхурочной работы заключенным либо прибавляют проценты к выработке первых десяти часов с соответствующим увеличением их премиального вознаграждения («заработка»), либо оплачивают правом приобрести в лагерной лавке (ларьке) дополнительные продукты, — обычно, в пределах 20-30 копеек за каждые два сверхурочных часа. Никаких других расходов, кроме этой копеечной «премии», у лагеря нет: нормы одежды, продовольствия, количество охраны и все прочие элементы стоимости содержания заключенного не меняются, какова бы ни была продолжительность рабочего времени. Насколько лагерю выгодна подобная система, показывает простой расчет:

Заработок вольного за 8 часов	10 рублей
Заработок вольного за 4 сверхурочных часа	5 рублей
Итого за 12 часов	15 рублей

Фактическая стоимость заключенного за 10 часов 5 рублей,
Фактическия стоимость заключ, за 12 часов 5 р. 20 к. —5 р. 30 к.

однако, что речь идет о миллионах арестантов, и тогда приведенные цифры вытянутся в длинный ряд с нулями. Не собираясь оспаривать опубликованных на Западе разноречивых данных, приведу лишь известные мне из лагерных документов. По ним выходило, что в основных концлагерях на Севере (лесных, дорожных и по разработке недр) насчитывалось около 4 миллионов заключенных.

Посчитаем теперь, сколько бы уплатило государство в год одному вольнонаемному за то же самое рабочее время, какое установлено по плану для арестанта.

	Стоимость труда			
	Заключенный		Вольный	
	В день	За год	В день	За год
1. За основное рабочее время — за 8 час.	5 руб.	1540 руб.	10 руб.	2750 руб.
2. За 2 дополнительных часа*)	ничего		2 руб. 50 к.	685 руб.
3. За дополнительные дни (308 - 275)*)	ничего		10 руб.	330 руб.
Итого на одного человека		1540 руб.		3765 руб.
Итого на 4 млн. человек		6 млр. 160 млн.		15 млр. 060 млн.

Итак, то же самое число вольных, по такому упрощенному расчету, обошлось бы в два с половиной раза дороже. Сверх того, вольный труд влечет еще ряд расходов, повышающих стоимость продукции: социальное страхование, оплаченные простои, отпуск, расходы по переезду, ясли, клубы, содержание бюрократического аппарата и т. д. и т. п. Все эти прямые и косвенные расходы, пересчитанные на 4 миллиона вольных рабочих, тоже составят миллиардные суммы. При рабском труде они либо совсем отпадают, либо непосредственно входят в его фактическую стоимость — в 5 рублей.

На рабском труде этих четырех миллионов тресты НКВД таким образом теоретически экономят в год почти девять миллиардов рублей (15 млр. 060 млн. минус 6 млр. 160 млн.).

Статистикой лагерей установлено, что производительность заключенного за год, в среднем, почти соответствует производительности вольного рабочего при 8 часах и 275 рабочих днях. Другими словами, заключенный производит в год за 3080 часов столько же, сколь-

---

Этот немаловажный фактор в экономике рабского труда мы в дальнейших расчетах совершенно не учитываем, относя его на покрытие убытков отдельных лагерей от бесхозяйственной организации работы, в которой повинен только большевизм.

*) Как здесь, так и на предыдущей странице дополнительные часы и дни сознательно расценены по таксам основного рабочего времени. Практически невозможно и нерентабельно миллионы вольных заставить систематически работать сверхурочно, оплачивая эти часы и дни по Кодексу Законов о Труде — в полуторном и двойном размере. Большевики стали бы на другой путь — на увеличение числа рабочих.

ко вольный за 2200. Часовая производительность раба, как видите, значительно ниже, но она компенсируется его дополнительным рабочим временем. Подобный метод позволяет режиму из неквалифицированного арестанта выжимать за год столько же продукции, сколько из вольного. Исходя из этого, фактическую прибыль от рабского труда правильнее считать не в 9 миллиардов, а в 4 млр. 840 миллионов. Эту сумму мы получим, когда из стоимости 4 миллионов вольных рабочих при 8 часовом рабочем дне (11 млр. в год) вычтем фактическую стоимость труда такого же количества арестантов (6 млр. 160 млн. руб.).

Все же и указанная «выручка» в сумме почти пяти миллиардов рублей совсем не малая. Она дает в год на голову населения 28 руб. 50 коп.. Все 20 миллионов членов профсоюзов СССР могли бы целый месяц жить на эту сумму, ибо она превышает их месячный фонд заработной платы (для 1938-1940 годов).

Такова рентабельность принудительного труда, когда большевизм дал ему невиданный в истории размах и новые формы.

в. Узники содержат тюремщиков.

Довод третий—НКВД состоит на содержании у концлагерей. Само государство на его «народно-хозяйственные интересы» из этих миллиардов не получает ни полушки. Их поглощает НКВД. Об этом многие не догадываются, полагая, в простоте души, будто прибыль от рабства возвращается в государственный бюджет и расходуется на постройку новых предприятий. Такая ошибка вполне понятна, ибо почти никто не знаком с хозяйственной деятельностью концлагерей.

Лагерная, особенно ГУЛАГ-овская, бухгалтерия самая сложная из всех существующих, и непосвященное око в ней безнадежно запутается и не найдет концов. По системе хитрых бухгалтерских проводок и банковских перерасчетов, прибыль концлагерей стекается на счета ГУЛАГ'а, откуда она, прямо или косвенно, расходуется на нужды «ведомства народной демократии» — на НКВД. Трудно поверить, но факт остается фактом: НКВД частично состоит на содержании концлагерей. Оттого и выглядит так скромно его расходная статья в госбюджете. Не государство содержит НКВД, а концлагери: узники содержат тюремщиков — это не ново, но едва ли в истории человечества найдутся другие, столь любопытные, примеры подобного размаха. Эта истина бесспорна для большинства начальников финансовых отделов концлагерей и ГУЛАГ'а. Не случайно на эти должности, начиная с 1935 года, назначают только кадровых работников аппарата НКВД. За чей же, спросим, счет, если не вооружена, то отлично содержится и живет первоклассная армия войск НКВД, независимая, как известно, от Красной армии и ее бюджета? Из бюджета СССР НКВД получает ту же долю, что и министерства иностранных дел в других странах, где нет подобных армий.

Но внешне все это обделывается чисто, и вот как:

Различным наркоматам — на строительство дорог, на освоение новых районов, разработку ископаемых и на заготовку леса отпуска-

ются по государственному бюджету миллиардные средства. Фактически больше половины всех этих работ на европейском севере, в Сибири и на Дальнем Востоке проводится концлагерями, по договорам с разными наркоматами, потому что только лагери располагают рабочей силой в этих районах. Расчеты наркоматов с лагерями НКВД за выполнение работы производятся по ценам вольной рабочей силы.

«Факты,-любит повторять Сталин,-упрямая вещь». Государственное пароходство на Печоре, по плану на 1936 год, получило из бюджета 3 млн. 750 тыс. рублей на постройку барж, грузоподъемностью в 30 тысяч тонн, то-есть, по 125 рублей за тонну. Рабочих у пароходства не было. За постройку взялся наш, Ухто-Печорский, лагерь НКВД, по той же самой цене. Труд вольного по смете стоил около 12 рублей в день, а труд арестанта на Печоре что-то около 4 рублей. Вот эта разница и шла из бюджета, — сначала Ухтпечлагу, потом ГУЛАГ'у (Главное Управление концлагерями) и, наконец, доходила до НКВД, нюпав в рубрику «перечислено со счета строительных лагерей». По таким же договорам-подрядам с наркоматом путей сообщения работает гигантский «Севжелдорстрой». По тому же принципу для треста «Союззолото» работают золотодобывающие лагери. Бесчисленные лесные лагери уже второй десяток лет выполняют договоры с наркоматом лесной промышленности и «Экспортлесом». Сами концлагери со своей продукцией на рынке не выступают: «Совесть не позволяет»,— можно было бы сказать, если бы она у большевиков имелась.

ГУЛАГ — главный подрядчик по строительству социализма. Нет ни одного наркомата и синдиката, которого бы он не обслуживал своими рабами по особым договорам.

Начальник ГУЛАГ'а — крупнейший в истории рабовладелец и, вместе с тем, самый почетный завсегдатай отделов строительства и транспорта ЦК партии. Сам Сталин часто вызывает к себе для докладов начальников концлагерей: начальники Москва-Волга канала, Дальстроя, БАМ'а, Севжелдорлага, Воркутстроя и Ухтпечлага по несколько раз в году бывают у него, тогда как секретари даже крупных областных партийных организаций видят «хозяина», обычно, лишь на общих партконференциях.

Порою на отдельных подрядах в отдельных концлагереях ГУЛАГ «прогорает», и тогда под суд идут козлы отпущения — обычно, специалисты из заключенных. Их судят за убытки ГУЛАГ'а, потому что какова бы ни была фактическая стоимость работ, государство, в лице наркоматов, ничем не страдает: оно уплачивает концлагерям только сметную стоимость продукции.

Общий объем и характер работ, выполняемых концлагерями, покрыт глубокой тайной. Он растворяется в цифрах отдельных ведомств, для которых выполнялись подряды, и известен только ЦК партии, НКВД и специальным секторам Госплана.

г. Безропотная подвижность

Последний, четвертый, довод общеизвестен: безропотная подвижность армий заключенных. Переселение вольных на новостройки

требует времени, средств и усиливает недовольство властью, тогда как заключенным достаточно одного: приказа.

Росчерк пера начальника ГУЛАГ'а — и на другой день со всех сторон к сборным пунктам маршируют колонны «пионеров Севера», с котомками и котелками, а еще через день — десятки и сотни тысяч этих рабов, плотно сбитых в товарных вагонах, уже двигаются к назначенному месту. Не прошло недели, а на новостройке рабы уже рубят, возят, пилят, носят. .

Кто служил в советских плановых органах, тот знает, что большевистскому плановому хозяйству, с его пятилетками, лагери нужны, как воздух. Ими пользуются, как тараном, пробивая «узкие места» в отдельных отраслях промышленности. Рабство — надежный регулятор большевистского хозяйства. Советский концлагерь успешно выполняет то, что не по плечу советскому тресту, опутанному всякими законами и договорами.

Когда в 1939 году зимний план в лесной промышленности СССР выполнен был всего на 60% и лесозаводы сократили отправку материалов ударным стройкам, гениальный Сталин сразу нашел выход: он вызвал Берию (начальника НКВД). Через два дня, постановлением правительства, ГУЛАГ НКВД был включен в список основных лесозаготовителей страны, с заданием покрыть зимний прорыв и заготовить и вывезти во втором и третьем кварталах (апрель-сентябрь) 25 миллионов кубических метров леса. Полетели по радио приказы из ГУЛАГ'а, покатились эшелоны арестантов из степных и строительных лагерей в районы лесных массивов. За неделю стеклась целая армия, вооруженная пилами и топорами. «Почетное задание партии, правительства и лично тов. Сталина» было выполнено целиком и в срок. 25 миллионов! Представляете?.. Это, значит, минимум 75 миллионов человекодней заключенных за каких-нибудь 150-180 дней! Почти полмиллиона рабов! И только для лесозаготовок! Начальству пожали руки и нацепили ордена, заключенных загнали и заперли в телячьи вагоны и «отгрузили» в новые лагери, как отгружают сырье для заводов и скот для боен.

В 1931 году, за один месяц, в пустынной Кольской тундре (под Мурманском) выросли сотни палаток и бараков 6-го отделения Соловецкого концлагеря, а через год правительственная комиссия уже принимала от него выстроенный город Хибиногорск, железную дорогу и первые эшелоны дорогой апатитовой руды.

За неделю... Впрочем, любой концлагерник расскажет десятки подобных фактов.

Таковы четыре главных экономических довода за расширение концлагерей. Заключенные работают дольше, обходятся дешевле; они безропотны, легко перегоняются с места на место и своим трудом не только заменяют пролетариат на массовых и самых тяжелых работах, но и содержат государственную систему принуждения — НКВД. Вот почему концлагери плотно вросли в социалистическую экономику СССР. Чем больше заключенных, тем скорее шагает страна к коммунизму.

Продукция лагерей оценивается миллиардами. Нет такой отрасли хозяйства, в которой ГУЛАГ не имеет своих «филиалов» .Лагери дают большевизму лес и радий, уголь и рыбу, асфальтиты и баржи, нефть и птицу, молибден и сыр, золото и мосты, пограничные бункера и детские игрушки, уран и свинину и т. д., и т. п.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ.

Прежде чем стать на широкий путь эксплоатации заключенных, в Кремле взвесили все шансы за и против и нашли, что при диктатуре из рабства можно извлекать не только экономические, но и политические выгоды. С «либеральных» большевиков, типа Бухарина, Рыкова, Пятакова, придерживавшихся в этом вопросе иного взгляда, скатились головы. Восторжествовала группа Сталина, не признающая никаких общечеловеческих норм морали. а только силу, страх и ловкий обман.

Четыре причины лежат в основе политической необходимости концлагерей.

а. Оправдать теорию.

Первая — оправдание теории насилия. Наличие миллионов заключенных на первый взгляд свидетельствует о том, что внутри страны продолжается активная классовая и политическая борьба и что, несмотря на все репрессии, у «контрреволюции», как у мифической гидры, взамен отрубленных, отрастают новые головы.

Многие, в душе не одобряя концлагерей, мирятся с их существованием, как с неизбежным временным злом, в котором, якобы, повинен не режим, а враги его. Концлагери, говорят они, следствие самообороны режима от активного противника. Так ли это? Нет! В этом мы убедимся дальше, рассматривая состав заключенных. В концлагерях сидят не политические преступники, как их понимают на Западе и понимали в царской России, а, в массе своей, безобидные для власти и для общества типичные советские люди.

Загоняя безвинных в концлагери, фанатики большевизма перед историей и всем миром пытаются их головами оправдать и подтвердить свою бредовую теорию о том, что социализм, будто бы, победит, но только в длительной и кровавой борьбе, и что, покуда в мире существуют капиталистические государства, один факт их бытия будет рождать врагов нового строя, и потому внутренняя борьба не кончается с переходом власти в руки большевиков. Для большей убедительности время от времени устраиваются показательные процессы над десятками различных «врагов», чтобы потом втихомолку расстрелять уже тысячи столь же или еще менее виновных и укомплектовать рентабельную каторгу новыми сотнями тысяч рабов, одновременно натравливая на них доверчивую и близорукую массу, озлобленную постоянной нуждой. Таков уже старый, проверенный большевистский метод: взвалить на других вину за собственное не-

умение наладить жизнь страны. За пределами СССР особенно рядовые иностранные коммунисты не понимают этой мерзкой «политики» и в оправдание зверств режима приводят беспочвенные доводы.

Большевики убеждены, что мир идет к социализму, но втайне опасаются, как бы он не дошел к нему другой дорогой, например, избранной английскими социалистами: без диктатуры, революционной ломки всех устоев и взглядов и без концлагерей. Ведь это доказало бы банкротство идеи насилия, подложенной под большевизм краеугольным камнем всей его политики. История никогда не простила бы Сталину кровавого опыта и наградила бы его совсем иными эпитетами, чем те, которые он сейчас себе присвоил. Вот почему Сталин, штыком и провокацией поддерживая свою теорию, еще больше, чем капиталистов, ненавидит западных социалистов, окрестив их социал-предателями за то, что они пошли к общей, казалось бы, цели иным путем, оставаясь в глазах всего мира людьми, а не извергами. Сталин не признается в своих заблуждениях и безумствах! Закрыв концлагери, он расписался бы в том, что напрасно загубил в них миллионы жизней. Этого чуда не случится. Большевизм без концлагерей так же немыслим, как змея без жала.

б. Заглушить недовольство.

Вторая причина — страх перед народом. Считая свою диктатуру единственно правильным путем к социализму, Сталин неизбежно пришел к ее логическому завершению — к массовым концлагерям и глухому недовольству народа.

Чем больше людей гнали в лагери, тем глубже уходила душа в пятки у оставшихся «на воле». С каждой «чисткой» и «корчевкой» советский гражданин робел все больше и больше, под конец совсем потерял от страха голос, кроме, пожалуй, того, который он обязан отдать при выборах за «кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных». Ликвидация лагерей равносильна отказу от диктатуры и краху большевизма. Исчезнет тот грозный призрак, который принуждает народ дрожать, молчать и слушаться. Политбюро понимает, что, во-первых, без диктатуры люди откажутся «строить социализм», а, во-вторых, освобожденные от рабства и страха миллионы заключенных, вместе с народом, по-своему «возблагодарят» кремлевскую верхушку за тридцатилетнюю тризну по свободе. Большевики меньше нас верят в басню о том, будто они являются защитниками и авангардом рабочего класса. Этому они верили 30-40 лет назад, когда изучали теорию. Практика раскрыла им глаза, но слишком поздно, чтобы отступать. Поэтому, для поддержания страха перед собой, большевизм вынужден (именно так: вынужден!) и впредь гнать миллионы людей в концлагери, лишь, в зависимости от обстоятельств, выдумывая и используя для этого новые предлоги. Так он поступает внутри СССР и точно так же в тех странах, которым он диктует свою волю. Закономерность идеи насилия заканчивается только на пороге ее власти.

в. Приучить к тупому подчинению.

Третья причина — дрессировка народа. Одно воспоминание о концлагерях принуждает «гражданина СССР» сначала думать, а потом говорить, а не говорить, что он думает... Постоянный страх приучил народ изрекать политического характера мысли в формах, подсказанных пропагандой. Страх загнал крестьян в колхозы, страх изжил забастовки и свободу слова. Страх научил людей кричать «ура!», торопиться с подпиской на заем, приветствовать закон о тюрьме за прогулы.

За тридцать лет такого «перевоспитания» естественное право человека на собственное мнение заглохло в страхе и тупом подчинении. От колхозника до наркома, от рабочего до члена ЦК партии каждый знает, что сопротивление, хотя бы словесное, в лучшем случае приводит в концлагерь. Народ все больше и больше превращается в исполнительное и безвольное орудие вождя для его целей. Какая иная система стремится довести народ до такого стадного состояния? И если он, порабощенный, все-таки, еще способен, при благоприятных условиях, сбросить гнет рабства и не утратил ни талантов, ни воли к творческой деятельности, то не доказывает ли это противоестественности большевистской системы, на время нарушившей законы развития личности и общества?

г. Обмануть весь мир.

Причина четвертая — политический обман. Благодаря концлагерям, Сталин, как многие тому верят, облегчает удел своих трудящихся, освобождая их от самых низкооплачиваемых и тяжелых работ в самых отчаянных жилищно-бытовых и климатических условиях. В действительности, однако, и это не что иное, как политический трюк.

Во-первых, из кого состоят концлагери, как не из тех же самых трудящихся, только помеченных ярлыком преступников? Буржуев там давно нет, а кулаки повымерли.

Во-вторых, что сказали бы миллионы рабочих, если бы их «вольно» погнали или переселили в те края, где сейчас мучатся заключенные. При всей безропотности советского пролетариата, его терпение имеет предел. Политбюро с этим считается.

✸

Все эти тесно связанные и не отделимые друг от друга материальные и политические мотивы превратились для большевизма в заколдованный круг, из которого он — как форма насилия — не может вырваться, не затянув тем самым петлю на своей шее. **Закрыть лагери — это не только распустить дешевых и прибыльных рабов, но и освободить слово от цепей страха.** Для боьшевизма это равносильно самоубийству, и он на это не пойдет!

Ничто и никто не заставит его подрубить тот сук, на котором он держится. Если бы это было не так, концлагери были бы давно закрыты. Политбюро отлично оценивает политический ущерб, который

концлагери наносят идее и престижу большевизма за пределами СССР. Рабство восстанавливает против него мировое общественное мнение и страшно вредит пропаганде интернационального коммунизма. Тем не менее, ни Тольяти, ни Торез, ни Пик с Гротеволем не посмеют просить своего хозяина распустить рабов. Они прекрасно знают: вслед за рабством падет и цитадель мировой революции — большевизм, — а вместе с ним рухнут расчеты на военную и финансовую поддержку от Кремля. Упадет Железный Занавес, и голая жуткая правда, в документах, цифрах и делах, беспрепятственно растечется по всему миру. Коммунизм как идея погибнет безвозвратно.

К сожалению, роковую закономерность диктатуры во всей ее широте понимают лишь те, кто стоит у рычагов управления большевизма. Остальные же, особенно иностранцы, поверхностно и не оттуда, откуда надо, рассматривают проблему концлагерей как позорное явление чисто советской (русской, как говорят иные) действительности, а не как продуманную и проверенную на опыте систему, способную с одинаковой методичностью действовать в любой части света, подпавшей под ярмо большевизма. В государствах Восточной Европы в этом уже убедились.

ЧЕТЫРЕ РЫЧАГА

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ МУСКУЛАТУРЫ

НКВД не столь расточителен, чтобы содержать при концлагерях миллионную стражу и сотни высокооплачиваемых специалистов. Тогда они проглотили бы на месте всю, высосанную из каторжников многомиллиардную прибыль, а это совсем не в интересах НКВД и ЦК партии. Найдена и усовершенствована иная система эксплоатации, при которой заключенные, ради личной выгоды и из-за страха, вынуждены стараться больше производить и меньше расходовать. Немногочисленные чины НКВД в концлагерях держат в своих руках лишь общие главные рычаги управления и надзора. На всех же иных постах рабами командуют такие же рабы, подобранные из высокообразованных и опытных заключенных, поставленных за это в несколько лучшие материальные и бытовые условия, или бывшие арестанты.

Концлагери, по существу, превратились в гигантскую лабораторию массовых опытов, основная цель которых — добиться от заключенных максимальной производительности при наименьших затратах. Испробовано все: голод и поощрения, страх и пропаганда. Где их применяют в «правильной пропорции» (а это большая и сложная «наука»!), там заключенные работают лучше вольных.

А. Голод

Самым хлестким кнутом оказался голод. Чем меньше основной рацион заключенных, тем легче, без угроз и пропаганды, заставить ра-

ботать до седьмого пота. Для этого существует шкала премиального и штрафного довольствия.

На тяжелых работах получали:

(В условных калориях и в процентах от полной нормы довольствия, включая продажу «премиальных» продуктов за деньги)

При выполнении нормы на:	1930 год		1933-1937		1938-1941	
	В усл. кал.	В % от нормы	В усл. кал.	В % от нормы	В усл. кал.	В % от нормы
60%	3000	85	2000	80	1200	60
80%	3000	85	2250	90	1600	80
100%	3500	100	2500	100	2000	100
125%	3500	100	3000	120	2600	130
150%	3500	100	3500	140	3200	160

За двенадцать лет ОГПУ — НКВД постепенно перевели заключенных на резко дифференцированное питание и снизили полный рабочий паек с 3500 до 2000 калорий, т. е. почти вдвое. За полуторное выполнение нормы стали подконец выдавать на 300 калорий меньше, чем за стопроцентное в 1930 году. С другой стороны, при невыполненной норме заключенный получал в 1941 году в два и в два с половиной раза меньший паек, чем десять лет назад.

Такая система била, прежде всего, по интеллигентам, по слабым и престарелым, то есть по тем, кто не в силах перевыполнять нормы на тяжелых работах. Перенапряжение быстро подрывало организм. Через 2-3 года эти люди погибали или переводились на инвалидные командировки (что почти одно и то же), тогда как физически крепкие выдерживали иногда до 6-7 лет.

Чтобы сократить «быстрый износ человеческого материала», как говорят на советском языке, лагерная администрация принудительно включает в работоспособные бригады несколько слабых и лодырей, — «филинов», как их называют заключенные. Мало кто склонен лишний час трудиться, чтобы «обработать» этот балласт. НКВД-исты, довольные своей выдумкой, ухмыляются, а в это время арестанты в бригаде дубасят и поносят друг друга. Правда, все заключенные, как и лошади, по здоровью разбиты на категории трудоспособности, но на практике, в погоне за выполнением плана, с этим мало считаются. Стариков с грыжами выгоняют рыть канавы наравне с теми, кто получил первую категорию — «лошадиную», как называют ее в лагере.

Нормы питания количественно и качественно ухудшались с каждым годом. Вот что получали на особо тяжелых работах за стопроцентное выполнение нормы:

	Годы		
	1930	1935	1941
Хлеб ржаной в граммах в день	1300	1000	800
Крупа простая „ „	250	120	80
Продукты диэтетические (манна, макароны)	100	40	20
Мясо или	100	80	60

	Годы		
	1930	1935	1941
Рыба (что-нибудь одно)	200	160	120
«Постных дней» в месяц	не было	5	10
Овощи свежие в граммах в день	1000	600	400
Жиры животные „ „	10	10	6
Жиры растительные „ „	30	15	10
Сахар в месяц бесплатно	1500	500	300
Сахар в месяц за деньги (из ларька)	—	200	200
Махорка в месяц бесплатно, в пачках	12	2	2
Махорка в месяц за деньги (из ларька)	нет	6	4

За двенадцать лет — с 1930 года — норма припека в хлебе (грубо говоря, количество воды, добавленное к муке) возросла с 40 проц. до 53. Мякиш буквально прилипал к пальцам. Почти все страдали изжогой.

Вместо сытной и жирной трески, с 1933 года появились малопитательные сельдь, вобла и тарань.

В норму овощей с 1934 года стали засчитывать всю ботву: листья свеклы, моркови, репы, бураков.

Половину картофеля заменили брюквой и репой. Исчезли пшено с гречихой. Кашу варили из овсяной и ячменной сечки.

Дохлых лошадей уже не закапывали в землю, а «отфактуровывали» на кухню.

С 1935 года отменили 25-процентную прибавку к пайку в дни главных большевистских праздников — 1 мая и 7 ноября. Ее выдавали уже не от лагеря, а за счет самих заключенных. С этой целью, за месяц до праздников, у нас ежедневно отрывали из обычных норм граммы масла, мяса, хлеба и крупы, чтобы потом порадовать нас «праздничным обедом». С 1940 года этот обман отменили.

Мы, старые лагерники, вспоминали щедрое на продукты ГПУ, как легкий и приятный сон.

Но в одном отношении НКВД значительно опередило своего предшественника, ГПУ, — это в количестве котлов на лагерных кухнях. ГПУ кормило просто: один котел на всех. Раз лесная командировка, то, значит, и норма всем одинаковая, а для лазаретных — больничная.

НКВД до предела усложнил систему питания. В 1941 году существовало уже десять котлов:

Первый — для стахановцев и рекордистов (за 150 и выше процентов выполнения нормы).

Второй — «ударный» (за 110-149 процентов).

Третий — общий для тяжелых работ.

Четвертый — общий производственный, откуда получали и не выполнившие нормы на тяжелых работах.

Пятый — инженерно-технический, для начальников чехов и частей «командировки».

Шестой — административно-технического персонала и служащих контор.

Седьмой — больничный.

Восьмой — слабосильных (по назначению медицинской комиссии).
Девятый — для неработающих: полных инвалидов, пересыльных, следственных и т. п.
Десятый — штрафной — для отказывавшихся от работы, посаженных в карцер или выполнивших нормы меньше, чем на 60 процентов.

Разница между соседствующими (напр., 5-ым и 6-ым) котлами была в граммах, но, поскольку все нормы состояли из граммов, понятно, что каждый стремился получить высшую норму довольствия.

Желудок был стержнем всей лагерной «трудовой политики». Страх голода крутил колеса лагерного производства, рождал ударные и стахановские бригады и командировки. Настоящая цена и вкус хлеба познавались лишь в советском концлагере, где хлеб, действительно, зарабатывали в поте лица своего.

б. Наказания

Следующей за голодом, мерой понуждения служат наказания. Наказывают за невыполнение норм, за плохое качество работы, за утерянное, проданное или испорченное обмундирование, за перерасход материалов, за кражи, за оскорбление администрации или «стахановцев» и т. д. Самые тяжкие преступления — отказы от работы, побеги, голодовка, «агитация» и саботаж. При групповых отказах, побегах и голодовках организаторов их расстреливают, а прочим участникам добавляют новый срок или переводят их в особые тюрьмы, с усиленным режимом. Наиболее строго за все эти преступления карают политических.

Существует восемь главных форм наказания:

1. Денежный штраф и пониженная норма питания — за мелкий материальный ущерб и невыполнение нормы;
2. Лишение зачета рабочих дней, премиального вознаграждения и ларьковых продуктов;
3. Карцер на срок от 1 дня до 2 недель, но обязательно с выводом на работу;
4. Изолятор на срок от 2 недель до 1 года;
5. Перевод на штрафные командировки к уголовному элементу, с усиленным внутренним режимом и с работой только под конвоем;
6. Перевод в особые тюрьмы или в особые штрафные лагери (например, из Темниковских лагерей под Москвой на Воркуту. за Полярный круг);
7. Дополнительный срок заключения от 1 года до 10 лет, часто — в комбинации с 4-ой, 5-ой или 6-ней формой наказания, и, наконец,
8. Расстрел.

Первую форму наказания применяют бухгалтерия и административно-технический персонал. Последующие четыре формы назначает уполномоченный 3 отдела или начальник командировки (лагпункта, колонны). Остальные наказания дают специальные суды, иногда при защитнике и прокуроре, с 1935 года введенные в каждом лагере. Дела чисто уголовные рассматриваются в открытом заседании, а политические — за закрытой дверью.

Право следствия и передачи дела в суд имеют только органы 3 отдела — сектора НКВД по надзору за лагерями. До 1935 года они же творили и расправу, и лишь постановление о расстреле подлежало утверждению коллегии ОГПУ. Ныне то же самое с той же простотой, быстротой, жестокостью и цинизмом делают лагерные суды, создавая видимость правопорядка.

Цепкая длань НКВД продолжает и в концлагере держать людей в повиновении страхом, не оставляющим их никогда. Заключение в концлагерь не спасает от нового приговора и нового срока.

На каждой командировке (лагпункте) имеется уполномоченный 3 отдела (или, как его называли до 1933 года, — уполномоченный инфункции — политический надзор за общим режимом и за поведением ным хозяином над жизнью и смертью заключенных. Его основная функция — политический надзор за общим рожимом и за поведением заключенных, и оттого 3 отдел более грозен для них, чем НКВД на воле. Уполномоченный с помощью своих сексотов из заключенных проводит следствие, осуществляет цензуру писем и посылок. Уполномоченному подчинена вся военная и пожарная охрана и комендатура, а он подчинен только начальнику 3 отдела. В текущую производственно-хозяйственную жизнь лагеря уполномоченные не вмешиваются, придерживаясь циничного правила чекистов: «Вы работайте, как находите лучшим, а мы посмотрим, что у вас выйдет», но одновременно они охотно собирают всякие доносы и материалы, по которым впоследствии можно было бы , если «выйдет» плохо, обвинить производственное начальство в халатности или вредительстве. Органы 3 отдела с одинаковой заботливостью поощряют кляузы как против вольнонаемного персонала, так и против заключенных. За это их в равной степени боятся и презирают, как те, так и другие, вплоть до членов партии и руководителей командировок.

Так страх наказания, знакомый каждому еще с «воли», в соединении с политикой питания, превращает миллионы заключенных, какие бы должности они ни занимали в лагере, в послушных рабов.

Количество отказов от работ совсем незначительно: один в день на пятьдесят-сто уголовников или на пятьсот-тысячу политических; побеги и голодовки в северных лагерях еще более редки. За отказ или систематическое невыполнение норм уголовников сажают в карцер, или отправляют на особые командировки для работы под конвоем, либо переводят в изоляторы, пока они, доведенные голодным пайком до полного истощения, сами не запросятся на работу. При повторных отказах на сцену выступает суд.

Протесты против решительной и суровой системы в концлагерях бессмысленны. Они вспыхивают, как одиночные огни потушенного пожара. Люди убедились в том, что протесты больше вредят им самим, чем режиму. Плетью обуха не перешибешь. К тому же, на эти акты протеста способны только особо сильные духом, а таких мало доходит до лагерей — они гниют в могилах, либо сидят в политизоляторах или особых тюрьмах. НКВД знает, что рабов из них не воспитать!

в. «Поощрения»

НКВД не скупился на разные дешевые «поощрения»», лишь бы только они понуждали заключенных лучше работать и не вели к сокращению срока. Самым действенным, одно время, был «зачет рабочих дней», введенный ОГПУ в августе 1931 года, по которому ударникам и стахановцам засчитывали за 2 дня работы 3 дня срока. Выходило, что при пятилетнем приговоре ударник освобождался через три с половиной года. Зачет подшпоривал. Но через четыре года, после убийства Кирова, НКВД посмотрело на это иначе: совсем лишили зачета восемьдесят процентов политических, а всем остальным оставили куцый зачет: четыре дня за три дня работы и пять за четыре. Старые зачеты аннулировали. Книжки ударников и стахановцев потеряли главную ценность. Оставалось терпеливо сидеть «от звонка до звонка», то-есть, весь срок. Закон дал зачет, закон его и отнял... Зачет сокращал почти на треть срок заключения и, таким образом, на тридцать процентов увеличивал работу следовательского и агентурного аппарата НКВД. Им надо было ускоренным темпом и в увеличенном количестве готовить «смену» Речь шла о новых внеплановых сотнях тысяч арестантов, а у ГУЛАГ'а и без того нехватало заключенных для выполнения подрядов. Это и было главной причиной отмены зачета. Но заключенным объяснили иначе: «Труд, по конституции, является обязанностью всех, а тем более заключенных, и потому не может служить основанием к сокращению срока». Взамен зачета, ГУЛАГ дал новые, еще более дифференцированные, прогрессивные нормы довольствия. Один стимул производительности — моральный — заменили другим: материальным.

Начальники северных лагерей имели право «колонизации» лучших специалистов и рабочих, — предоставлять им возможность жить обособленно, выписать к себе семью и получать оплату, близкую к ставкам вольных, с условием остаться на Севере после окончания срока. Рабочие на эту приманку не пошли (за начальником лагеря оставалось право в любой момент «расколонизировать», да и ставки оказались таковы, что, после всяких вычетов, не на что было покупать продукты). Зато специалисты кое-что выгадывали. Получая оклады в 250-300 рублей, они, устроившись с семьей в комнатушке, сводили концы с концами. Но такие специалисты чувствовали себя невольниками в квадрате. Страх лишиться семьи и снова попасть в барак заключенных заставлял их мозг по двадцать часов работать на пользу НКВД, проявляя чудеса изобретательности и технического руководства. Это было в период 1933-1937 годов, когда в лагерях, при недостатке специалистов, требовалось, чтобы один инженер работал за десятерых.

Формы поощрения были доведены до такого абсурда, что заключенные за вредительство и шпионаж инженеры носили на груди специальные правительственные награды — особые значки ЦИК СССР, что, однако, не давало права на сокращение срока этим сверхстахановцам.

Можно насчитать десятки видов «поощрения лучших»: тут и почетная золотая грамота, и внесение в книгу «знаменитых людей ко-

мандировки», и «выдвижение» на должность бригадира или десятника, и громадные портреты стахановцев, развешенные в лагере, и выдача постельного белья, и первоочередная замена старых бушлатов новыми, и особые окна в кухне для «знаменитых лагерников»... Даже лучшие места в лучших бараках использовали, как стимул производительности. Стахановцев хоронили в красных гробах; звучали прочувствованные речи, сам уполномоченный 3 отдела НКВД стоял, обнажив голову. А простого лагерника отвозили на салазках и у могилы вынимали из гроба. Гроб стоил денег. Гроб числился в инвентаре санитарной части. Его нельзя списать в расход.

Вообще, формы поощрения никогда не были постоянными и зависели от перемнчивой политической погоды в Москве. К лету 1941 года из них сохранились следующие:

МАТЕРИАЛЬНЫЕ: Прогрессивная оплата за перевыработку*). Дополнительные продукты и табак из ларька, по принципу: кто больше заработал, больше получит. Премия за экономию времени или материалов.

МОРАЛЬНЫЕ: Зачет рабочих дней (на политических с 1935 года не распространяется). Выдвижение «стахановцев» на легкие или лучше оплачиваемые работы. Распределение обмундирования и постельных принадлежностей по «спискам передовиков».

В общем, ГПУ и НКВД не скупились на разные дешевые для них «поощрения», лишь бы они понуждали заключенных лезть из кожи, вносили в их среду взаимную зависть и не вели к сокращению срока. Последняя массовая амнистия в лагерях была в 1933 году, когда на Беломорканале из 300 тысяч заключенных 60 тысяч, после осмотра канала Сталиным, получили сокращение срока, замену лагеря вольной ссылкой (для уже изнуренных на работе) и даже досрочное освобождение. Но, во-первых, политических среди этих 60 тысяч было не больше 5 тысяч, а, во-вторых, досрочно освободили только тех, кому осталось сидеть до конца срока от 1 до 6 месяцев..

		Премия в день			
		Квалифиц. рабоч.		Неквалифиц. рабоч.	
		В копейк.	в проц.	в коп.	в проц.
*) При выполнении нормы на 100	проц.	20	100	15	100
110	„	25	125	20	133
120	„	30	150	25	167
130	„	40	200	30	200
140	„	50	250	40	267
150	„	65	325	50	333
160	„	80	400	60	400
170	„	100	500	75	500

Выполнивший норму меньше чем на сто процентов, лишался премии. Если в течение месяца у заключенного оказалось больше трех дней с выработкой ниже ста процентов, автоматически вычеркивалась вся премия за весь месяц, хотя бы средняя выработка и была допустим, 140 процентов.

Расчет был прост: чем перебрасывать краткосрочников на Дальний Восток (в БАМ-лаг), дешевле их освободить на месте, в Карелии под Ленинградом. С 1935 года в лагерях больше ни звука не слыхали про амнистии и досрочное освобождение. Наоборот, появилась новая категория — «пересидчики», люди, у которых кончился срок. Вместо справки об освобождении, им через 3-6 месяцев предъявляли бумажку: «Распишитесь в том, что вам объявлено постановление Особого Совещания НКВД о дополнительном трехлетнем сроке».

г. Пропаганда .

Пропаганда в лагерях преследует три цели: поднять производительность труда, внести расслоение в среду заключенных и — в ложном свете — представить им истинные цели карательной политики и концлагерей.

Для повышения выработки, кроме уже перечисленных только что мер «поощрения», на командировках (лагпунктах) выпускаются стенные газеты, развешиваются портреты «знатных лагерников», ежедневно заполняются черные и красные «доски показателей выработки», созываются производственные совещания, отчетные собрания и слеты ударников; по местному радио зачитывается выработка каждой бригады. С целью расслоения, проводятся собрания. «Социально-близких» призывают поднять производительность труда, чтобы показать свою кровную близость к трудящимся, и не поддаваться «агитации врагов народа»: как только заметят ее, сейчас же сообщать «кому следует». Политических уговаривают, чтобы они морально влияли на уголовников, не сторонились их, принимали в свои бригады и приучали к труду.

При составлении всяких списков на раздачу обмундирования или на отпуск продуктов и махорки за деньги, преимущество всегда оказывается «социально-близким», прежде всего — уголовникам, хотя бы проценты выработки у них были ниже. Это называют «политическим подходом», потому что для пропаганды жулик, выработавший 105 процентов нормы, дороже, чем политический со 125 процентами. «Уголовника надо поддержать, не то завтра он даст лишь 60 процентов, а политический, все равно, будет стараться». Так рассуждают, и часто не без оснований, лагерные воспитатели.

Заключенным постоянно вдалбливается, что лагерь — школа трудовой перековки в сознательного члена социалистического общества, что единственный путь к свободе — производительный труд и что, наконец, лагерь существует не для наказания, а для изоляции и для исправления.

Каждый заключенный должен гордиться тем, что он, вместе со всей страной, работает на укрепление большевизма. Когда же он не хочет «гордиться», то ему показывают оборотную сторону лагерной медали...

Пропагандной шумихи в некоторых лагерях было больше, чем «на воле», но самый недалекий заключенный понимал, для чего она ведется: лучше работай — больше получишь. «Сознательность» раба — это, конечно, звучит дико.

Пропагандой в лагерях занимаются «воспитатели». Прежде — при ГПУ — их назначали из числа политически-развитых заключенных, не взирая на статьи кодекса, по которым они осуждены. НКВД, наоборот, приказал ставить воспитателями либо вольных, либо уголовников и бытовиков, обычно, не умевших связать двух слов. Тем не менее, лагерный хлеб они ели не зря — ни одному политическому не улыбалось видеть свою фамилию на черной доске, которую аккуратно, каждый день заполняет воспитатель. Раз пройдет, два пройдет, на третий в стенной газете «прохватят», а потом и на собрание вызовут: «Объясни, — скажут, — почему не выполняешь норм?». Если эти средства не помогут, воспитатель пойдет к начальнику командировки или уполномоченному НКВД. Смотришь, — исчез человек. Отправили его на штрафную командировку, чтобы не разлагал трудовой дисциплины... Это называют «пропагандой в действии».

Яснее говоря, функция воспитателя в лагерях — не культурно-воспитательная работа, как пишут, а подстегивание отстающих на работе и распределение скудных материальных благ по сталинскому принципу: «лучшее — лучшим»

Чем полезнее воспитатель для лагеря, тем он хуже для заключенных, ибо сеет вражду и зависть, особенно между политическими и уголовниками.

НА МЕДЛЕННОМ ИСТРЕБЛЕНИИ

Этапы для концлагерей комплектуются в тюрьмах не по принципу работоспособности осужденного, а по его пригодности к транспортировке до приемного пункта. Врачебная комиссия лагеря уже сама, руководствуясь толстой инструкцией, сортирует вновь прибывших по категориям трудоспособности. Их четыре. Первая — «лошадиная», вторая — с пониженной трудоспособностью, третья — для легких внутрилагерных работ и четвертая — инвалидная, которую, по образному выражению, «дают тем, кто таскает голову подмышкой». Вторая категория вначале пользовалась двадцатипроцентной скидкой, но с 1932 года она фактически существует только в отчетных цифрах санитарных частей.

Перенасыщенность лагерей ходячими трупами заставила НКВД открыть для них дополнительные «производства»: сбор грибов, ягод, плетение лаптей, ремонт обмундирования и т. п. Сверх того, на каждой командировке от 30 до 100 таких инвалидов заняты на кухнях, в сапожно-портновских мастерских, на охране складов и других легких работах. Они тоже обязаны зарабатывать свои паек!

В лазареты при командировках принимают только таких больных, которых можно через одну-две недели «в отремонтированном состоянии» вернуть обратно на работы. Резко истощенные, больные активной формой туберкулеза и тяжелыми формами изнурительных болезней, нажитых в лагере, а также полностью потерявшие трудоспособность — отправляются в особые сангородки или центральные лазареты, располагающие, кроме медицинского персонала, штатом гробовщиков и могильщиков.

В лагерях, снабжаемых морскими путями, тысячи заключенных вымирали вследствие постоянных перебоев с питанием. Как правило, к весне на складах этих лагерей оставалась лишь мука (ее завозили на полтора года), из которой, кроме хлеба, готовили суп, прозванный «болтушкой».

Отсутствие витаминов и однообразие такого питания продолжающегося по 2-4 месяца, порождало массовую цынготность и обостряло общую истощенность организма. Изголодавшиеся люди, дождавшись летнего сезона, набрасывались на грибы и ягоды, чтобы обмануть голод и чем-то набить желудок. Строгие меры начальства, вплоть до заключения «самоснабженцев» в изоляторы, оставались безрезультатными: страх голода был сильнее страха наказания. Развивалась эпидемия кровавого поноса, и людей партиями отправляли в лазареты.

Однако смертность в лагерях не бросалась в глаза. Умирали в ссылке после «разгрузки», умирали в санитарных городках и центральных лазаретах, либо на инвалидных командировках, то-есть, не на глазах работающих заключенных, которым нужно порою напоминать, что «лагерь — школа трудовой перековки». Только один отдел ГУЛАГ'а — учетно-распределительный — знал, сколько людей и по каким причинам ежедневно гибнет в лагерях, да и то эти цифры неполные: без погибших после лагерей, на ссылках.

Постоянное сокращение норм довольствия с параллельным увеличением норм выработки, при игнорировании состояния здоровья заключенных, привело к тому, что в лагерях НКВД процент неработающих, истощенных, слабосильных и цынготников возрос вдвое и втрое, а процент смертности и того больше. На лесной командировке «Курья», в верховьях Печоры, при ежегодном составе в 400 заключенных, умерло: в 1936 году четыре человека, в 1937 — четырнадцать, в 1938—двадцать семь, в 1939 — тридцать пять и в 1940 — сорок три. При этом не надо забывать, что на лесные работы отбирают здоровых и молодых заключенных, с «лошадиной» (первой) категорией трудоспособности.

Летом 1933 года в санитарном городке Ухтпечлага (на бывшем судострое, в 6 клм. от Чибью) в среднем в день хоронили по пять человек, а в районе «городка» работало всего лишь около семи тысяч заключеных. При таком «темпе» они бы вымерли за четыре года. Если смертность в лагерях за 1931-1932 года принять как «нормальную», то по отношению к ней, умирало: в 1928-1930 г.г. втрое больше, в 1933-1936 г.г. — в полтора раза, в 1937-1938 г.г. снова втрое и в 1939-1941 г.г. —в четыре раза больше! Нельзя ручаться за точность этих сравнений, но, во всяком случае, они близки к истине.

На Сахалине в дореволюционное время каторжники, даже в кандалах, благополучно работали по 5, 10 и 15 лет. В советских концлагерях почти никто не выдерживает десятилетнего срока. Среди тысяч заключенных я встретил только двух, отбывших этот срок: бухгалтера Самоцвета и диспетчера Желтунова в Адзьве на Усе. Третий счастливец — пишет эти строки. А между тем, в каждом новом этапе долгосрочники — от 10 до 25 лет — составляют чуть ли не четвертую часть. Это значит: на миллион арестантов — 250 тысяч долгосрочников, из

коих лишь тысяча вернется на волю. 249.000 сложат свои кости в лагерях. Одни — через год, другие — через пять или восемь лет. Об этом говорит статистика Ухто-Печорских лагерей, которую порой удавалось украдкой обобщать и анализировать.

БЛАТ И ТУФТА

Год общих работ в лагерях обходится в десять лет обычной жизни. Не будь двух добрых фей, концлагеря представляли бы одно сплошное кладбище. Эти феи — туфта и блат. Они-то и помогают заключенным увертываться от мертвой хватки режима.

Блат — это использование знакомств и связей в лагере с тем, чтобы избежать непосильных работ и устроиться на более легких. У кого есть блат, тот редко держит в руках лопату, пилу, топор или тачку. Иногда теплые места покупаются за взятки посылками или деньгами, но, в общем, такие случаи редки, и взяточников тем или иным способом выводят на чистую воду. Блат признается терпимой формой борьбы за существование, а взяточников считают шкурниками. Блат оказывается безвозмездно, часто из одного сострадания.

Туфта — это бесчисленные формы обмана лагеря ради того, чтобы меньше сделать и больше получить с лагеря продуктов и денег. Добрая половина заключенных обязана сохранением своей жизни туфте. Она дает им возможность держаться на ногах и питаться из ударных и стахановских котлов. Нет такого вида работы в лагерях, где бы заключенные не туфтили. Самая распространенная форма туфты — приписка бригадирами в рабочие сведения дополнительной продукции «с воздуха», или особых условий работы, которых в действительности не было. Если бригадир трус или шкурник, то сами рабочие, умудренные опытом и нуждой, найдут случай «зарядить» ему туфту. Ни в чем ином так ярко и широко не проявляется солидарность заключенных, как в этой форме общей борьбы за существование.

Никто не донесет уполномоченному 3 отдела о туфте. Туфта всеобщая благодетельница. Она так распространилась по всему организму лагерей, что борьба с ней до сих пор остается бесплодной. «ГПУ сильно, — сказал как-то один из членов коллегии ОГПУ, — но туфта еще сильнее».

Основываясь на «всесоюзных достижениях», ГУЛАГ то и дело увеличивает нормы выработки, рассчитывая этим покрыть ущерб своему хозяйству от туфты. Так, с 1930 года нормы на лесозаготовках возросли, в среднем, на сорок процентов, а на земляных работах на двадцать пять. Норму на расчистке дорог от снега взвинтили с 15 кубометров до 50! Тем не менее, в соревновании с новыми нормами, туфта не отстает. Нельзя же над каждым поставить контролера! В результате за истекшее десятилетие фактическая выработка заключенного в лесных и дорожных лагерях почти не изменилась, несмотря на механизацию, увеличение норм и высокие проценты выработки их.

Люди хотят есть, а НКВД кормит по выработке. Туфта является единственным спасительным выходом из положения.

ТАК ИЗМЕНЯЛИСЬ ФОРМЫ

За четверть века концлагери совершили сложный путь развития, постепенно изменяя свой облик, определяемый составом заключенных, характером и степенью важности производственных задач лагеря и политикой большевизма, превратившись под конец в гигантского спрута со щупальцами, протянутыми по всей стране.

Всю историю концлагерей можно разбить на пять главных периодов.

Первый — с 1922 по 1937 год, когда они полностью отвечали своему названию, будучи местом изоляции действительно опасных и активных политических противников молодого режима.

Второй — с 1928 по 1931 год, период первоначального опыта применения труда заключенных на массовых работах в лесу и на дорожном строительстве. Он отличен от последующих периодов упрощенной системой питания и своим« методом поощрения к труду» — «дрыном» (палкой). Опыт этих лет убедил ГПУ в том, что «человеческий материал» под дубинкой изнашивается за один-два года. Уравниловка в питании, при относительно достаточных в тот период общих нормах довольствия, совершенно не заинтересовывала заключенных в выполнении уроков (норм).

Третий период — период скачкообразного роста концлагерей (1932 1937 года) — характерен поисками наиболее эффективных методов и форм эксплоатации: вводились, отменялись и снова вводились и совершенствовались дифференцированные системы питания, премиального вознаграждения, дополнительных выдач продуктов из ларьков; появились «моральные средства поощрения»: книжки ударников, зачет рабочих дней, договоры соревнований, лагери были переименованы в исправительно-трудовые и т. п. В этот период Москва оценивала начальников лагерей не по строгости режима, а по степени выполнения плана, что прежде всего зависело от производительности заключенных. Этот период в истории концлагерей психологически и политически самый сложный. Его можно понять лишь в связи с показной и скрытой политикой Кремля.

Четвертый период — с 1938 года и до войны — был периодом, в котором концлагери, следуя всей политике перевода страны на рельсы военщины, отошли от метода пропагандной шумихи первой пятилетки, когда много говорили, но бестолково действовали, задыхаясь в штурмовщине и в прорывах. Из рентабельных предприятий НКВД лагери превращались в рентабельные рабочие тюрьмы, окутанные угрюмой казенщиной. Личность начальника лагеря перестала играть роль в жизни заключенных. Режим оскалил свои зубы. Заключенные остро почувствовали, что их снова, как до 1931 года, открыто считают врагами. Вместо специалистов из заключенных, начальниками командировок и лагпунктов снова стали чекисты.

О пятом периоде — о военных и послевоенных годах — расскажут другие очевидцы, которым его удалось пережить. Он самый жуткий, и прежде всего потому, что большевизм ряд лет (1941 - 1943 г. г.) стоял на грани падения, а в «колыбели революции» — в Ленинграде — голодные матери поедали своих детей.

СОСТАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Все население советской каторги НКВД делит на две основные группы: социально-опасных и социально-близких (или иначе: социально-вредных).

К социально-опасным отнесены все осужденные по 58-ой статье уголовного кодекса («за контрреволюционные деяния) — в ней 17 пунктов!) и по статье 59-ой — за бандитизм.

Социально-близкие — все остальные. Они делятся на осужденных за служебные и бытовые преступления, «за расхищение социалистической собственности» (закон от 7 августа 1932 года) и на уголовников.

Соотношение между этими группами и внутри их никогда не было постоянным и целиком зависело от партийной политики. Для 1937 - 1941 годов, для лагерей Севера, можно принять такое соотношение: первая группа составляет 60 процентов, а вторая 40, из них: служебных и бытовых по 5 процентов, «расхитителей» — 10 процентов и уголовников 20 процентов.

А. «Политические»

По статистике, шестьдесят процентов заключенных — «политические преступники». Но какие же это политические, если добрая половина их в 1930-1933 годах не могла расписаться и ставила, вместо фамилии, кресты! Какие это политики, если все они, за ничтожным исключением, на вопрос: «За что осужден?», отвечали: «Ни за что», «Сам не знаю» или «По наговору»! Настоящих политических, т. е. тех, кто в концлагере не скрывал своей борьбы с режимом, можно бы перечислить по пальцам, хотя я общался с тысячами заключенных.

Активные противники большевизма не доходят до лагерей. Их поголовно истребили еще перед 1930 годом, а после — случайно уцелевших—либо ночью на «Черном вороне»*), по глухой лесной дороге, отвозили из подвалов НКВД к заранее вырытым ямам, либо сажали в особые политические изоляторы, отрезанные от всякой связи с внешним миром. Они были нужны, чтобы использовать их при «показательных» политических процессах, как свидетелей против их, еще уцелевших, соучастников. В политические изоляторы отбирали только часть крупной добычи — приближенных Троцкого, Рыкова, Бухарина и бывших активных работников разгромленных партий анархистов, социал-революционеров и меньшевиков (социал-демократов).

Политические не только не принадлежали к какой-нибудь подпольной партии, но даже, в массе своей, не знали, какие существовали партии и к чему они стремились. Советские политические — просто жертвы разнообразных политических махинаций одной правящей партии. В 1930-1934 годах в концлагерях, например, преобладали осужденные по статье 58 пункт 2 — «за участие в вооруженных восстаниях

*) Так прозвали закрытые автомобили ГПУ-НКВД, на которых привозят в следственные подвалы арестованных и увозят оттуда на засекреченные кладбища трупы расстрелянных.

против советского строя». Это были крестьяне с Волги, с Украины, из Сибири, с Дальнего Востока, из казачьих областей, где в тот период, в связи с коллективизацией, раскулачиванием и голодом, происходили бунты и брожения. Мужики вилами и топорами расправлялись с ретивыми коллективизаторами и растаскивали продовольственные склады, пока не подъезжали войска ОГПУ. Спокойствие восстанавливалось. Вооруженные повстанцы и зажиточные крестьяне бесследно исчезали в подвалах ГПУ, а их родственники и все, кто со стороны глазел на бунт, получали десятилетний срок.

С 1935 года лагери ежегодно пополнялись тысячами «шпионов». В начале это были жители западных пограничных областей, преимущественно поляки, балтийцы и белорусы. Вся их вина заключалась в том, что у них «на той стороне» остались родственники, либо они рискнули разок перейти границу, чтобы купить на платье ситца. Для ГПУ-НКВД этого было уже достаточно. После нескольких месяцев выдерживания в подвале, «шпионов», наконец, вызывали в кабинет: «Откуда у тебя пять польских злотых? Признайся, от кого и за какие сведения получил их». — «О чем говорил с теткой на „той стороне"? Ага, о колхозе! Что ж ты рассказал?.. Правду? Так, так... значит, сказал, что в колхозе плохо». — «С твоих заработков не разгуляешься! А выпивал ты часто? На чьи деньги? Какие услуги за них оказывал? Кого переводил через границу? Ну? Не отпирайся — ты знал, как обойти посты, потому что дрова привозил на пограничный пункт». Другому, наоборот, подносили кулак: «Распишу, отец родной не узнает! Лучше сознайся!». Так массами пеклись шпионы, так рождалась и насаждалась шпиономания и очищалась пограничная зона от нежелательных групп населения. Бдительность перекинулась в центр страны. В селах и городах тоже оказались «шпионские гнезда». Появившаяся в Польше в 1936 году карта машино-тракторных баз СССР повлекла массовый арест сотрудников Трактороцентра и отдела механизации Наркомзема. Всем приписали «подозрение в шпионаже». Переписка с заграницей (друзья или родные) тоже служила достаточным поводом к аресту.

Конечно, ГПУ и НКВД не были столь наивными, чтобы поверить, будто в СССР находятся тысячи агентов иностранных контрразведок, завербовавших на службу десятки тысяч советских граждан. Шпиономания упорно и повсеместно внедрялась в сознание граждан на собраниях и посредством печати совсем по другим расчетам. Чем больше граждане СССР станут бояться промолвить необдуманное слово или сообщить какой-нибудь факт, тем сильнее они будут чуждаться один другого и тем меньше узнают про то, про что им знать не полагается. Ради этой цели, на фундамент укрепления власти обильно лилась кровь тысяч мнимых шпионов, а десятки тысяч гибли с этим позорным клеймом на каторжных работах.

После 1934 года, вместо «повстанцев», лагери пополнялись «агитаторами» — по 10-му пункту 58 статьи. Агитацию «пришивали» по любому поводу: за критику профсоюзного бюрократизма, за непочтительность к вождям, за анекдоты. Даже сон, и тот стал уголовно-наказуемым политическим деянием. В 1938 году в Покче (Ухто-Печорский ла-

герь) я повстречался с односельчанином моей бабушки — Мишкой Ходаевым. Сын бедняка, танкист Красной армии, он получил пять лет лагерей за сон. Собственно, не за сон, а за то, что он рассказал его экипажу своего танка. И сон-то был пустяковый. Приснилось Ходаеву, будто в Москве горит Кремль и оттуда выезжают машины с вождями. Кто-то передал рассказ политруку, тот политкому, политком — Особому Отделу (орган НКВД в армии) и — пожалуйте бриться! — пять лет концлагерей. Не может гореть Кремль и не могут покинуть его наши вожди! Даже во сне..! Другому крестьянину, середняку с Амура, дали три года за то, что вспомнил один анекдот. Вышло так: пришла к нему учительница. «Почему, — спрашивает,—детей в школу не посылаешь? — «Видишь, — босые. Обуви нет. Да и не за чем!». — «Как не за чем?! — удивилась учительница: грамоту выучат, считать научатся».—Знаю я эту науку! — ответствовал мужик. — Верно люди сказывают: раньше учили, как сложить да умножить, а ныне — как отнять, да разделить»... Учительница оказалась ярой комсомолкой. Дело было зимой 1929-30 года, — в разгар коллективизации и раскулачивания. Поехал мужичок со мной в вагоне — на три года.

В 1934 году у нас на Кожве (Ухто-Печорский лагерь) работал немец, едва понимавший по-русски. Он служил полицейским в Берлине и был членом социал-демократической партии. Опасаясь преследований гитлеровцев, он убежал на «Родину всех трудящихся», где ему и дали «приют» на пять лет — по подозрению в шпионаже.

В 1938 году со мной в Покче, в изоляторе, сидел, в ожидании второго приговора «за агитацию в лагерях», начальник планово-финансового отдела Полиграфического треста Украины, симпатичный пожилой еврей. У него в приговоре, вместо статей Уголовного Кодекса, стояло: «За фашистскую агитацию»... Между тем, он ровно ничего не имел против советской власти и уж, конечно, не восторгался Гитлером. Просто его обвинили в симпатии к сионизму. А так как сионизм, в некотором роде, национализм, то и окрестили еврея фашистом.

Был бы, говорят, человек, а статью ему подберут!.. Тут обошлись и без статьи.

С 1937 года сфабрикован был новый тип преступника — «враг народа». Под этой кличкой привезли в концлагери сотни тысяч чиновников государственного, партийного, хозяйственного и профсоюзного аппарата всех рангов и мастей, от членов правления колхоза и сельсовета до наркомов и партийных вельмож включительно. Два года — 1937 и 1938 — бушевала в стране «ежовщина», наводя трепет на великих и малых. В одном Харькове, например, за этот период было арестовано 30 тысяч различных работников (другие утверждают, что больше: 40 тысяч).

Было бы непосильным трудом в краткой брошюре систематизировать и перечислить сотни всевозможных предлогов, по которым «врагов» пачками расстреливали и партиями гнали на каторгу, на срок до 25 лет, т. е. тоже на смерть. «Врагами» оказались:

1. Все бывшие и настоящие сторонники внутрипартийной оппозиции как правого, так и левого уклона, не взирая на их прошлые покаянные письма в ЦК;

2. Все, когда-либо, под влиянием сомнений, писавшие письма в свои верховные партийные органы, в которых они честно излагали личные взгляды на отдельные вопросы, все еще веруя во «внутрипартийную демократию»;

3. Партийцы, которые знали о настроениях и высказываниях «врагов народа», но во-время не сделали из этого «большевистских выводов»: не «разоблачили» их, не донесли «куда следует», оказавшись, с точки зрения большевизма, пособниками, укрывателями и гнилыми либералами, опасными для режима насилия и непримиримости хотя бы одной этой добропорядочностью;

4. Руководство предприятий, трестов и целых отраслей хозяйства, в которых систематически не выполнялись планы;

5. Остатки социал-революционеров, меньшевиков, бундовцев и анархистов, когда-то (в 1918 - 1923 г. г.) почти ставших на путь сотрудничества с большевиками в форме, воскресшей сейчас под названием «правительств народной демократии».

Часть «врагов народа», испытав лагерный режим, попытались было добиться для себя, как политических заключенных, улучшенных условий содержания, но их заперли в лагерные тюрьмы, подвергли новому следствию и... расстреляли.

По мнению Политбюро, в Советском Союзе больше не может быть политических противников. Наличие их показало бы, что в стране, где каждый голосует за мероприятия и политику партии, на самом деле живут иные политические мысли. Вот почему благородное название «политический противник» было подменено грубым и отвратительным «враг народа». Пропаганда учила так: «поскольку на практике самой превосходной системой для трудящихся оказалась наша, большевистская (ибо ни одна другая не располагает таким «превосходным» средством убеждения и перевоспитания, как НКВД и концлагери. Автор), то все, кто идет против нее — идут против народа, за капитализм; значит — «враги народа».

Кровь лилась ровно столько времени и таким потоком, как это нужно было для политики. Цель была достигнута. Всех пытавшихся отстаивать или проводить в жизнь свои взгляды «ликвидировали». Сталин отныне мог положиться на новые кадры. Забрызганные кровью бывших сослуживцев, они будут служить вождю не только за совесть, но и за страх перед ним. Так «ежовщина» окончательно превратила партию в замкнутую касту раболепствующих приказчиков единого хозяина.

* * *

С 1935 года «состав преступлений», действительно, не стал укладываться в широкие рамки всех семнадцати пунктов 58-ой статьи. До десяти процентов политических привозилось в концлагери с краткими и туманными формулами обвинения: «за антисоветские разговоры»... «по подозрению в шпионаже»... «враг народа»... «за связь с изменниками родины»... «как социально-опасный»... «за троцкизм»... «за связь с заграницей»... «как член семьи врага народа»...

До 1934 года девяносто процентов политических были крестьяне и рабочие. Затем соотношение резко изменилось. Пошел урожай на советскую интеллигенцию, — «плоть от плоти трудящихся», как величал ее вождь. Прежде трудно было найти счетовода, а тут понавезли столько всяких инженеров, экономистов и профессоров, что лишь малая доля их могла устроиться в конторах. Большинство зарабатывало лагерный хлеб топором, пилой и лопатой, быстро превращаясь в «доходяг».

Б. Служебные

Советские служебные преступления и преступники тоже своеобразны. К ним, прежде всего, надо отнести армию «расхитителей социалистической собственности» или, как им кратко записывают в приговор, — «осужденных по закону от 7 августа 1932 года». Сотни тысяч колхозников и мелких служащих, из числа охраняющих или учитывающих «священную социалистическую собственность», познакомились с лагерями за эгоистическую любовь к тому, что раньше принадлежало им, а теперь колхозу.

Взял бригадир с колхозного гумна воз соломы для своей коровы— 10 лет! Продал тракторист бидон бензина — 10 лет! Поймали колхозника на краже колхозных снопов — 10 лет! Не внесли в книги телка на колхозной ферме, а подкормили и съели его — по 10 лет! Записали жирность молока в 3 процента, вместо 4, а «экономию»—несколько пакетов масла — поделили между собой, — по 10 лет! Нашли у возчика колхоза ведро несданного элеватору зерна — 10 лет! Захватили в поле колхозницу, вырывавшую только что посаженный картофель — 10 лет.

В каждой области, только в порядке показательных процессов, ежегодно осуждают на каторгу сотни колхозников, застигнутых на месте жуткого преступления — за стрижкой созревающих колосьев. За это их, а потом и вообще всех осужденных по закону от 7 августа, прозвали — сначала на воле, а потом и в лагере — «парикмахерами».

Да где уж там перечислить все случаи! Я взял первые, которые вспомнились. Главное, что они — заметьте! — говорят больше о тоске в желудках, чем о веселой и зажиточной жизни в колхозе.

Но советское правосудие не считает голод и бедность смягчающими вину обстоятельствами и раздает направо и налево «полные катушки», — по десяти лет.

Следующей, многочисленной, группой являлись осужденные за халатность по службе. Слопали крысы колбасу в магазине — заведующему 5 лет (хотя он во-время требовал котов, мышеловки и отраву); села баржа на мель — капитану 5 лет, водоливу баржи — 3 года; простояли тракторы из-за отсутствия горючего — 4 года; протухла рыба без соли, застрявшей в пути, — 10 лет. И так далее, в том же духе. Тут еще больше поводов гнать в лагери, чем по закону от 7 августа. Там одни колхозники отдуваются, а здесь притянуть к ответственности можно любого.

Дальше — тысячи растратчиков. Одно время — в тридцатых го-

дах — власть на них так взъелась, что за недостаток в 25-30 рублей кассиршу осуждали на пять лет.

За растратчиками идут осужденные за товарообменные операции между государственными организациями. От этих операций лично для себя нарушители порядка планового снабжения никакой выгоды не получали, но... закон есть закон: одному три года, другому пять, третьему семь лет.

При любом другом строе таких «преступлений» либо вовсе нет (в России никогда не вырывали посадочного картофеля у соседей и, тем более, не стригли колосьев), либо хозяин прогнал бы виновного, и тем бы дело и кончилось. А тут — по пять да по десять лет. Таков новый барин-государство. Оно и хозяин и законодатель. И работой жмет и на каторгу шлет .Бумага для декретов и законов государственная, суд — тоже, люди — тоже государственные. Государство в убытке не останется — будут бесплатно работать в другом месте — в лагере!

Раньше, у добрых хозяев, не было растратчиков, расхитителей и нерадивых служащих, а если и встречались, то как исключение. Поучительно было бы сравнить число осужденных за эти «преступления» по Сталинградскому тракторному заводу и по предприятиям, скажем, Форда: кто кого «догнал и перегнал»...

в. Уголовные

Пожалуй, достаточно двух слов для характеристики большинства заключенных этой категории: «Торбохваты» и «Дешевка», то есть опустившееся мелкое базарное ворье. Они способны на самые крайние низости: украсть хлебный паек или посылку у соседа, заменить ему крепкие ботинки на рваные, проиграть свое обмундирование или свою порцию пищи на целый месяц вперед, лебезить перед сильными и издеваться над слабыми, а то и донести 3 отделу о подготовке к побегу. Даже старые жулики презирают своих младших братьев за то, что они, порождение советского строя, опоганили прежнюю воровскую этику, восприняв новую: «свой — не свой, на дороге не стой!». Для таких моральных уродов лагерь, как они сами говорят, «дом родной». Тут они проходят воровскую академию искусства и свою «политграмоту».

Однако, и среди уголовников есть немало достойных жертв режима. Так, совершенно особой прослойкой являются рабочие, неоднократно наказанные за хищение инструментов и материалов с места работы. Их на это толкали те же причины, по которым колхозники набивают зерном карманы: нужда. Близко к ним стоят административно осужденные на три года «по изоляции». Это — жулики, полностью или частично порвавшие с прошлым и годами, ни в чем не запятнанные, работавшие на производстве. Они попали в лагерь, как объекты «соревнования» областных уголовных розысков и милиции. Трехкратной судимости в прошлом, по законам НКВД, достаточно для ссылки бывшего вора в концлагерь. Таким «методом» столицы и промышленные города очищаются от «нежелательного элемента». Обе эти прослойки, вместе со старыми жуликами, сами сторонятся «торбохватов» и не отягощают жизни политических.

Уголовный мир живет по своим особым законам. Неоднократные попытки лагерного начальства оседлать уголовников пока что успехом не увенчались. Надо, однако, отдать им справедливость: они до фанатизма ненавидят принудительный труд и этим доставляют администрации лагерей куда больше хлопот и неприятностей, чем все остальные группы заключенных вместе. Если реальную производительность политических и служебных принять условно за сто процентов, то уголовники дают не больше 50, хотя по рабочим сведениям они тоже часто получают «стахановский паек».

Иные уголовники лучше разбираются в скрытом смысле той или иной политики, особенно лагерной, чем многие осужденные за контрреволюцию, и умеют, при случае, извлечь из нее для себя пользу. Отказываясь от работы, иногда группами в 50-100 человек, уголовники никогда не принуждают политических присоединяться к ним, понимая, что для последних отказ может повлечь расстрел.

* * *

Вот из такого-то людского конгломерата и составлены советские концлагери, причем он беспрестанно меняет свой цвет. Вчера пришел этап «расхитителей социалистической собственности», сегодня — «враги народа», завтра — хулиганы, за ними «шпионы», потом троцкисты, ленинградские уголовники. Что ни год, то новые люди. В концлагерях нет преступников, а есть типично-советские люди, на которых пал жребий отработать на каторге. Те, которые остались «на воле», не хуже и не лучше заключенных (кроме, разумеется, определенных категорий уголовников). Они также роют колхозную картошку, продают бензин, у них тоже стоят тракторы и тухнет рыба; антисоветские анекдоты, хоть шопотом, но передаются от одного к другому; в кругу знакомых нет-нет, да и ругнут советские порядки. На всех не может пасть жребий. Нельзя же весь народ запрятать в лагери, когда существует другая форма рабства — плановое большевистское государственное хозяйство. А запугать концлагерями можно .Вот и пугают, чтобы одни голоса молчали, а другие славословили.

ПОД ЗВОНКИ И КОМАНДУ.

Таков «Краткий курс истории концлагерей ВКП(б)». Можно его изложить и более сжато — так как он навсегда остается в памяти заключенных:

Звонок: «Давай вставай! Подъем!». **Звонок**: «Давай выходи на работу!». **Звонок:** «Давай на вечернюю поверку!». **Звонок:** «Отбой! Давай по нарам! Спать!».

А время между звонками, с зари до ночи, заполнено мыслями о хлебе, о семье, о развеянном личном счастьице; иногда — обмен парой откровенных фраз с таким же внешне одичавшим соседом, иногда — перебранка с ним. И очереди!.. Очереди за инструментом, за кипятком, за ужином, за пачкой махорки, за ушатом воды в бане и за перевязкой у фельдшера.

Под звонки и команды, на работе и в очередях, проходит существование, а после начинать ж и з н ь уже нет мочи: выброшен обессиленным.

Но честно рассказанная на трехстах страницах, жизнь в концлагерях порою звучит иначе, порою раскрывает новое из того, что скрыто за Двойной Железной Завесой. Мы услышим стоны и смех, увидим слезы и улыбки. Там Человек продолжает сопротивляться Режиму.

Итак, начнем!

Часть I

СОЛОВЕЦКИЕ ФАКТОРИИ

(1930 - 1932)

Глава 1

Лиха беда - начало

ГУРТЫ ПРИГНАЛИ!

А ну, давай, вылезай! — раздалась команда.

Двери вагонов раскрылись, и мы, как бараны, двинулись к выходу. Конвой, без всякой видимой нужды ,— то ли из ненависти к нам, то ли по привычке или из желания показать начальству свою ретивость, — без конца орал: «Давай, пошевеливайся! Не у тещи!» . . .

После душного вагона свежий воздух кружил голову. Многие, не выдержав резкой перемены, подорванные жестоким следственным режимом, не устояли перед напором чистого весеннего таежного озона и повалились на земь.

— Раскис! — презрительно процедил конвоир, — бабой прикидывается. Ну, ты, не задерживай, — отходи! — злобно крикнул он, ткнув носком сапога присевшего на свой мешок крестьянина. Тот обвел нас мутным взглядом, как бы ища сочувствия, и медленно-медленно, опираясь на мешок, стал подниматься. Страх, которым зарядили в следственных подвалах, помог преодолеть обморок.

Было уже 11 мая (1930 года) и солнце не скупилось на лучи, но зима еще удерживала свою власть. Повсюду лежал снег, и только по полотну дороги да около станции чернела земля и блестели лужи.

Станция Лоухи, Мурманской железной дороги, где мы сейчас выгрузились, находилась почти на Полярном круге, в тысяча стах километрах севернее Ленинграда, откуда мы выехали вечером 9 мая. В Ленинграде уже стояла весна, а тут только белые ночи напоминали об уходящей зиме.

Я вздохнул, еще раз вспомнив приговор «тройки» полномочного представительства ОГПУ по Дальнему Востоку: «заключить в соловецкие концлагери особого назначения ОГПУ, сроком на 10 лет, считая срок со дня вынесения приговора».

«Соловецкие...». Вот как обернулась жизнь! Двенадцать тысяч километров по этапу. От Охотского моря до Балтийского, а оттуда — к Белому. Хайлар (Манджурия) — Чита — Хабаровск — Новосибирск — Ленинград — Лоухи. И выдержал, не свалился с ног, как другие. На одном пайке — без всяких передач.

Обросший, грязный, в оборванной овчинной шубе, в желтых полуботинках я, наверное, казался выходцем из самых жутких трущоб. Уже давно сдался я в неравной борьбе со вшами, от которых шевелилась шерсть на мой шубе. В шерсти им жилось лучше, чем в моем ветхом бельишке, с подозрительными дырками на спине, которым прикрыли мою наготу в читинской тюремной бане. Я не был наивным и не спросил банщика, от каких пуль эти дырки, — от винтовочных, или револьверных. Белье держалось на теле и не расползалось от ветхости, ну а брезгливость — не дело тюрьмы, где из «Параши» *) растекается по полу вонючая жижа, а места на нарах нет. Багаж? Какой багаж?! Этапный паек, выданный на два дня в ленинградских «Крестах» **), съеден еще вчера утром. Ни ложки, ни котелка, ни сумки. Вольный сокол!.. Вот те, другие, «колхозники» — у них что-то еще держится в самотканных мешках за плечами. Онучи, заплесневевшие ржаные сухари, соль в тряпочке, деревянная ложка с консервной банкой, а у некоторых, пожалуй, и запасная пара исподнего.

Я оглянулся на толпившиеся вдоль состава тысячные массы арестантов. Одни «колхозники» да жулье. Интеллигенции не видно. Либо ее нет, либо она доведена до моего состояния.

Опустевший поезд тронулся дальше. Наверное, повернет опять на Ленинград. За новенькими. В «Крестах» людей хватает. Опять набьют, как селедок. Мы два дня не могли шевелиться — так было тесно. Легко сказать: без мала две тысячи в двадцати двух пригородных вагонах без верхних полок.

— Давай, стройся по четыре! — пронеслась новая команда.

Вдали показался начальник конвоя. С ним — несколько ГПУ-шников, видимо, из Соловецкого лагеря. Конвоиры, посматривая в их сторону, принялись «наводить порядок» в строю.

— Ты, псиное мурло, куда затесался? Держи равнение!

«Псиное мурло» — черноземный бородатый мужичок — от рывка откормленного конвоира, не удержавшись, выскочил перед строем.

— Куда?! Стой на приказанном месте! — Новый толчок

*) «Параша» — тюремное название деревянной кадки для естественных нужд арестантов.

**) «Кресты» — центральная тюрьма в Ленинграде.

в грудь вбивает мужичка на «приказанное место».

Начальство проходит вдоль рядов, считая: ... «двадцать второй, двадцать третий» ... Очевидно, сошлось с документами. Никто еще не улизнул.

Началась перекличка:

— Утюжный Иван?

— Тута!

— Не «тута», а отвечай «есть»! .. Скоморохов Андрей, он же Артюхов Петр, он же Симонов Андрей.

— Есть, гражданин начальник! — бойко отзывается бывалый жулик с пустым рваным портфелем, перебегая на другую сторону, к группе уже вызванных.

Почти до полудня затянулась перекличка. Конвой сдавал, а концлагерь принимал этап.

Опять строимся. Опять командуют, только на этот раз новые, лагерные конвоиры:

— Держать равнение в рядах. Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к побегу. Стреляем без предупреждения. Не отставать и не выходить из строя. Тут вам Соловки, а не богадельня! А ну, шагом марш! ..

Пестрая толпа, пытаясь сохранить строй, двинулась в путь, к новому «дому» .От станции на запад, к Финляндии, граница проходила в пятидесяти километрах — тянулась широкая, местами еще не раскорчеванная от пней просека. Под талым снегом хлюпала вода, затекая в обувь. Ноги одервенели от ледяной сырости.

Когда же конец? — Километр, два, три ... Лес да болота с озерами. Ни деревень, ни пашен. Уныло и дико. Вот она какова, эта Карелия. Не видел, и смотреть не хочется!

Этап растянулся чуть ли не на два километра. Ругань конвоя мало вливала бодрости в изможденные тела. Многие, обессилев, с каким-то тупым безразличием садились на пни, другие бросали свои мешки и деревянные сундуки, лишь бы не отстать от других.

Навстречу двигалась группа заключенных, человек в десять. Это были первые старые соловчане. В лагерном обмундировании, с котелками, ложками и сумками через плечо. И, конечно, с конвоиром. Группа двигалась без всякого строя, опираясь на палки и прихрамывая. Самый задний, далеко отставший, вообще не шел, а едва переставлял свои ноги-ступы, перевитые тройными онучами.

— Откуда, братва?

— С 24-го километра.

— Куда путь держите?

— На станцию, а оттуда поездом в Кандалакшу. В лазарет едем.

— Что с вами?

— То же, что и с вами будет, — цынга. Скрутила так, что ноги не переставишь.

— А где же подвода? Неужто с такой болезнью заставляют шагать?!

Калека, продолжая двигаться, поднял к нам жалобный взор.

— Ну, пристыли! — раздался окрик нашего конвоира. — Любопытны, как бабы. Давай, двигайся! А ты своих отведи в сторону! Пусть на глазах не торчат. Пройдет этап, тогда и веди их дальше.

Оглядываясь на цынготников, мы пошли вперед, каждый по-своему обдумывая эту встречу... Так вот каковы эти Соловецкие концлагери!

Новая команда ворвалась в тенета мыслей:

— Правое плечо вперед, шагом марш! Выравнивайся, подтягивайся!

— Колонна узников свернула с просеки влево, на широкую прогалину, где еще тлели остатки от сожженного повала.

— Чего рты-то разинули? — тут ваш лагерь.

На дощечках, прибитых к соснам, стояло: «Командировка 6 километра». На краю прогалины виднелся жердяной сарайчик, а подле него два больших бунта с мешками овса и муки, покрытые брезентом.

— А где ночевать, гражданин конвоир? — раздался неуверенный голос.

— Номеров пока не припасено. Где стоишь, там и переночуешь. Не велика персона!

— Как же так? В снегу?!

— Не нравится? А зачем против советской власти шел?

— Да я худого слова о ней не говорил.

— Старая песня. Знаем. Все так прикидываются. Советская власть зря срока не дает. Тут из вас агитацию-то выбьют!

Из сарайчика вышло несколько человек, одетых так же, как повстречавшиеся цынготники. Каждый лез к ним со своим вопросом.

— Когда же нас оденут? — допытывался один, ощупывая их бушлаты, брюки и сапоги.

— Сначала в баню сгоняют, а потом и обмундирование выдадут.

— С хлебом как? Хватает? — интересовался другой.

— Накормят, не бойся. А за плохую работу «дрыном» потчуют...

— «Дрыном»? Что это за «дрын»?

— Узнаешь, когда конвоир или десятник на тебя взъестся.

— Не за что. Я тихий, мухи не обижу. Меня б кормили, а работать я буду. Привычный. Торфяник я.

— Кто работает, норму выполняет и молчит, того не тронут, накормят и оденут.

Понемногу будущее прояснялось. Ничего особенно сложного. Мы работаем для лагеря, а лагерь кормит нас и обмундировывает. Голодному брюху не до сложной философии.

Пока мы разговариваем с соловчанами, охотники из этапа, по вызову начальника, уже мастерят вокруг площадки козлы, укладывая на них длинные жерди. Пусть эта тюремная ограда ненадежна, примитивна, но каждый слышал: «При попытке перехода через установленную линию, конвой применяет оружие без предупреждения».

За соснами показалось несколько подвод, груженых хлебом.

— А ну, стройся! Буханка на четверых!

— Ого! По восемьсот граммов. Жить можно! Правду ребята сказывали — кормят подходяще.

На многих лицах проступало радостное оживление.

— Теперь бы огоньку, гражданин начальник. Замерзаем.

— Это можно устроить. Ну, кто там охотники заготавливать топливо? Пятьдесят человек отделяйтесь сюда. Андрюшкин, выдай им четыре пилы и четыре топора!

Жизнь налаживалась... В лесу с треском рушились деревья, люди таскали на прогалину двухметровые бревна. Уже трещали костры, раздуваемые ветром. Свернувшись калачиками на расчищенной от снега почве, люди как-то ухитрялись дремать. Но у меня ничего не выходило: только склоню голову и забудусь, как порыв ветра опять переносит в действительность. Снова лезу к огню, нагревая то одну, то другую половину тела. Вместе с теплотой вливается надежда: худшее преодолено. Как-то даже уютно, сидя на корточках, крутить цыгарку. Будто я не в концлагере, а мальчишкой — на утренней холодной заре, у реки, расставив удочки, затягиваюсь запретной папироской.

С просеки свернули еще две подводы, груженые котлами.

— Кто работал поваром, подними руку! — слышится голос.

Дремавшие встрепенулись. Каждый пятый простер свою длань к небу. Некоторые даже поднялись на носки, чтобы их лучше видели. Странно!.. Такая масса поваров. Будто ГПУ провело рейд по ресторанам и столовкам. Или, быть может, по прихоти судьбы поварская профессия изобилует преступниками? Мне, новичку, и в голову не приходило, что просто-напросто голод тянул людей к котлам.

— Где ты работал поваром? — допытывается начальник у сухощавого заключенного с папахой на голове.

— В Тверском нарпите

— Кашу готовить можешь?

— Могу.

— Сколько вольешь воды на ведро пшена, чтобы каша вышла крутая?

«Повар» слегка мнется:

— По потребности, — роняет он, стараясь избежать прямого ответа.

— А ну, катись колбасой! Не морочь голову! Попадешься в другой раз — всыплю тебе «по потребности»!..

«Повар» исчезает.

Отобранные начальником уже суетятся около котлов, промывая пшено, поднося воду, засыпая соль. Вскоре загуляли черпаки. Задние в очереди, как гуси, вытягивали шеи, с голодной жадностью наблюдая за раздачей.

— А дают подходяще! С недельку б так покормили, пошла б работа.

— С работы кони дохнут. Вам бы только работать и лопать! Так кулаками и остались — эх, дурачье! — презрительно замечает уголовник, поднимая и облизывая широкую щепку, на которую кто-то только что получал свою порцию.

Посуды почти ни у кого не было. Подставляли щепку, бумагу, кружки, даже шапки, и тут же, отойдя к стороне, обжигаясь, глотали горячую кашу.

— Стройся по четыре! — пронеслась новая команда.

— Зачем?

— Не твое дело. Объяснят, когда надо. Стройся, говорят! Появился конвой. По рядам пронеслось:

— Разбивка!.. Отправляют на другие командировки.

— Ах, ты, какая оказия! Надо держаться земляков, чтоб вместе. Да куда же Сидор затесался?! Сидор! Сидор!!! Ходи сюда!

По шеренгам пошла неразбериха. Сидор протискивался к Петру, Савва к Николаю. С одного конца строя до другого раздавались выкрики.

— Петруха, ко мне! Тут я, Перепелкин!

— Островские, подходи к нам!..

— Смирно! — раздался грозный окрик. — Нечего кумовьев да сватьев разыскивать! Стал в строй — замри!

Народ приутих.

Начальство пошло вдоль шеренги, тыча каждого в грудь:

... Первый, десятый, восемнадцатый... Конвой, принять эту партию!

Не успела первая партия скрыться за поворотом, как уже отводили вторую. Этап таял. Отправляли на 11-й километр, на 18-й, 24-й, 29-й, 35-й, 43-й. Нас, на «6 километре», осталось не больше четырехсот человек.

ЗДРА!..

Перед строем показался средних лет белобрысый мужчина, в бродовых сапогах и без формы, — в лагерном бушлате *) и галифе.

— Смирно! Запомните, что я скажу. Повторять не стану. Кто думает бежать, пусть бежит сейчас же и прыгает в это озеро (наша командировка стояла на самом берегу большого озера Лоухи). Так ему будет лучше. Поймаем, — с живого семь шкур сдерем. А уйти ему, все равно, некуда. Вокруг — топи, озера и наши секретные посты с собаками. С сегодняшнего дня я ваш начальник, царь и бог. Не вздумайте жаловаться. Забудьте эту привычку. Тут кончилась власть советская и наступила власть соловецкая... Все приказы лагерной администрации — от меня и до десятника — должны выполняться без возражений и полностью. Вы еще, вижу не привыкли к строю, так ротный командир научит втягивать брюхо и держать равнение в рядах. А ну-ка, ротный, наведи порядок, обучи их здороваться с начальством!

Наш «царь и бог» повернулся и зашагал к сараю.

Ротный взялся муштровать вчерашних кулаков и уголовников. Проходя вдоль строя, он своими каблуками топал по выступавшим лаптям, наводя порядок...

— Я шутить не люблю. Строй должен быть строем, а не ярмаркой рязанских баб. У меня чтоб как по нитке! Мы на штабной командировке **) и потому должны быть примером! — поучал ротный.

Удовлетворившись, наконец, плодами муштры, ротный перешел к следующему разделу лагерной науки.

— Теперь я буду с вами здороваться, а вы все, как один, что есть мочи, отвечайте: «здра!». Поняли?

— Вестимо. Чего не понять? Конешно! — раздались голоса.

— Молчать! — цыкнул ротный. — Это что за ответы? Кому? Бабе? Перед вами я, командир, и когда спрашиваю «поняли?», должны рявкать: «так точно!», а не «вестимо!». Кто вас наплодил только, таких недотеп!..

Ротный выставил козырем ногу, заложил правую руку за борт бушлата и молодецки выкрикнул:

— Здравствуй, рабочая рота!

— Здра! — в разнобой закричали «солдаты».

— А? — не слышу! — Ротный приложил руки к ушам.

— Здра! — вновь разнобоем ответил строй.

---

*) Бушлат — полупальто. До 1933 года — из солдатского серого шинельного сукна, после — ватное, черное или темносинее.

**) Штабная командировка — так называлась командировка (производственный пункт лагеря), при которой помещалось управление строительством всего тракта.

— Громче!

— Здра!

— Еще громче! В Соловках ***) не слышно!..

— Здра!

— Я вам покажу «здра»! — вскипел ротный. — Не распущу, пока не выучу!

По крайней мере, два часа мы на разные лады выкрикивали это дурацкое «здра!». Неконец, ротному показалось, что мы осилили эту «мудрость» (а, может, ему просто надоело возиться с нами), и он пошел с докладом к начальнику, предварительно отдавив еще десяток ног, нарушавших красоту строя.

Начальник презрительно обошел выставку лаптей и прочей обувной ветоши.

Чтоб смягчить его сердце, а, главное, чтоб поскорее приткнуться к желанным кострам, строй со всей силой выпалил:

— Здра!

— Ну, ладно. Для начала хватит Ротный! — утром повтори обучение. А сейчас отправляй их на санобработку *). Пока одна партия моется, остальные будут заготавливать баланы **) для барака. Кто тут инженер или техник, кто раньше служил в милиции и ГПУ, пусть выйдут из строя!

Но таких в нашем сермяжном этапе не оказалось.

— Кто десятник по строительству дорог, мостов и зданий — выйти из строя!

Нашлись трое. Начальник ушел с ними в сарай, откуда они через несколько минут вернулись, наделенные инструкциями и деревянными метрами, толщиной в добрую палку. Метр десятника и был тот «дрын», воспетый в лагерной поэзии, которым не только отмеривали «урок», но и укрощали непокорных, выбивая из них лень, «филонство» и упрямство.

Надежда отдохнуть у костра испарилась. Вторые сутки мы проводили под открытым небом, — то в очередях за хлебом и кашей, то в строю. Тут даже умереть не выберешь минуты! Шатаясь от сонливости, я, вместе с остальными, побрел таскать накатник для будущего барака.

Три сотни людей, как бы медленно они ни работали, все же за день напилили и натаскали солидную кучу строительного материала. Только жулье пользовалось организационной неразберихой, при каждом удобном случае оседая у костров.

***) Соловки — четвертое отделение Соловецкого лагеря — на Белом море, в ста километрах от Лоухи.

*) Санобработка — дезинфекция одежды, стрижка волос и мытье в бане.

**) Баланы — бревна, испорченное от слова «балансы».

«САНОБРАБОТКА»

— А ну, кто следующий в баню — становись!

Я пристроился к партии таких же вшивых и оборванных. Два конвоира повели нас по той просеке, по которой пригнали.

В двух километрах от командировки, в стороне от дороги, стояла деревянная баня. Ни раздевалки, ни полок, ни окон. Теснота — плюнуть некуда! Вместо каменной печи, топилась «буржуйка», на которую изредка плескали водой, создавая иллюзию парной бани. Мы со страхом взирали на этот очаг гигиены, содрогаясь от одной только мысли, что надо сбрасывать свою ветошь под открытым небом, на чистый снег.

— Ну, чего мнетесь! Приглашения ждете? Раздевайтесь и проходите санобработку. Других задерживаете! — недовольно бурчал ротный, считавший долгом присутствовать при первом крещении новых лагерников.

Тут же, у котла, оказавшийся в этапе парикмахер нещадно выдирал наши волосы, где б они ни росли. Машинка была казенная, тупая от вшей и потной грязи. Это и называлось «полной самобработкой», после которой от одного воспоминания о ней даже летом мороз продирал по коже. «Обработанный» новичок, как Адам после грехопадения, со слезами боли отходил в сторону и проводил рукой по голове, ощупывая то тут, то там оставшиеся пряди.

У котла, дрожа от холода и перебирая застывшими ногами, стояли в очереди те, кому нехватало ушатов.

— Шевелись! Не в «Сандуновских!» *). Сказано пять минут, значит, прошел срок, — вылетай, как пробка! — кричал в баню ротный, отбирая у выходящих деревянные шайки.

Не попадая зубом на зуб, я протянул прыгающую в руках шайку к котлу, получил в нее не больше двух литров теплой воды. За три месяца два литра! Не густо!..

— Добавь! — робко прошу я раздатчика.

— Кому там мало? — несется голос ротного.—Получил черпак — отлетай. За добавкой пусть к ГПУ обратится. Оно добавит...

Через низенькую дверь проникаю в рай. Какая теплота! Боже, какое наслаждение! Так бы и просидел тут все десять лет. Кончу, Бог даст, срок, непременно пойду в банщики. Все время в тепле. Зимой и летом. Подумать только, какое счастье!

Я с остервенением размазываю грязь, пригоршнями зачерпывая воду, стараясь не проронить на пол ни одной капли. Раскаленная печка припекает телеса, но я с каким-то сладострастием терплю эти иглы жара, проникающие через

*) Сандуновские — известные московские бани.

холодное тело. Вот так бы и уцепился сейчас за эту печку. Пусть жжет, пусть палит! Двое суток на снегу уже оттеснили память о душном вагоне, в котором мечтали о кусочке снега.

— Не задерживаться! Вылетайте пулями! — раздался знакомый голос. Я вспомнил про снег, про неизбежность покинуть это чудное изобретение человеческого гения — баню — и по всему телу прошел озноб, покрыв кожу мелкой холодной сыпью. Еще хотя минутку!

Я прячусь за такие же грязные и исхудалые тела, стараясь выгадать лишнее мгновение. Но баня пустеет.

— Чего валандаетесь? Дрына не пробовали? Угощу! У меня еще двадцать гавриков **) на очереди, а они тут. как клопы, присосались. А ну, раз, два, живо!..

Я не стал ждать повторения.

Холодный ветер жалил не легче, чем осы. Припрыгивая, голые тела выстроились у кучи нового нижнего белья, скрываясь друг за другом от порывов ветра.

... Слава Богу!.. Я лихорадочно натягиваю кальсоны и рубашку. Хоть чем-нибудь, да прикрыто тело! А муки холода еще не кончились. Наша рвань продолжала висеть в газовой камере, привезенной сюда на телеге. Ротный строго следил за тем, чтобы установленное для дезинфекции время — сорок минут — было полностью выдержано. Мы хлопали руками, припрыгивали, приседали, толкали друг друга, стараясь побороть озноб.

Как назло, у какого-то «колхозника» украли кошелек с двенадцатью рублями. «Колхозник», не предчувствуя последствий, пожаловался на кражу ротному.

— Что, красть?! Не в Ленинграде, на Лиговке ***). Я эту привычку выбью. Даю срока одну минуту. Не подбросят кошелька, — всем покажу небо с овчинку!

Но минута прошла, а кошелек не нашелся.

— А ну, стройся в одну шеренгу! — приказал ротный. — Продержу до тех пор, пока не вернете деньги.

И вот мы, с еще не просохшими остатками волос, в нижнем белье, босиком, в грязи, смешанной со снегом, под струями ветра, стоим минуту, стоим другую. У многих от холода трясутся колени, пляшет подбородок, но никто и не помышляет протестовать против издевательства над двадцатью за одного виновного.

— Да скажи ты, Христа ради, что кошелек потерял дорогой! — шепчут соседи. Соберем тебе твоих двенадцать рублей, только б кончили мучить. Сил нет!

Но ротный сам был тертый лагерник и на эту удочку не клюнул:

**) «Гаврики» — язвительное прозвище людской мелкоты.

***) Лиговский район Ленинграда известен хулиганами и ворами.

— Не забивай мне баков!****). «Потерял» ... Не пройдет шете еще часик, так выплывет кошелек наружу. Не такие этот номер! Выбью воровство навсегда! Ничего, — попляпропажи случались, и то концы находили.

По шеренге, как мольба, пронеслась просьба:

— Да подкиньте же кошелек! Все передохнем! .. После бани нагишом, на таком-то холоду!

В момент, когда ротный просунул голову в баню, откудато сбоку, через головы, пролетел и упал перед шеренгой злополучный кошелек. Так никто и не заметил, кто украл и как подбросил, — «чистая» работа! ..

Облегченно вздохнув, мы закричали:

— Товарищ ротный, нашелся кошелек! Распусти строй. С ног валимся.

Тут как раз из камеры стали выбрасывать наши вещи, и ротный смилостивился. Не обращая внимания на серную вонь, исходившую от одежды ,мы нарасхват растащили свои пожитки и, чихая, кашляя и протирая глаза, с редкой быстротой укутывали закоченевшие тела. Мир вновь показался розовым... Сам ротный улыбался, взирая на эту спешку. Ротному, в бушлате и ватных брюках, было весело ..

ВСЕЛИЛИСЬ...

Жизнь постепенно «налаживалась». Мы уже приспособились дремать у костров. Вряд ли кто считал, сколько больных простудой за этот короткий срок было отправлено в лазарет на станцию. Каждый думал о себе.

За каких-нибудь пять дней вырос рабочий барак, караульное помещение, каптерка *), контора, избушка технического персонала. Часовой уже не гулял вдоль навешенных жердей, а стоял на вышке, под которой в «изоляторе» **) отсиживались первые отказчики от работ — «филоны» и лагерные бандиты. Строился лазарет с околотком, кухня, кузница, изба начальника командировки (он же и начальник вооруженной охраны, тоже почти сплошь состоявшей из заключенных).

Поздним вечером — впрочем какой там «поздний», если солнце только на час прячется за лесом!—раздалась команда:

— С вещами стройся!

Наконец-то сейчас перейдем в барак. Ни ветра, ни снега. Пусть барак пока без крыши, зато с потолком.

Повторять приказа не пришлось. Моментально построи-

****) Лагерное выражение, подобное: «не втирайте мне очков».

*) Каптерка — магазин для хранения и отпуска продуктов и одежды.

**) «Изолятор» — арестное помещение для оштрафованных лагерников.

лись. Каждый сообразил: кто окажется первым в строю выберет лучшее место. Одних привлекала близость к печке других — нижние нары, третьих угол. О вкусах не спорят...

Ротный отсчитал первых пятьдесят человек.

— А ну, бегом в барак!

Толпа, как со старта, вперегонки, толкая друг друга бросилась к бараку. Двери трещали, еле выдерживая напор

— Вторая партия — марш!

— Третья!

— Четвертая!

Это — моя. Поднажав, я первым врываюсь в барак «Тю-тю! Да уж барак-то полон!».

Взгляд несколько раз промчался по нарам. Ура, есть место! Там, в углу, на верхних нарах.

Цепляясь полами шубы за нижние нары, я опрометью лечу к намеченной цели:

— Куда, леший! — огрызаются на меня двое мужичков, по-барски заняв на двоих чуть не целый метр нар!

— Ты чей? Тут пскопские, из Острова.

— Я вам покажу «пскопские»! Ишь, как разлеглись! Наружи еще партия, а вы тут... Ну-ка, подвиньтесь!

Вспрыгнув на нары, плечом пропахиваю себе место.

Вклинился!... Расправив лопатки, я отвоевал еще вершок нар. Вот-то благодать! Накатник, правда, не пригнан, сучки, как пальцы, кора не снята, но это все мелочи! Сам наведу порядок.

Ротный хозяйским взглядом окинул нары.

— Жирно устроились. Ну-ка, сдвиньтесь один к другому!

— Куда там?! И так набил, как селедок...

— Молчать! Не в бабки играем! Мне надо воткнуть сюда еще сорок человек. Слушать команду: «На правое плечо, п-о-вер-нись!».

Команда—великое дело. Особенно, когда за нею власть. Попробуй — заартачься в концлагере! Повернулись, лежим на боку и ждем, что будет дальше.

— А ну, подвинься вплотную один к другому!

Заскрипели нары. Тела пришли в движение.

— Еще тесней! Чтоб кости трещали!

Опять заскрипели нары. Послышались стенания. Но чудо совершилось. У двери, с обеих сторон верхних и нижних нар, очистился кусок пространства. Последние сорок человек — самые робкие и болезненные, — тоже получили кров.

Всех устроили. Больше уплотнять не будут.

Я блаженно улыбаюсь и хочу после стольких треволнений

А какая теплынь! Сосед справа жмет, сосед слева жмет!.. перевести дух. Пытаюсь, но не могу. Сосед справа жмет, сосед слева жмет!.

РАЗВОД

Отошла нужда рыскать взглядом под ногами в поисках окурков — «бычков». Каждый получил по восемь пачек махорки. Кури — не хочу!

Полетели за ограду шуба, полуботинки и костюм. В новом лагерном обмундировании наш вид был куда приличнее. Все выдали: и сапоги, и бушлат, и фуфайку, и брюки с гимнастеркой. Даже портянки не забыли.

— Как вы ко мне, так и я к вам,— поучал нас на разводе *) начальник командировки. — Вы мне кубики давайте, а я вас накормлю и одену. Все получите, что полагается. Но филонов не потерплю. Сгною в изоляторе. Пусть мотают это на ус! Тут им не трудовая колония, а концлагерь! Ротный, начинай развод!

За пять минут строй растаял. Десятники разобрали своих людей и повели их на работу.

— Сомкни ряды! — командует ротный оставшимся.

Начинается второй развод — индивидуальный.

— Почему остался?

— Больной. Назначен на легкие работы. Вот бумажка.

— Пойдешь на кухню картошку чистить.

— А ты?

— В грудях болит.

— Записку от лекпома?

— Нету.

— На тракт!..

— Сил нет. В грудях...

— Лекпом лучше знает. Беги за своей партией!

— Да как же, ежели...

— Марш! Не разговаривай! В изолятор захотел?

Мужичек с «нутром» в развалку бежит к воротам, где его партия еще дожидается пропуска.

— Ну, а ты?

— Разутый. Сапог нет. Вчера каблук отлетел. Ходил утром к сапожнику, говорит — еще не готовы.

— Завхоз! Выдать Петрову лапти.

За лаптями далеко ходить не надо. Они у завхоза в руках. Целая связка. Раз-два, и обутый Петров торопится к воротам. Трое, однако, несмотря на брань и угрозы, отказались итти на тракт:

— Больны. Что хочешь делай — больны!

Ротный идет в околоток и, получив справку лекпома, признавшего всех троих здоровыми, тащит их в караульное помещение. Через минуту дверь изолятора опять закрывается. До «выздоровления»...

Из кабинки ротного, отгородившего себе угол в общем бараке, льются звуки гармошки. Начальство отдыхает...

---

*) Построение перед отправкой на работу.

РАБОТАЕМ

А мы с утра до вечера только и знаем, что роем канавы да планируем полотно дороги. Как встанешь в 6 утра на канаву, так до обеденного перерыва и не покуришь. Полежишь минут десять, расправишь ноющую поясницу и опять за лопату. Хорошо еще, что наше звено было такое работоспособное: два средних лет крестьянина, осужденные за случайное убийство, два краснощеких парня за изнасилование, молчаливый старичок из бывших торговцев и я. Старичок плотно разравнивает, а мы копаем. Ни сквернословия, ни ссор. Хорошее звено было. Другие до пяти-шести часов работают, а у нас уже в три все закончено. Получим записку от десятника «Звено Розанова, из 6 человек, урок выполнило» — и в лагерь.

В те годы до стахановщины еще не додумались. Работали запросто. Отмерит десятник метром «урок«, и хоть умри, а сделай. Большего никто не требовал, да это и в голову никому не приходило. Насчет соревнования, правда, — грешили. Каждое звено старалось поскорее сделать «урок», чтобы раньше других уйти в лагерь и отдохнуть в бараке или на солнышке. Ради этого и жали на лопаты и тачки. Но тут не было ни погони за лишним куском хлеба и черпаком супа, — кормили одинаково и сытно, — ни стремления получить книжку ударника, ради куцых преимуществ. Эксплоатацию пока не прикрывали никакими фиговыми листками и заключенных не разлагали и не натравливали друг на друга. Яд соревнования был еще неизвестен. Мы работали, не чувствуя друг к другу ни зависти, ни злобы. Все было просто и ясно. Концлагерь только частично использовал свойство простой русской натуры: не щадить труда, чтобы сберечь время для отдыха.

Основной контингент заключенных — «колхозники» — работали как черти, за что уголовники лет через пять и перекрестили их в «чертей». Не было и помину, чтоб кто-нибудь из крестьян отказался от работы, продал обмундирование, или, как другие, «зарядил туфту» — обманул десятника, переставив колышки, которыми тот обозначил «урок» или, чего упаси, Боже! — вступил с десятником или конвоиром в перебранку. В «колхозных» головах крепко сидело убеждение:

«Мы тут не надолго. Скоро освободят. Советская власть не захочет подыхать с голоду. Кто кормильцы государства, кто производит хлеб? — Мы, крестьяне! Вот подожди маленько, услышишь: «Которые крестьяне — по домам!». Земля скучает по нас. Мы и тут показываем власти, что умеем и не боимся работать. Она скоро одумается».

Так, с этим тусклым фонарем надежды, и шли сотни тысяч «колхозников» на тракт и с тракта, в лес и из леса. Самоутешение облегчало судьбу. Никто им не возражал.

Все верили, что после коллективизации крестьян распустят и жизнь заставит большевиков вернуться на старый путь.

В лагере опять завелась вшивость. Да и как ей не быть в такой тесноте и грязи!

— Ну, это ты зря! Мы дома тоже не в ахти какой чистоте жили, а вшей не знали! —возражали «колхозники». Она вошь, идет не от грязи, а от тоски. Тоска по дому ее плодит. Баня не поможет!

Но начальник, ротный и лекпом были другого мнения. и гоняли нас в баню — конечно, после работы — по три раза в неделю.

ЭПОХА «ДРЫНА» ОТХОДИТ

В те дни в Соловецких лагерях еще властвовал «дрын». Лупили без зазрения совести. Наказывали жутко. Конвоир, ротный, десятник и даже уборщик барака — дневальный — распоряжались заключенными, будто скотиной. Как только ни измывались! За мат по адресу начальства, за отказ от работы, за пропитие или кражу обмундирования, за невыполнение «урока», за неповоротливость на разводе, — за все можно было ожидать любого наказания. Зимой раздетого до нитки, ставили на пень, пока он, обмороженный, не сваливался на снег. Летом держали на пне, пока тучи комаров, облепивши голое тело, не высасывали нескольких стаканов крови. Отказчиков, перед строем привязывали к саням и волоком по снегу тащили в лес. Невыполнивших уроков по несколько суток держали в лесу. О затрещинах, зуботычинах, оплеухах и говорить нечего: «дрыновали» чем попало, метром, палкой, кулаком. Самым «безобидным» издевательством считалось приказание часами кричать в окно или в печку: «Я филон, работать не хочу! Я филон, работать не хочу!». Доводили людей до того, что они отрубали себе пальцы, лишь бы попасть в лазарет и в разряд инвалидов.

Из лазаретов пачками вывозили мертвые тела.

— Братишки! Что вы делаете?! Я еще живой!..

— Доктор лучше знает. Сказал — мертвый. Наше дело маленькое — приказали тащить, вот и тащим. Молчи уж!

Это не бред больной фантазии и не пропаганда, а жизнь. Это факты с Парандинского и Ухтинского трактов, с Попова острова, с Баб-дач, с Май-губы, с острова Соловки. Любой концлагерник периода 1928-1930 годов под присягой подтвердит сказанное. Именно в этот период из Архангельска, Кеми и Сороки увозили английские пароходы лес, на котором грузчики-заключенные своей кровью писали призывы о помощи. «Дрын» тогда царствовал в концлагерях.

Не ГПУ-шники и вольнонаемные служащие концлагеря, а, с их поощрения, такие же серобушлатники, как мы, со сроком и статьей Уголовного кодекса, сокращали дни нашей

жизни и насаждали по всей огромной стране ужас перед концлагерями. Так называемый «кадровый состав» концлагерей из штатных работников ГПУ был незначителен: не больше трехсот человек на концлагерь со 120 тысячами заключенных. Вольнонаемных специалистов из гражданского населения встречалось еще меньше. ГПУ тогда неохотно принимало вольное население на службу. Конвой большею частью набирался из заключенных — бывших красноармейцев, осужденных за воинские нарушения. Начальниками командировок и конвоя назначались тоже заключенные, из бывших работников Чека и ГПУ и командиров Красной армии. Все остальные должности — инженерно-технические («прорабы» и «рукрабы»), десятников, мастеров, комендантов, ротных, нарядчиков, завхозов, весь медицинский, конторский и «культурно-воспитательный» аппарат — все, без исключения, подбирались из заключенных.

«Борьба за существование», повседневные примеры перед глазами, защита собственной шкуры учили каждого простому правилу: чтобы самому жить, нужно других давить. Робкие и мягкосердечные уходили в тот мир, где нет ни диктатуры, ни демократии, ни концлагерей, — они, как говорят, «загибались» на работе, а дерзкие и злые выплывали наружу. Само ГПУ оставалось в стороне. Оно, как после мы узнали из приказа коллегии ГПУ, «знать не знало, ведать не ведало» обо всем этом «произволе». В каждом отделении концлагеря сотни людей ежедневно «списывались» со строевых (отчет о движении лагерного населения), а начальство «не знало», по каким причинам и по чьей вине на командировках люди мрут, как мухи, и рубят себе руки. Коллегия ГПУ все свалила «на бывших белогвардейцев, пробравшихся на административно-технические должности в лагере». Ответили, как всегда, исполнители, а не вдохновители.

Каждый служащий, любой мужик в глухой деревне знали о соловецком режиме. Только соловецкое начальство и Лубянка с Кремлем оставались в «неведении».

Наш Лоухи-Кестеньгский тракт был, пожалуй, единственным приятным исключением во всем Соловецком концлагере. У нас тоже от времени до времени пересчитывали зубы и сбрасывали с нар за ноги, но это были редкие случаи.

Наше начальство подбиралось из новых этапов, пока не знакомых с ремеслом скуловерчения. На тракте не было «обученных лагерных кадров». Наука бить своих воспринималась медленно. При мне только раз конвоир ударил прикладом заключенного, пославшего десятника к родне за неправильный замер урока.

Только раз во время развода залетел ротный в барак, выбрасывая в дверь замешкавшихся. Только однажды — в начале июня — когда мы, уставшие от работы ,брели в лагерь, выбирая сухую дорогу по обочинам, два каких-то

ГПУ-шника, обдавая нас грязью копыт своих верховых лошадей, крикнули конвою:

— Это что такое?! Что за порядок? Почему вразброд, а не строем, не по дороге? Не фабричные! Пусть чувствуют концлагерь! Выстроить и вести в порядке!

Мы молча построились, молча пошли дальше, едва вытаскивая сапоги из глинистой жижи. Для ГПУ наших мускулов, очевидно, было мало. Мы часто забывали, что срок — это не только наш пот, но и слезы. Вот сейчас нам об этом и напомнили.

А еще через несколько дней — в середине июня — на вечерней поверке прочли приказ Коллегии ОГПУ.

«... Материалами следственной Комиссии, назначенной Коллегией ОГПУ для обследования Соловецкого концлагеря, установлены факты произвола, искривлявшего советскую карательную политику. Пользуясь правом внутренней самодеятельности, предоставленной лагерю, враги советского строя пробрались на ряд должностей с тем, чтобы, насаждая произвол, вызвать среди заключенных недоброжелательное отношение к государственному режиму. Бывшие белогвардейцы систематически применяли методы, с расчетом разжечь недовольство и вызвать восстание. На основании установленного, Коллегия ОГПУ приговорила нижепоименованных к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Член коллегии ОГПУ Глеб Бокий». Дальше шел список расстрелянных. Первым стоял Курилка, знаменитый по всем Соловкам комендант пересыльного пункта «Попов Остров», около Кеми. Среди расстрелянных — десяток бывших белых, а остальные — уголовники. Около сотни «произвольщиков», по тому же приказу, получили дополнительный срок от трех до десяти лет.

Концлагерь вступил в новую эру. Ротный вдруг оказался добродушным весельчаком. Зайдет после работы в барак — и в нем стало просторнее: многих отправили в лазарет — и ну разводить турусы на колесах из своей военной жизни, вызывая улыбки и смех. У лекпома нашлось время посещать тракт, проверяя, не заболел ли кто на работе. Новый начальник командировки, демобилизованный взводный, подал пример «братания», гоняя с заключенными футбольный мяч. Конвоиры не вмешивались в работу, а молча пересчитывали людей. Десятники подобрели и отмеривали уроки без «похода». Прежде из десяти метров всегда получалось одиннадцать — десятник, «на всякий случай», пальцами удлинял метр. Протянет метр по земле, оттопырит мизинец и от того места откладывает новый метр, опять оттопыривая палец...

Воспитатель привез гармошку, гитару, балалайку, мандолину.

Разрешили выход за зону лагеря. По воскресеньям, с

пропуском в кармане, ходили на станцию — поглазеть на «волю». Сталин еще молчал, а мы уже поговаривали, что «жить стало лучше, жить стало веселей». «Колхозники» оценили внезапную перемену как скорый роспуск по домам, урки (жулье) — как близкую разгрузку лагеря, и у всех возродилась вера в то, что советская власть хороша, а вот только люди, которые бесчинствовали в лагерях, поступали ей наперекор.

Благодаря доверчивости и близорукости народа, советской власти все сходило с рук. Грязь стекала с нее, как с гуся вода, и липла к другим.

Новая эра увеличила число побегов, отказов, невыполнений норм, краж и освобождений от работ по болезни. Даже «колхозники» часто возвращались с тракта, не выполнив нормы. Но век страха перед «дрыном» отошел. Требовались новые, иные методы и средства, чтобы укрепить производственную и лагерную дисциплину.

Я — ТОЖЕ ЦАРЬ И БОГ

В начале июля прораб *) командировки, проезжая трактом, спрыгнул с лошади и, отозвав меня, сказал:

— Вы, Розанов, грамотный и сами хорошо работали на тракте. Я вас назначаю десятником на «15 километр». Подберите тридцать рабочих, дайте мне список, договоритесь с завхозом, какого и сколько вам требуется инвентаря и инструмента. Завтра вечером переходите на новое место. Барак имеется.

Я уже вторую неделю гулял по тракту с «дрыном», произведенный в чин старшего рабочего. Новое повышение означало укрепление моего права отдохнуть после полуторамесячной земляной работы. Довольный перспективами, я быстро договорился с завхозом и составил список, включив в него одних только сумских (Украина) «колхозников» - «повстанцев», с десятилетними сроками. Тридцать один человек имели, в общей сложности, 310 лет срока заключения!..

О бдительности в ту пору разговаривали мало. Список утвердили, и мы, с котомками и котелками, затопали дальше по тракту, сопровождаемые подводой со всякой всячиной.

Вот и «15 километр», где я тоже «царь, бог и начальник». Облупленный, будто прихлопнутый к земле, барачишко. В прошлом году тут ютилась первая партия по расчистке трассы, после которой ничего, кроме клопов, не осталось.

Два месяца, проведенные на «15 километре», были самыми спокойными изо всей моей лагерной жизни. Управлять тридцатью «повстанцами» было куда легче, чем двумя жуликами. С таким народом можно строить любой социализм,—

*) Руководитель работ.

держался бы только страх перед высшей силой на земле — перед ГПУ. Ни краж, ни ссор, ни мата, ни обмана. Выйдут на тракт, плюнут на ладони и пошли ковырять без оглядки.

— Десятник! Готово. Принимай урок.

— Да вы опупели! Посмотрите на солнце —нет еще и двух часов.

— Мы не на солнце, а на канаву глядели. Давай записку, — пойдем.

— Сколько раз повторять: не спешите? Уйдете сейчас, а тут прораб, а то и сам начальник тракта свалится. «Где, спросит, люди?». — «Дома». — «Почему?».— «Урок кончили». — «Что это, скажет, у тебя за уроки, которые до обеда выполняют?! Какой урок дал на этом грунте?». — «Пять кубометров». — «Мало. С завтрашнего дня назначай им по семь кубов». Зачешете в затылках, да поздно. Что вы в бараке забыли? Погода хорошая. Вздремнули б на солнце часдругой . . .

— Оно-то так, десятник, только мы непривычные спать на работе. У нас к ней аппетит. Мы уже завтра станем с прохладцем работать, а сегодня не задерживай нас: надо белье вымыть.

Но завтра повторялась та же история. Натура и привычка брали верх над здравым рассудком. На лесозаготовках от этого отучивали простым и радикальным средством. Кончит урок до «звонка» пара лесорубов, пристанет к десятнику: «Дай, да дай пропуск в лагерь!». Осерчает десятник — его подводят! — возьмет метровый обрезок в пуд весом, затешет одну сторону топором и напишет: «Пропуск. Дан лесорубам Петрову и Павлову на предмет входа в зону лагеря, ввиду окончания урока. Десятник Силантьев». Вот, говорит, вам и пропуск.

К счастью, начальство посещало наш участок либо утром, либо поздно вечером. Ничего не замечало. Обходилось.

А тут еще морошка с черникой поспели. Сыскались рыбаки. Под носом огромное озеро. Жарят рыбу на огне, уху в котелках варят. Хлеб уже приелся. Каждый получал по 1300 граммов. Продать некуда, выбрасывать жалко. Хлеб всегда оставался. Соленая рыба — тарань — тоже стояла в открытой бочке.

Два конвоира — один вольный, другой заключенный — только и делали, что спали, блины пекли, да на охоту за тетерками ходили. Выйдут утром на развод, проверят людей, да еще иногда ночью с фонарем посчитают по ногам спящих — вот и вся их служба.

Но таких маленьких и счастливых командировок, с отборным составом, на тракте больше не было.

Вскоре я убедился в этом, закончив свой участок тракта и получив новое назначение — старшим десятником командировки «12 километр».

Тут уже другие порядки. Из 130 рабочих, добрая половина — отпетые ленинградские жулики. Картеж, мат, музыка, кражи — голова разваливается. Рассядутся на тракте, положат лопаты и уйдут воспоминаниями в прошлые, веселые дни. Были среди них такие рассказчики — заслушаешься. Может, и заливают (выдумывают), но уж больно складно и занятно. Оттопыришь уши и забудешь, что ты тут тоже «царь, бог и начальник».

— Ладно тебе, Цыган, после доскажешь. Возьми-ка, родной, лопату да расчитайся с уроком.

— Что ты, начальничек?! Зачем я стану тревожить лопату? Она меня не трогает. Пусть лежит. С меня хватит. Покопал. Два года. Ухтинский тракт знаешь? Вот где полегло нашего брата!.. Десятник у нас был рыжый и злющий как уличная девка, с которой фальшивой трешкой рассчитался... Так вот осенью прошлого года... И закрутилась новая пластинка. Плюнешь и перейдешь к другим звеньям.

В палатке до полуночи не было покоя. Один на лекпома пришел жаловаться, другой показывает прожженные брюки — «Начальничек, замени!». Третий допытывается, почему ему на прошлой неделе выдали кило хлеба, а не кило триста, четвертый... Теперь я стрелянный воробей и знаю эту «болезнь» уголовников — надоедать «начальству». Но тогда я был еще неоперившимся лагерным птенцом. Хотел все уладить. Где там? Так забили голову, что все в ней ходуном ходило. А работы не видно. Только колхозники и выполняли норму.

Из штаба — с «6 километра» — бурчат:

— Ваша командировка не выполняет плана строительства. Вместо 55 сантиметров готового полотна дороги на отработанный человекодень, у вас делают 43. Примите меры... Ставим на вид...

НОВАЯ ДОРОГА — СКОЛЬЗКАЯ

На «6 километр» вернулся прежний белобрысый ГПУшник — заключенный, тот самый, который заявил нам: «тут кончается власть советская и начинается власть соловецкая».

Приехал к нам, на «12 километр». обошел тракт, барак, кухню, охрану.

— Вы, говорит, церемонитесь с филонами — этим их не проймете. Надо быть твердым и жестким. Не отпускайте людей с тракта, пока они не выполнят нормы. Конвоиров достаточно. Пусть сидят с ними до десяти часов вечера. сти не филонов, а вас. Учтите это.

— Ваше предложение, товарищ начальник, трудно согласовать с приказом штаба тракта. Приказ предписывает кончать работу в 5 часов вечера.

— Приказ приказом, а дело делом. За разложение трудовой дисциплины и срыв плана привлекут к ответственности не филонов, а вас. Учтите это.

— Как же я могу держать голодных людей на работе?!

— Отправьте им ужин на тракт.

— Сверх того, большинство филонов страдает куриной слепотой. Они уже от полшестого ничего не видят, и, как куры, сидят на нарах.

— Найдут дорогу в лагерь! Конвоир приведет. Надо заставить их, чтобы днем работали, а не в карты играли да сказки рассказывали... Будете миндальничать — себе наживете неприятности.

— Но я не понимаю, товарищ начальник, что за польза мариновать таких людей на тракте? Они днем едва шевелятся на дороге, чего же от них можно ждать ночью?

— Вы любите спорить, а не выполнять указания. Мне это не нравится. Вы младший командир на производстве и обязаны слушаться старшего начальника.

— Я молодой лагерник и, быть может, многого не понимаю. Но я привык прежде знать, почему я должен поступать так или иначе. В данном случае мне абсолютно непонятна целесообразность этого приказания...

— Тут концлагерь, а не заводское собрание, — прервал меня начальник. — Ответьте мне прямо: будете или нет проводить в жизнь мое указание?

— Вы дадите его в письменной форме?

— Это еще что за фокусы? Какая разница, письменно или устно? В обоих случаях за указание отвечаю я.

— К сожалению, на практике бывает обратное... Без письменного распоряжения и без ведома о том Штаба тракта я не рискую изменять установленный трудовой распорядок.

— Я вас сниму на общие работы!

— Это ваше право. Где другие выдерживают, выдержу и я. По крайней мере, буду иметь отдых, которого я лишен как старший десятник.

— Посмотрим, что запоете через год! — бросил начальник, хлестнул лошадь и скрылся в осенней темноте.

Утром, с курьером, я отправил ему «отставку», ссылаясь на малоопытность и слабые нервы. Чем быть выгнанным, лучше самому во-время уйти. Но начальник оказался хитрее. Он датировал приказ сутками раньше, чем я свою отставку.

Через два дня, сдав должность. с запечатанным конвертом, на котором стояло: «Начальнику «35 километра». С личностью з/к *) Розанова М. М.» один, без конвоя (такой порядок переброски людей существовал долгие годы), — я поки-

*) З/к — так, для краткости, обозначалось: «заключенный».

нул этот вертеп. В конверте, вместе с другими лагерными документами, находился и приказ:

«Старшего десятника з/к Розанова М. М., за непринятие мер к укреплению дисциплины и за противодействие моим указаниям — с должности снять, направить на земляные работы на командировку «35 километр» и подвергнуть аресту на 3 суток с выводом на работу».

Я был молод, здоров и глуп. Мне было простительно, посвистывая, итти на «35 километр», чтобы взять лопату и поближе познакомиться с изолятором.

Стояла тихая предзимняя погода. Легкая пороша ровным слоем припудрила дорогу, мох и пни. Любопытные зайцы, навострив уши, своевременно улепетывали с канавы.

Я бодро проходил вдоль сотен людей. Двигались тачки, звенели о мерзлый грунт ломы и кайлы, с лопат сыпались струи разноцветной земли: красной, черной, белой, желтой. Никто не спросит: куда, зачем, почему? У каждого своя забота — поскорее сделать урок. Конвоиры провожают меня безучастным взглядом — «чужой» — и снова считают свою партию. Сыскался только один ретивый служака:

— Куда идешь?

— На «35-ый».

— Пропуск?

— Вот! — я протягиваю конверт «с личностью».

— Можешь топать дальше!..

«Начальник, царь и бог» опять стал землекопом. Быстро подняли, но еще быстрее сбросили.

БЛАТ

Прораб «35 клм.», оказавшийся одноэтапником, с которым мы несколько дней вместе таскали бревна для барака, говорит:

— Ну, это мы устроим. Начальник командировки в отлучке. Сейчас хозяином я. Скажу ротному — пусть внесет тебя в арестную книгу. Кто потом докажет, что ты не отсидел в изоляторе трех суток? Раз в книге записано — значит, был под замком... На тракт не пойдешь. Норма летняя, а грунт сверху мерзлый. Сейчас природенные землекопы-башкиры, и те уроков не выполняют. Надорвешься. Иди в кузницу.

— Что ты?! Какой я кузнец?

— Будешь молотобойцем. Научишься. Работа простая— оттяжка ломов и кайл. Что ж не раздеваешься? Снимай бушлат. Дневальный, сбегай за чаем!..

Так первый раз я укрылся под сень всесильного лагерного блата. ... На-кось, начальничек, выкуси!.. На бумаге — 3 суток ареста, я и через замочную скважину в изолятор

не заглядывал! На бумаге — земляные работы, а я под крышей, у огня, четыре часа поколотил — и в барак. Здоров, сыт и спокоен. На-кось- начальничек, выкуси!..

Да, сильно ГПУ, но лагерный блат, говорят, еще сильнее!..

А все-таки, зудит и ноет: за что?.. Какой лагерный закон нарушил, что меня оштрафовали?!

Недели через две на «35 клм.» приехал главный инженер. Тоже, разумеется, заключенный за вредительство, но для нас — шишка большая: хозяин всего тракта, куда теперь нагнали чуть ли не 6 тысяч арестантов.

Внимательно выслушав меня, главный инженер промолвил:

— Управление трактом не давало директив держать людей на работе свыше десяти часов. Для отдельных лиц я допустил бы исключение — мог бы позволить оставлять их на тракте по двенадцати часов, но не больше. Это, конечно, не относится к страдающим куриной слепотой. Не могу понять, на чем основывался начальник «6 клм.». Жаль, что ваше письмо не дошло до меня. Но я разберусь с этим вопросом. Во всяком случае, результатами вашей работы на 12-м и 15-м километрах я доволен, особенно качеством полотна дороги.

Инженер открыл записную книжку, черкнул карандашом, подал руку, вежливо улыбнулся и уехал. Проходили дни, не принося ни ответа, ни привета. Видимо, где-то на пути к правде стояли сучки и задоринки. Главный инженер не хотел поцарапаться о них. На весах лагерной справедливости бывший чекист перетягивал вредителя. Зачем рисковать собственным благополучием в лагере ради одного из десятников. Главный инженер был стар, опытен и осторожен, а я молод, наивен и опрометчив. Дубинка жизни вразумляет годами, да и то не всех: есть толстокожие, вроде меня.

Я продолжаю дубасить молотом по ломам и кайлам. Выйдешь ночью из кузницы — какая красота! Небо, как маскарадное платье, расшито звездами. С востока на запад, вдогонку — одна за другой — пробегают разноцветные полосы северного сияния, словно где-то шалят с коротким замыканием. Месяц отгородился от холода зимней бездны тремя рядами кругов. Тишина, как ночью в церкви, у гроба покойника. Нет-нет, да треснет бревно в бараке: жмет мороз. По тракту вспыхивают отблески зарева, открывая облака дыма, уходящие в высь. То жгут костры на местах завтрашней работы.

Земля промерзла на полметра и ничто ее не берет: ни лом, ни кайло, ни тяжелый топор. Мука, а не работа! Целый день дубасят, дубасят, все руки в кровавых мозолях, поясницу ломит, а толку на грош. Такого грунта и полкуба не на-

ковыряешь. Обещали дать аммонал, прислали подрывников, но пока-что изматывают людей.

Вчера на глазах башкир — тоже кулаки, тоже «колхозники»; — сам видел слезы. Лом у них тяжелый, стальной, шестигранный, острый. Работают втроем. Двое вцепились сверху, а третий снизу на корточках, лицом к ним, и все бьют и бьют в одну точку. Вдарят десяток раз, выскребут рукой пригоршню мерзлой глины с галькой, и опять за лом. Третий час маются, а до талой земли еще не дошли. Мороз за двадцать градусов перевалил, а они поскидали шапки, бушлаты, фуфайки и, потные, продолжают работать. От слипшихся волос исходит пар. На сухих азиатских лицах не прочтешь чувства, но на щеках блестят слезы.

— Сели б отдохнуть, — сочувственно посоветовал я.

— Как же отдыхать, когда другие работают?

— Так что ж из этого? Не машины — уморились. Бить не будут.

— Оно-то так, да скажут, что мы филоны. Разгонят по разным командировкам. А мы односельчане. Держимся друг друга. Вместе спим, пьем, едим, вместе табак... Ну, берись, ребята, быстрее за работу, а то вон десятник показался!

— Бух! Бух! Бух!!!

Вместе с ударами из горла вылетают характерные хрипящие звуки: «Гы! Гы! Гы!!!». Так дровокол дробит колуном пеньки. С остервенением, вкладывая в удары не только силу, но и упрямую злость.

Теперь, чтобы увеличилась выработка, на тракте по ночам сжигают сотни кубометров леса. На штык *), правда, оттаивает, но глубже не пробирает. Кто жжет костры, тому хорошо. Не надорвется и не замерзнет. А вот этим, с ломами!..

— Гы! Гы! Гы!!! — будто крик души. несутся знакомые звуки.

Как хорошо, что я под крышей, у огня, в кузнице! Молод, здоров, но насколько меня хватит? Я вспомнил угрозу белобрысого: «Посмотрим, что запоете через год!». Да, он видывал виды! Знает, чем и как загнать в гроб. Как-то надо срываться **) с этого тракта. Тут еще на целый год работы. Сегодня в кузнице, а завтра... Пойду к Ивану Николаевичу!

«РАЗГРУЗИЛИ»

Ежась и прихлопывая ладонями от холода, мы выстроились во дворе лагеря.

Ротный, нарядчик, взводные носились с фонарями из барака в барак, подгоняя оставшихся.

---

*) На штык — на глубину лопаты, 20-25 см.

**) Лагерный жаргон — постараться уйти.

— Всем на поверку! Больным тоже! Важный приказ. Давайте, не задерживайте других!

— Что такое? Почему поверка? — раздавались недовольные голоса. — Двенадцатый час ночи. Отдыхать надо! Вы днем дрыхли, а ночью поверку выдумали! Какой приказ?

— Не разговаривай! Сказано, значит, выходи! Прочтут — узнаешь.

По рядам неслось:

— Это насчет разгрузки концлагеря. Давно уже болтают. В первую очередь распустят тех, кто пережил произвол, а за ними «колхозников». Да и время! Поля-то остались невспаханными. Чем будут кормить страну?

То тут, то там слышались смешки. Люди повеселели. Дождались! Скоро по домам! Вот когда дошла она к нам, эта разгрузка!

Строй затаил дыхание, схватывая каждое слово приказа. При тусклом свете фонаря, ротный медленно и громко чтобы каждый слышал, — читал:

«Приказ коллегии ОГПУ
Зачесть во всех подразделениях
концлагерей СССР.

На основе материалов следственной комиссии по соловецкому и другим концлагерям, коллегия ОГПУ вынесла приговор в отношении контрреволюционеров и произвольщиков, искривлявших основы карательной политики. Определенная часть заключенных концлагерей восприняла этот приказ, как изменение трудового режима и как право заключенных работать тогда, когда они желают. Учет использования рабочей силы по концлагерям с мая месяца сего года констатирует рост побегов и отказов от работы. Классово-враждебный элемент распространяет злостную теорию, будто означенным приказом отменяются меры принуждения и воздействия к нарушителям трудовой и лагерной дисциплины. Все это, вместе взятое, привело к срыву планов производства и крупным материальным убыткам по ряду лагерей.

Коллегия ОГПУ предупреждает всех заключенных, что труд для них является главной обязанностью, а лагерный режим — законом, за нарушение которого впредь будут карать со всей строгостью.

В отношении нижепоименованных лагерных отказчиков от работы, беглецов и контрреволюционных агитаторов, на которых информационно-следственными отделами концлагерей был представлен материал, коллегия ОГПУ применила высшую меру наказания — расстрел! Приговор приведен в исполнение. Подписал: член коллегии ОГПУ

Беленький».

И началось. Свиридов — он же Курочкин, отбывший срок по статье 59, пунк 3 (бандитизм), за организацию группового побега. Купцов, отбывавший срок по статье 49 (ворецидивист), за организацию группового отказа от работ. Охрипенко, отбывавший срок по статье 58, пункт 2 (участие в восстании), за побег с целью перехода государственной границы. Перепелкин, отбывавший срок по статье 58, пункт 10 (агитация), за подстрекательство к отказам от работ. И пошло, и пошло! Около трехсот имен расстрелянных! Чуть не час слушали мы жуткий перечень. ОГПУ шутить не любило и отлично знало, когда и как оскалить зубы.

— «Разгрузили»! — иронически полушопотом проносилось по рядам. — Дождались разгрузки! Спасибо!..

Реплики слышались только со стороны уголовников, более развязных на язык. «Колхозники» молчали, понурив головы. Многие в эту ночь поняли, что их пригнали в концлагерь, как гурты прилежного рабочего скота, — «всерьез и надолго». Большевики не позовут обратно, пахать землю. Найдут других.

И как я только удержался от побега! Дополнил бы этот список. Ведь с мая по сентябрь думал! И карту на станции купил. Сухари в мешочке на «15 клм.» в лесу под камнями припрятал. Собирался в Финляндию махнуть, чтоб оттуда обратно в Китай. Уж очень жутко было сознавать приговор: «10 лет»! А жить хотелось.

Но день ото дня вера в благополучный исход таяла. Росла неуверенность. По тракту, со стороны границы, то и дело приводили пойманных беглецов. Одних схватили секретные посты в проходах меж озер и топей, других — местные карелы, получавшие от концлагеря за каждую «сданную голову» по 2 пуда муки и 4 фунта сахару.

Несколько беглецов добралось до Финляндии, но от лап концлагеря они не спаслись. Финская пограничная стража выдала их конвою концлагеря. Даже конвоиру из заключенных, бежавшему туда с оружием, и тому не дали убежища, — вернули на верную смерть. Мы видели этих беглецов, проводимых по тракту. Были среди них уголовники, были и крестьяне. Бежавший конвоир шел под охраной четырех пограничников. Завтра его ждала пуля.

Конвой заранее сообщал нам: «Сегодня проведут трех беглецов с «6 клм.». Вчера финны передали их нашему конвою. Прежде чем бежать, — обдумайте. От нас не уйдете». Расчет бил в цель. Безнадежность побега подрезала волю к свободе. Но наряду с этим росла ненависть к финнам и карелам.

В этом отношении уголовники и политические были единодушны, заклеймив их «продажными шкурами».

Плохо приходилось карелам и финнам, попадавшим с этапами в концлагерь. Их презирали и, при случае, били в

отместку за подлое отношение к беглецам их соплеменников и властей.

* * *

Двадцатого ноября закончилась надо мной власть белобрысого. Включенный Иваном Николаевичем в этап на лесозаготовки, я последний раз провожал взглядом знакомые командировки и участки дороги. В недавно еще голодном и оборванном бродяге проснулась радость жить, чтобы чувствовать, наблюдать и понимать окружающее.

Глава 2

На лесозаготовках

— А считать можешь? — недоверчиво спросил начальник, и, успокоенный ответом, хлопнув меня по плечу добавил: — Иди к жене, скажи, пусть даст папку с бумагами, что я привез из Май-губы. В ней вся твоя канитель: и планы, и формы, и приказы. Так мне объяснили в Управлении. Самто я в нее не заглядывал. Претит. Подписывать — люблю, а вот сочинять — как нож к горлу. Да и к чему оно мне? А ваш брат на что! Вали, разберись в этом море, потом мне доложишь, что там и к чему. Неровен час, нагрянет начальство, потребует сведений, а я ни в зуб ногой. Да ты смотри у меня, к жене не притуливайся! Ты знаешь—я кронштадский матрос!

— Старичок — начальник согнул руку, воображая, будто я проникнусь уважением к его бицепсам.

... Отродясь не хлопал на счетах, а вот пришлось. Нужда научила. Время зимнее — холода, север. В лесу снег по брюхо. Пока до дерева доберешься — упаришься. А их надо от двадцати до тридцати штук свалить! У каждого притопчи снег да спили его, согнувшись в три погибели, да сучья обруби, да ветки в кучу снеси, да разделай бревно по разметке десятника ... Иное дерево пилишь, пилишь, а оно возьмет при падении, да и зацепится за другие деревья — «повисло» говорят. И танцуй около него с пилой, топором и дрючками *). Крутится на пне, сшибает ветки с соседних деревьев, а падать не хочет. Кишки вымотает, пока его одолеешь. Знакомое дело, пропади оно пропадом! Год в Манджурии в лесу отработал. Но там хозяин кормил мясом и салом на убой, да и снега в лесу на вершок, а тут хлеб да каша, и через снег не продерешься.

---

*) Дрючок — кол в руку толщиной, которым наваливают на подводы и «кантуют» — перевертывают бревна.

Утвердившись в таких мыслях, я признал за благо перезимовать у печки. Давно уж приметил, что конторским крысам живется в концлагере куда легче, чем рабочим. У них и койки, и чистота, и простор, а у нас, у рабочих, нары, грязь и скученность невообразимая. Вот я и набрался дерзости — вышел из строя, когда вызывали счетных работников. Не боги, думаю, горшки обжигают, справлюсь. Научусь отличать дебет от кредита. Другие тоже не умели, а вот сидят же. Хлопают на счетах и ордера выписывают. Были священниками, учителями, агрономами, а тут в контору пристроились. А я что — рыжий? .. Ну, выгонят. Эка беда! Дальше леса не пошлют, а он, кормилец, всегда перед глазами маячит. Как ни критикуйте, а логика железная. В кресле сидя, критику наводить легко, а вот попробуйте пожить в концлагерном бараке, тогда убедитесь, какой переворот в мозгах совершается. Прав был белобрысый начальник: «посмотрим, сказал, что запоете через год». Он-то лучше знал, что такое «перековка»!

Так я стал счетоводом производственной части командировки «11-ый лагерь третьей дистанции ОСУ СЛАГ» — Особого управления по лесозаготовкам в Соловецких концлагерях. Лагерь новый, выстроенный на одном из островов огромного озера Выг, между Петрозаводском и Май-Губой.

Из бумаг я узнал, что ОСУ выделено для выполнения договора между Соловецким концлагерем и Желлесом — государственным лесным трестом Мурманской железной дороги. До 1-го мая 1931 года концлагерь обязался заготовить, по цене 4 руб. 60 коп. с кубометра, 3 миллиона кубических метров древесины. Рассматривая спецификацию, я невольно присвистнул:

— Фьють! Да лес-то для экспорта! Сортименты заграничные. В Советском Союзе таких не употребляют. Пропсы, балансы, раунвуды. Конечно, — это для Англии! Технические условия зверские — лес должен быть чистым, как стеклышко.

Концлагерю воспрещалось ставить на бревнах свои клейма. Лес клеймил на катищах приемщик Желлеса, отбивая молотком «ЖЛ» — Желлес. Все концы в воду! Придут весной пароходы, захватят кошеля *), отбуксируют их в Сороку, а там уж стоят английские пароходы. Желлес заключил договор с англичанами, Желлес и сдает им товар: «Пожалуйста, моя продукция. Посмотрите на клейма!». Кто ж заподозрит, что лес заготовлен принудительным трудом!

А уж о том, чтоб скрыть нас от иностранцев, заботилось само московское начальство.

В разгар лесозаготовок, в начале 1931 года, по приказу ГПУ, с десятков командировок, расположенных вдоль ли-

*) Особая форма плотов легкой сплотки.

нии Мурманской дороги, в один день исчезли все люди и ло шади. На станциях спешно разобрали колючую проволоку и вышки вокруг лагерных построек. Оказывается, ожидался проезд по железной дороге английской рабочей делегации. Местному начальству было приказано говорить иностранцам, будто пустующие постройки принадлежат карельским лесным трестам, что заключенных тут нет и что они работают на очистке трассы Беломорско-Балтийского канала.

К нам с закрытых командировок тоже прислали партию в пятьсот человек. Но не прошло и недели, как всех их затребовали обратно. Опасность миновала — англичане уже вернулись в Москву, ничего не заметив. Снова появилась колючая проволока, а за нею — заключенные. Станции приняли нормальный вид.

Я осторожно спрятал копию договора под изголовье. На ней стояло: «Не подлежит оглашению. Отпечатано 100 экземпляров». На моем рукой приписано: — «экз. № 62 — Начальнику 11 лагеря, 3 дистанции». Вот бы этот договор да тиснуть в Англии, в каком-нибудь «Таймсе»! Пусть посмотрят, на какие шахер-махеры пошли большевики, лишь бы скрыть экономическую подоплеку коммунистического террора.

За этим договором я смотрел, как за своим глазом. Пропадет — украдут или затеряется — верная шлепка.

Однажды сунулся я под изголовье — более надежных мест не было: ни шкафов, ни замков, — нет договора! Перевернул всю постель, перерыл все бумаги, — нет, испарился. Встревоженный, бегу к начальнику:

— У вас договор?

— Нет. А что?

— Все перерыл — никакого следа!

У начальника у самого ушла душа в пятки. Сообразил — и ему сроком пахнет.

— Конвой, в ружье! — заревел он в большую соседнюю комнату, где на топчанах *) валялось десятка два конвоиров. В лес они не ходили, — командировка не была штрафной, — а только спали, жрали и на лыжах катались.—Оцепить весь лагерь! Ни души ни впускать, ни выпускать! Ждать дальнейших приказов. Тут пахнет контрреволюцией! Бегом к своим постам — марш!

Конвоиры исчезли.

досок.

— Что ж делать? — схватился за голову начальник. — Обоих зарезал! Ну-ка лети к прорабу, может, у него!

Я туда.

— Где Осип Петрович? (Прораб был вольнонаемный карел, уже отбывший срок заключения).

— Нету дома, уехал.

---

*) Деревянная койка из двух козел, покрытых щитом из трех

— Когда? Куда?

— С час тому назад, на станцию, в штаб дистанции.

Начальник, выслушав, закричал на дневального:

— Что полтинники разул *)! На крыльях в конюшню! Через минуту чтоб моя лошадь под седлом была тут. Промедлишь — выгоню в лес на баланы.

Беспорядочно суетясь, нацепив наган и нахлобучив буденовку **), старик вскочил в седло, прихлестнул лошадь и понесся вдогонку за прорабом.

До вечера не работал — руки опустились. То и дело выходил на дорогу: не едет ли? Все думалось — посадят, хлопнут. Дурак, почему я не хранил договора у начальника! Лучше б пилил лес! У лесоруба, по крайней мере, душа спокойна! Обойдется — перейду на общие. Ну ее, эту контору!».

... Вдали показался всадник. Вот он уже близко. По лицу вижу — нашелся чортов договор.

— Да как же он, не сказав мне, взял договор и уехал?

— Говорит, ты куда-то вышел, а его срочно вызвали на техническое совещание. Ну, и досталось ему! Фу!.. Дай отдышаться. Заморили старика. Экая история! Комендант! Снять конвой, открыть движение!..

На радостях, я совсем забыл про желание уйти на общие. Здраво рассудив еще раз, я опять отдал предпочтение работе в конторе, только чтоб без договора.

— Вы уж, гражданин начальник, с нынешнего дня храните договор у себя. Я заключенный, с меня за него семь шкур спустят, а вы вольный, командир, да и надежней, к вам толпой не ходят.

Весь производственный учет в концлагерях основывается на рабочих сведениях — «рапортичках» бригадиров и десятников. По ним начисляют хлеб, премиальное вознаграждение, по ним учитывается использование труда заключенных и определяется, сколько и чего сделано.

На командировке я впервые узнал, что такое «лимиты использования рабсилы», как называют установленные ГУЛАГ'ом для всех лагерей квоты распределения заключенных по группам.

Существует четыре группы: «А», «Б», «В», «Г».

К группе «А» относятся занятые на производстве рабочие и технический персонал. Рабочие, в свою очередь, разбиты на основных то-есть на тех, кто непосредственно создает продукцию, и на вспомогательных, обслуживающих производство: например, инструментальщики, кузнецы, санники, ремонтные рабочие, конюхи и т. д., а также производственно-технический персонал.

В группу «Б» входит обслуга лагеря: вся хозяйственная

*) «Разуть полтинники» — выпучить глаза. Уголовный жаргон.

**) Красноармейская шапка времен гражданской войны.

часть с кухней, каптеркой, сапожно-портновской и конторой, комендатура (комендант, ротные и уборщики бараков — дневальные), санитарная часть (врачи, лекпомы, санитары и обслуга лазарета), воспитатели, бухгалтерия. На лагерном жаргоне всех их называют «лагерными придурками».

Группы «В» и «Г» — где все нерабатающие: временно освобожденные врачем и лазаретные больные, находящиеся в «перебросках», т. е. в пути от одной командировки к другой, отказчики, голодающие, актированные полные инвалиды, разутые, раздетые, ожидающие суда, заключенные в изолятор без выхода на работу (что случается редко) и. т. п.

По директиве ГУЛАГ'а, в группе «А» должно быть не меньше 85 процентов списочного состава командировки, а во всех остальных трех — не больше 15 процентов, в том числе в группе «Б» 9-10 процентов, в группах «В» и «Г» — 5-6 процентов.

Фактически уложиться в эти лимиты невозможно, и потому каждая командировка в своих отчетах «туфтит». Хозяйственных счетоводов, например (группа «Б»), относят во вспомогательную рабочую силу, ротного записывают табельщиком на производстве и т. д. и т. п., в зависимости от степени ловкости и смелости местного начальства. Всех дневальных, как правило, вносят в списки основных бригад и на них ежедневно «снимают» с выработки каждого рабочего от 3 до 7 процентов. Такой способ втирания очков за счет основных рабочих официально называют «обработкой».

Больше всего неприятностей приносит начальству группа «В». Чтобы уложиться в лимит, медицинский персонал часто пускается на «двойную бухгалтерию»: сначала ведет список тех, кто, на основании медицинского осмотра, нуждается в освобождении, а затем, окончив прием, составляет другой список в объеме, не превышающем лимити. Часто бывает так, что освобожденный вчера с температурой в 37,5 градуса, сегодня, с 38,5 градуса, признается трудоспособным или, в лучшем случае, получает записку: «на один день на легкие работы». Причина простая: в этот день был большой наплыв больных в околодок и в «квоту» попали только с температурой от 38,5 градуса. Начальство обычно облегченно вздыхает, получив примерно такое распоряжение: «отправить на командировку №.....пятьдесят заключенных». Консилиум из начальства и заведующих учетно-распределительной и санитарной частями включает в этап, прежде всего тех, кто часто болеет, слабосильных и лодырей. Это называется — «освободиться от балласта», чтобы легче было придерживаться лимитов и выполнять план. Другая командировка, приняв этап, при первой возможности переправляет его дальше. Так и скитаются эти люди по командировкам, редко задерживаясь на одном ме-

сте дольше 2-3 месяцев, пока, наконец, не обретут предсмертного пристанища в лазарете.

По группе «Г» лимиты тоже никогда не выдерживаются, особенно на вновь организуемых командировках, где еще не установлена дисциплина и нехватает обмундирования. Порою группа «Г» достигала 20 процентов списочного состава, и тогда появлялась следственная комиссия... В качестве примера сошлюсь на оловецкие лагери 1929-1930 годов и Ухто-Печорские — 1937-1938 годов.

При всем непостоянстве лагерного учета, эти «лимиты использования» оставались неприкосновенными с 1927 года до дня моего освобождения и, очевидно, существуют по сей день. «Лимиты» в грубой форме копируют сводки Главного Статистического Управления и Госплана СССР о расстановке рабочей силы по отраслям хозяйства страны, которые систематически составляются для Политбюро и часто служат основанием для внезапных нападок правительства и ЦК партии на руководителей отдельных отраслей. Простое сопоставление данных этих сводок с фондами заработной платы и выпуском продукции по периодам сразу же показывает, в каком положении находится промышленность: идет ли она вперед, или назад.

Каждая командировка, будь она хоть на Новой Земле, обязана ежедневно высылать отчет Управлению лагеря о выполнении плана и о фактической расстановке рабочей силы. При передаче этих отчетов по радио (как это делает большинство командировок, часто расположенных за сотни километров от управления лагерем) они предварительно зашифровываются, чтобы кто-нибудь не перехватил по эфиру «достижений социализма». Благодаря такой системе, уже на третий-четвертый день ГУЛАГ имеет суммарную сводку со всех концлагерей СССР о численности и расстановке заключенных, о выпуске продукции и степени выполнения планов и догово[illegible]

Бригадиры — малограмотные «колхозники». Так нацарапают, что знатоков ассирийской клинописи в тупик загонят. Пишут на чем придется. На щепках, на дранках, фанере, газетах. С бумагой тогда было куда как трудно! Принесет вечером нарядчик охапку этих дранок-планок, и сиди ковыряйся в них. Не то Орехов, не то Прорехов, не то вывезли, не то заготовили!.. Большой полет для фантазии!.. Нормируешь, суммируешь, разносишь по табели, готовишь суточный рапорт за всю командировку... К утру в голове все шарики из своихп гнезд повыскачат. Свалишься на койку, благо на ней и сидишь около стола, вздремнешь часа на три-четыре, поднимешь голову, а она снова книзу клонится. Нет, совсем уж не так хороша счетная работа, как иные представляют. Башка со слабыми обручами легко расползется. Против меня сидел счетовод по вещевому учету, тихий был, симпатичный.

Шушко—учитель из Мелитополя. За три месяца совсем «дошел» — отправили человека в Вятку, в дом умалишенных. Не выдержал двадцатичасовой работы.

А тепла, верно, хватало — день и ночь бушевала печка, отгоняя мороз и вьюгу. На холод не жаловались.

Кончился месяц. Приехал кассир с моей ведомостью, утвержденной в штабе дистанции.

— Петренко, распишись, 9 рублей 15 копеек.

— Сидоренко — 8 рублей 25 копеек.

— Как так?! . — изумляется он, — я с Петренкой весь месяц одну пилу тягал. Не может быть!

— Сходи к счетоводу, он начислял.

— Да ну!? — изумлялся я, —возможно, брат, возможно. Твой бригадир, как курица лапами, бумагу марает. Ни черта не разберешь: не то Нидоренко, не то Щедренко. Тому, наверно, и записал твою премию. Много ль недополучил-то?

— 90 копеек.

— Чепуха! Исправим. В следующую получку выпишем на девяносто копеек больше чем напарнику. Твое не пропадет. Иди-ка лучше сейчас в комендантскую. Привезли воз посылок. Есть и тебе.

— Правда? Вот спасибо, Михаил Михайлович, а я ее третий месяц жду. Будьте здоровы!

Довольный Сидоренко бежит за посылкой, а я поворачиваюсь к новым посетителям, уже зная, зачем они пришли.

— Ха! Купцов?! Чем обязан приходу вашего сиятельства?

— Ты мне с червей не ходи *)! Я работал на дороге. Почему нет премвознаграждения?

— Верно, работал. А кто был в прогулах 18 и 25 января?

— Так то ж только два дня!

— Не могу. Закон. Сам знаешь, за день прогула пропадает месячная премия. А ты, Иван Архипыч? (Я знал почти всех по имени и отчеству).

— Совсем меня нет в списках. Два раза проверяли, не нашли.

— Жалко такого парня, как ты, но . . . Я роюсь в бумагах и показываю ему приказ по командировке: «за прожженные у костра валенки первого срока з/к Типунова И. А. лишить премвознаграждения за январь и февраль месяцы».

Тот, кто получил больше, чем следует, тот, конечно, не приходит с жалобой. Человек есть человек!

Однако, кто-то стукнул **) в ИСЧ. Приехал уполномоченный с браунингом и в портупее.

— На вас жалобы. Путаете премвознаграждения и этим

---

*) Не ходи с червей — воровской жаргон: не умасливай, не подъезжай.

**) Донес — жаргон.

отбиваете у заключенных охоту к работе. Как это происходит, что работают одинаково, а премия разная?

— Минутку, гражданин уполномоченный!

Захватив в охапку тюк «документаций» за прошлый день, я возвращаюсь:

— Вот, полюбуйтесь! Разберите, например, что написано в этой рапортичке.

Я подношу уполномоченному темную, как картины голландских живописцев, фанеру.

Уполномоченный крутит ее в обе стороны, посматривая на остальные «рапортички».

— Нужно обеспечить бригадиров бумагой.

— Пытался, но безуспешно. Ездил в штаб — отказали. В кооперативе продали только две тетрадки. На один день нехватило.

— Дайте в помощь бригадирам грамотного человека, пусть пишет под их диктовку.

— Не имеем права, штатом не предусмотрен.

— Возьмите, наконец, какого-нибудь инвалида. Есть же среди них грамотные!

— Этого не могу сказать. Не проверял. Но и при грамотных бригадирах ошибки возможны. Весь производственный, денежный и ларьковый учет, все расчетные взаимоотношения с Желлесом, — все это возложили на меня одного. Я и табельщик, и счетовод, и бухгалтер, и сдатчик леса, — суток нехватает. Тут любой допустит ошибки.

— Это меня не касается. Раз вас поставили на счетную работу, вы должны с ней управляться. Меня не интересует, по каким причинам происходит ошибка. На первый раз я ограничиваюсь замечанием. Но если жалобы будут продолжаться, заведу на вас следственное дело. Можете идти!

Отыскал таки подходящую кандидатуру среди инвалидов, да какую — косого на оба глаза и математика притом. Прямо, как дар Божий! Он и рапортички напишет, и ведомости лесосдачи проверит так, что лучше любого бухгалтера. Положит одну ведомость направо, другую налево и сразу обе видит. Он, оказывается, даже какие-то открытия в высшей математике сделал. С ним легче стало, а то хоть в петлю.

На лесных командировках в то время было достаточно и продуктов, и обмундирования. Начальник наш был хоть и ворчун, но отходчив. Накричит, настучит кулаком и забудет. Известно — матрос! Народ пришел с «лошадиной категорией», в большинстве, деревенская молодежь, с бытовыми статьями. Работы не боялись и в лесу бывали. Про хлеб не думали. Возчики набирали его в бараках для своих лошадей подолами. Перловую кашу целыми котлами вываливали в их кормушки. Перловка, признаться, самая препротивная каша, когда ею неделями пичкают. Сухая, безвкусная, в горле застревает. Лошади, очевидно, тоже придерживались этого

мнения и, сунув морду в кормушку, хлопнув, для приличия, раз-другой губами, отворачивались и принимались грызть доски.

А все же «кормежка», как говорят, в лагере была терпимая. Она и позволяла уголовному элементу, под всякими предлогами и без оных, уклоняться от работ. Зачем тащиться в лес, когда у соседей полные полки хлеба! И красть не надо: попроси — дадут. Все равно, выбрасывают. А в бараке пролежать день куда приятнее, чем от темна до темна протаптывать новую дорогу или подтаскивать к ней бревна. Урки высоко ценили свой труд, и за кусок хлеба, когда он был так дешев и доступен, не продавали своей силы и здоровья. Только страх изолятора гнал их из барака на развод. Отказчиков было мало: пять — восемь человек. Они боялись штрафных командировок или «кольцевых этапов». Тем не менее, увильнуть от работы стремился каждый урка.

Вечером, при разноске рапортичек по табели, всегда остается двадцать-тридцать пустых клеток против фамилий.

— Не давать им хлеба, — приказывал начальник. — Пусть явятся, тогда выпишешь.

Но урки твердо придерживались правила «лучше кашки не доложь, но работой не тревожь». Никто не приходил за хлебом. Сегодня на одних нет сведений, завтра на других. Хитрые, чередуются. День в лесу, день в бараке.

Однако суточный отчет должен охватить всех 520 человек: где были, что сделали? Куда ж засунуть этих тридцать симулянтов? В графу «отказы и прогулы»? Начальник, все равно, не читает отчета. Вынет красный карандаш и над моей подписью с любовью выведет — Новиков. А потом из штаба дистанции ему такую бляблю в приказе поднесут, что он с живых с нас не слезет. Нет, уж лучше еще раз нажать на него.

— Гражданин начальник! Либо переведите меня на другую работу, либо обеспечьте документами на весь состав командировки. Я не могу с воздуха ежедневно выдумывать работу для двадцати-тридцати человек. Приедет контроль, проверит рапортички, и посадит меня в изолятор за туфту в отчетах.

— Стой, не кипятись! Наладим! Сам возьмусь. Эй, конвой! — крикнул начальник. — Оцепить бараки и всех до единого выстроить. Я сам проверю, кто и почему остался в лагере.

Во дворе послышались удары по вагонному буферу, заменявшему колокол. Это значило, что никто не смеет сделать шага до отбоя.

Комендант и конвоиры обыскивали бараки, заглядывали во все щели. Двух выгнали с чердака, одного вытащили из-под пола, трех обнаружили в изголовьях, заваленными всяким тряпьем и котомками. Ишь, как замаскировались!

Довольный начальник отрядил двух конвоиров и передал им двенадцать симулянтов на протаптывание новой дороги.

— Я им покажу, как прятаться — трамтарарам! — кричал начальник. — Пусть промнутся по целине четыре километра — раньше не отпускайте!—наставлял он конвоиров.

А пройти такое расстояние по рыхлому снегу еще хуже, чем спилить двадцать деревьев. Начальник знал, чем пронять филонов.

Однако, вечером опять нехватило сведений на пятнадцать человек.

— Куда они заклинились? — раздумывал начальник:— в лагере? Нет! Где-нибудь в лесу, у костров кантовались *). И туда нагряну!

Очередной рейд конвоя увенчался новым успехом. Симулянты прятались не в лесу, а на лесном лугу — в копнах крестьянского сена. Дело было в марте. Пригревало солнышко, и под его лучами, развернув стога ,лодыри на сене дулись в карты, ожидая, когда люди пойдут с работы, чтобы своей «бригадой» «организованно» войти в лагерь. Но с тех пор отошла котам масляница. Мало осталось симулянтов, но и на тех были документы. Придет нарядчик:

— На кого нет сведений? — спросит.

— Вот табель. Посмотри, кажется, на 6 человек.

Через пять минут нарядчик подсовывает рапортичку: «Сведение за 18.III: работали по ремонту лесовозных дорог: 1. Панков, 2. Еремушкин, 3. Тетеркин, 4. Колупаев, 5. Алехин, 6. Петренко. Задано 2 километра, выполнено 1,2 километра. Нарядчик Просвиркин».

Я подшиваю рапортичку, поставив на ней процент выработки — «60%» — по шестьсот граммов хлеба. Хватит для симулянтов! Главное — все оформлено!

До самой весны нарядчик снабжал меня такой «документацией». Теперь не подкопаются — на каждого бумажка! Что же было делать? Каждый знал слова Ильича: «социализм — это учет». Вот мы и подняли учет на должную высоту, чтобы не отставать от социализма.

Так поступали по всему ОСУ. Жизнь сама показывала выход.

Для трех миллионов кубов потребовалось собрать пятьдесят тысяч заключенных. Открыли около сотни больших и малых командировок. Каждая дистанция, для устрашения лагерников, обзавелась собственными штрафными командировками для отказчиков, прогульщиков, лодырей, беглецов и «склонных к побегу». «Дрын» не применяли, но держали в черном теле — под конвоем. Не распрыгаешься!

Была еще особая — «бродячая командировка» или, как ее официально назвали, — «кольцевой этап».

ОСУ раскинулось на сотни километров вдоль железной дороги и оттого наш 11 лагерь она навестила только раз.

— Смотри! Смотри! Пришли!.. — закричали как-то в конторе.

Я подошел к окну. Во дворе лагеря, окруженная конвоем и собаками, остановилась разношерстная партия, человек в полтораста. Кто с котелком, кто с кружкой на ремне. Один в полусожженном бушлате, у другого на правой ноге валенок, на левой ботинок, сверху и снизу обернутый портяночным тряпьем. Все налегке — ни сумок, ни мешков. Тут собрались отбросы уголовников — убежденные лодыри, промотчики обмундирования и лагерные воры. Каждая командировка укомплектовала этап своими «представителями». Им — в науку, другим в пример. С этой именно целью и гоняли этап с командировки на командировку. На одной позавтракают, на другой пообедают, на третьей поужинают, на четвертой заночуют. Мороз, мятель, — пришел час — двигайся дальше. В бараки днем не пускают. Паек штрафной. Целый месяц на ногах. Ждут смены и мечтают о штрафной командировке, как о рае. Установлена была даже «норма выработки» — пройти за день 30 километров. Политические в «кольцевом этапе» встречались, как исключение.

Тут уже не скажешь о возрождении произвола. «Кольцевой этап» создан по приказу Зубкова — знаменитого начальника ОСУ, а до того начальника 6-го отделения, построившего город Хибиногорск около Мурманска. Зубкова за шиворот не возьмут и к стенке не поставят. Сама коллегия ОГПУ приказала этому старому чекисту любыми мерами, но только без дрына и мордобития, укрепить лагерную дисциплину. Вот он и старается.

В начале апреля, переодетые в летнее обмундирование, наши люди ушли выполнять новое боевое задание — рыть Беломорский канал, о котором на станциях уже кричали звучные лозунги: «По берегам великого канала построим новые, стальные города!».

А обещанного недельного отдыха — всю зиму работали без выходных — так никому и не дали.

В ожидании нового приказа, начальник с прорабом били из ружей щук, метавших у берега икру, а я уныло бросал в печку, одну за другой, зимние рапортички-дощечки, мечтая о красивой девушке — поморке, рыбачившей на соседнем острове. Славная, простая девушка! Не серчай за строки чувства, вплетенные в эти страницы. Я тогда не был таким рационалистом, и мы оба верили, что судьба для нас перекроит все по-новому. Ошиблись. Дороги разошлись. Начальник сегодня показал мне приказ: «А Розанова, как долгосрочника и, по документам, склонного к побегу, передать конвою для отправки на Соловецкий остров».

Глава 3

Остров - символ

... Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим — приезжайте сюда сами,
Посидите здесь годочка три - четыре - пять,
Будете «с восторгом» вспоминать ...».
(Из Соловецкой оперетки).

СРЕДИ «ПОЛИТИКОВ»

Очертания Попова острова *) постепенно расплывались и бледнели, превратившись, наконец, в едва заметный жирный мазок на горизонте.

«Нева» **) входила в Соловецкую бухту со свежим грузом в тысячу голов.

Здесь тоже кончились черные дни дрына. Лагерная администрация из вольных и заключенных теперь держала себя чинно. Двухнедельный карантин в пересыльной роте прошел совсем иначе, нежели «боевое крещение» на Лоухи-Кестеньгском тракте. Нас не учили кричать «здра», не гоняли в ледяную баню, не томили на бесконечных разводах и построениях. Никто не напомнил, что «тут кончилась власть советская и наступила власть соловецкая» и что сюда прислали «не на исправление, а на истребление» ... Время текло спокойно и однообразно.

Среди нашего этапа преобладала интеллигенция старой царской школы. Большевизм торопился покончить с «буржуазными последышами», очищая места для «новой» интеллигенции. Тут была большая группа сотрудников Всесоюзной Академии Наук в Ленинграде, где, если верить газетам,

*) Пересыльный пункт Соловецкого концлагеря на материке около Кеми, откуда заключенных направляли на остров и соседние командировки.

**) Второй по величине пароход Соловецкой флотилии, водоизмещением около 2 тысяч тонн.

«свила гнездо контрреволюционная рутина». Один из бараков заняли «члены» Промпартии ***), процесс которой закончился еще в начале прошлого года. Из настоящих членов Промпартии, осужденных Верховным Судом, были только профессор Озеров и член президиума Госплана Рабинович. Остальные девяносто восемь процентов «вступили» в промпартию только под давлением следователей ГПУ, рассудив, что из двух зол — быть избитым или наговорить на самого себя — последнее было меньшим. Этих Верховному Суду не передавали, а тишком, без хлопот и забот, награждали приговором Коллегии ОГПУ и гнали в концлагери. Теперь, сидя на нарах, они друг перед другом сокрушались над своей оплошностью и малодушием, сознавая, что подписанного в ГПУ пером — не вырубишь топором.

Третья группа состояла из «членов» СВУ (Спилка Вызволення Украины — Союз Освобождения Украины), навербованных тем же методом, как и «члены» промпартии. Вообще, ГПУ всячески старалось в несколько раз раздуть численность этих организаций, чтобы показать, с одной стороны, что враг многочислен, а с другой — что ГПУ бдительно, всеведуще, всесильно и необходимо.

ОДНОДЕЛЕЦ ИЗ МАНДЖУРИИ

— Алексей Иванович, какими судьбами?! Вот не ожидал! — изумленно воскликнул я, случайно зайдя в карантинный барак, к ожидающим отправки на материк, и заметив высокую старческую фигуру в уже потрепанной белой оленьей дохе.

Алексей Иванович до революции служил полицеймейстером города Манджурии, населенного, главным образом, русскими колонистами, — персоналом Восточно-Китайской железной дороги и военным гарнизоном. Хотя город находился на китайской территории, в нескольких километрах от русской границы, но управлялся по русским законам и русским начальством. После революции Алексей Иванович бросил свою полицейскую службу и, как сотни тысяч других русских колонистов, остался в Манджурии, проживая скудные сбережения. Через десять лет — осенью 1929 года — Особый отдел *), сопровождавший Красную армию при военных операциях против Китая **), арестовал его и вывез на советскую территорию. Алексей Иванович оказался моим первым

***) Промпартия — Промышленная Партия технической интеллигенции.

*) Особый отдел — органы ГПУ при военных частях.

**) Во время «конфликта на Китайско-Восточной жел. дор.» в октябре - ноябре 1929 года Красная армия вторглась на 200 клм. в глубь китайской территории, преодолев сопротивление малочисленных, вооруженных только винтовками, китайских частей.

и последним однодельцем, которого я встретил в концлагерях. Вместе мы проделали арестантские этапы по Дальнему Востоку, вместе сидели и голодали в тюрьмах и подвалах ГПУ в Чите и Хабаровске.

Худощавый, слегка согбенный годами — ему было около 70 лет — Алексей Иванович теперь выглядел совсем скелетом, с заостренным носом и впавшими глазами.

Старик не проявлял ни живости, ни радости по поводу столь редкостной встречи. Рука его отдавала каким-то скользким, могильным холодом, будто она уже не принадлежала живому человеку. Отогнав неприятное чувство, я постарался оживить славного и добродушного когда-то манджурца:

— Что вы, Алексей Иванович, поддались хандре? Разве манджурцы когда-либо вешали носы? Взгляните на меня: бодр и тверд! Отсидим — вернемся. Обойдутся тут и без нас. Нагляделись! Опять станем пельмени глотать да водочкой запивать. Эх, хороша была с Фудзядянского завода! Забыл, как называлась . . .

— «Чарочка» и «Мечта», — как-то безразлично ответил Алексей Иванович.

— Вот именно — «Мечта» и «Чарочка». Как вспомнишь, так в горле щекочет. Долго придется ожидать. Мне, ведь, десять лет дали. А вам?

— Пять.

— Ну, это совсем пустяки. Пять лет, как говорят в тюрьме, можно и на «параше» отсидеть . . .

— Вам, но не мне . . .

— Ну и вы еще можете молодцом держаться. Старая выправка сильнее болезней и возраста. Вы почему же в этом бараке? Неужели отправляют на материк для работы?

— Нет, вывозят на Урал. Оставшиеся три с половиной года заменили ссылкой. Приезжала из Москвы разгрузочная комиссия и провела врачебный осмотр всех инвалидов и больных. Нетрудоспособных назначили на ссылку.

Я оглянулся. Вокруг сидели, лежали, бродили такие же, как Алексей Иванович, немощные старики или люди средних лет, с чахоточным румянцем на щеках и, Бог знает, с какими еще другими внутренними болезнями, скрытыми под одеждой. Слышался разноголосый кашель. Поставив ногу на скамейку, один из инвалидов сам перебинтовывал себе гнойные раны на опухших икрах, очевидно, появившиеся после цынги.

— Ссылка, — подбирая слова, продолжал я, — это почти что свобода. На ссылке каждый сам себе хозяин. Ни рот, ни разводов, ни поверок. Снимите у какого-нибудь мужичка уголок и в тишине и покое дождетесь конца срока. Вы счастливчик, Алексей Иванович, завидую. на вашем месте я бы танцовал!

— Зачем эта ложь? — вспылил, будто проснувшись,

полицмейстер, «угол»! Кто даст мне средства оплачивать его? А хлеб, а белье? На все нужны деньги, а у меня, кроме этой дохи, ничего не осталось. Разве вы не слыхали, что ссыльные от власти никакой помощи не получают!? Я бы пошел работать, но... — Алексей Иванович медленно поднял к глазам руки и со вздохом опустил их. — Нет, я уж больше не работник!..

— Если это действительно так, обратились бы к лагерному начальству. У вас нет в СССР родственников, которые могли бы помогать. В этих случаях неработоспособному, конечно, лучше в концлагере, чем в ссылке. Теперь тут не то, что год назад. Не бьют и не держат часами на поверках.

— Вы как ребенок! Кто ж может отменить приказ разгрузочной комиссии? Некоторые ходили в управление, просили, но впустую. Там их даже на-смех подняли — говорят: вас из-под стражи освобождают, свободу дают, а вы за проволоку проситесь.

Старика надо было как-то успокоить, влить в него хотя немного надежды, но слова ободрения не слетали с языка. Алексей Иванович понимал безнадежную трагичность своей судьбы на Урале. Он сознавал, что едет на верную смерть, и что его могилу никогда и никто не сыщет. Урал велик, Ссыльных сотни тысяч. Каждый, как может, отстаивает свою жизнь. Кому какое дело до заброшенного туда русского полицмейстера из Китая!

Я переменил тему, рассказав Алексею Ивановичу, что из всей партии вывезенных манджурцев, в числе четырехсот человек, в живых осталось только восемь, выехавших со мной 3 апреля 1930 года из Хабаровска на Соловки. Но и из этой маленькой группы все растерялись: одного направили в Кемь, другого в Кандалакшу, третьего в Сороку. Живы ль они сейчас, никто сказать не может.

— А вас когда отправили из Хабаровска?

— Восьмого апреля.

— Сколько?

— Шесть человек.

— Кто-нибудь из наших после вас еще остался в хабаровской тюрьме?

— Нет, мы были последние. Остальных еще при нас вызвали ночью, с вещами...

Восемь и шесть — четырнадцать пока в живых и триста восемьдесят шесть расстрелянных. Жуткие новости. «Конфликт на Китайско-Восточной дороге» дал ГПУ повод расправиться с захваченными эмигрантами и колонистами. Вспомнился двор чекистского ГПУ с часовыми на углах. Молчаливая разношерстная шеренга русский манджурцев и дальне-восточных повстанцев, опустив головы, медленно брели по двору, а сбоку кинооператор ГПУ крутил ручку аппарата, снимая нас на пленку, что бы потом, в особом зале ГПУ на Лубянке, избранному кругу властителей показать на полот-

не живых врагов. Какая предусмотрительность!.. Какое удобство для начальства!.. Какая техника!..

Мы оба замолкли, погруженные каждый в свой внутренний мир.

На другой день я простился с Алексеем Ивановичем, так и не выдавив из себя обнадеживающих слов. Слишком ясна была его дорога, и потому слишком чудовищно звучала бы ложь.

СВЕТ И ТЕНИ

«Какая красота»!» — воскликнул бы турист, любуясь седыми стенами монастырского кремля, величавыми соборами, часовнями, гостинницами и обильной растительностью.

Красиво, что и говорить! И древнерусский стиль огромного монастыря, и заснувшие средь лесов изумрудные озера, и немолчный крик чаек, и легендами овеянная история Соловков — все это— при иных обстоятельствах, пленяло и настраивало поэтически. Однако, после подвалов ГПУ и мучительных этапов, после лесозаготовок и неудачных побегов, внешняя прелесть острова как-то не доходила до сознания заключенных, обращавших внимание, в первую очередь, на то, что их касалось лично: на лагерный режим, на нормы выработки и питания и на отношение к ним начальства.

Каждый знал, что с 1924 года монастырь превращен в концентрационный лагерь особого назначения ОГПУ, и что жуткая слава о нем облетела весь мир. Безграничный произвол, тиф и цынга скосили на острове богатую жатву. Были годы—1928 и 1929—когда только за зимний период численность заключенных сокращалась на одну треть. Соловки стоили жизни десяткам тысяч.

«Соловки» — это символ диктатуры ВКП(б), символ карательной практики торжествующего коммунизма. Название острова дало имя грандиозному предприятию, переместившему свой центр с острова на материк. Слово «Соловки» переросло свою географическую ограниченность.

Остров, расположенный немного южнее Полярного круга, в 60 километрах от Кеми, омывается одной ветвью Гольфштрема, заходящего в Белое море, и потому морозов свыше 25 градусов не знает. Даже на Рождество бывает гололедица. По площади остров не велик — около ста квадратных километров, округлой формы, несколько вытянутый с юга на север. Но на этом кусочке суши угнездились сотни озер с поразительно чистой водой, из которой семьдесят еще при монахах связаны друг с другом системой каналов.

К Соловкам относятся также остров Анзер, в пяти километрах на Север, и группа крохотных скалистых выступов на юге — Заячьих островов. Заячьи острова почти не обитаемы, а на Анзере в постройках монастырского скита

разместился маленький лагерный совхоз («сельхоз»), питомник песцов и серебристых лисиц, а также штрафная командировка по дровозаготовкам.

Остров перерезан тремя дорогами: двумя монастырскими шоссейными от Кремля к Анзеру (14 клм.) и к Савватьевскому скиту (8 клм.), по которым изредка проносится единственный на острове автомобиль начальника Соловков, и узкоколейкой Кремль - Филимоновские торфоразработки (12 клм.), построенной в эпоху дрына, ценою нескольких тысяч жизней. Вдоль узкоколейки вырос ряд мелких лесных командировок. По Савватьевскому тракту расположена знаменитая Секир-гора (монастырский скит на высоте трехсот ступеней, откуда виден материк). Здесь концлагерь устроил центральный штрафной изолятор, приводивший своим режимом и зверствами весь уголовный мир страны в тихий ужас. Там были сложены строки этой песни:

... На восьмой версте Секир-Гора,
А под горою мертвые тела,
Ветер там один гуляет,
Мать родная не узнает,
Где сынок схороненный лежит...

На Секирной ожидали приговора Коллегии ОГПУ обвиненные в контрреволюционном саботаже, вредительстве и агитации, в организации групповых отказов и побегов, в сопротивлении конвою, в беседах с командами заграничных судов, прибывших в Кемь и Сороку за лесом, и т. д. Приговор (расстрел) приводился в исполнение тут же, внизу, под горою, и залпы выстрелов отчетливо отдавались в камерах, набитых до отказа раздетыми до нижнего белья штрафными и следственными. ИСЧ — являлась хозяином Секирной, и внушала в концлагере еще более панический страх, чем ГПУ на воле.

Была на острове, в самом монастыре, еще одна полуштрафная командировка — «13 рота» или, как ее все называли, — «рота запретников», помещавшаяся в южной части монастырского корпуса, за высокой стеной, с окнами, оплетенными колючей проволокой. Из этой роты на работу не выпускали, и она не имела никакой связи с прочим лагерным населением. Туда переводили и привозили с материка тех, относительно которых были специальные указания в приговоре Коллегии ОГПУ или в постановлении начальника ИСО (информационно-следственного отдела).

Хотя на острове, после московских комиссий, повеяло «весной», все же «13-я рота» продолжала свое мрачное существование. Никто не смел приближаться к ее стенам. Там был особый военный конвой, особое ротное начальство и свои раздатчики обедов. Это была тюрьма в кубе: тюрьма в концлагере, на острове особого назначения.

вспомогательную роль сторожевых собак, занимаясь больше ширные права командиров рот. На материке они играли

От времен произвола на острове сохранились только обповерками и разводами, чем организацией внутренней лагерной жизни. На материковых командировках всем командовали начальники и прорабы, как ответственные за главную задачу лагеря — производственный план. На Соловках, наоборот, производство играло вспомогательную роль, ибо не давало прибыли ГПУ. Вот почему на острове хозяевами лагерной жизни остались ротные. Их боялись все: десятники, прорабы, счетоводы, повара, прачки. Ротный мог дать хорошую работу, мог и снять с нее. Но память о днях следственной комисси была жива, и ротные держали себя в рамках — распоряжались строго, но без дрына.

Главная масса населения лагеря жила в Кремле (три тысячи из пяти тысяч, оставшихся к осени 1931 года), а остальные — на соседних командировках: Муксолма (совхоз и пушной питомник), Савватьево (совхоз — лесхоз), Филимоново (торф и лесхоз) и Анзер. Люди помещались в кельях старинных монастырских корпусов. Вместе с произволом, на острове отошел и жилищный кризис. Трехярусных сплошных нар, как это было в прежние годы, не стало—выбросили. Краткосрочников и «колхозников» вывезли на Беломорканал. Производство, как нерентабельное, сокращалось и закрывалось одно за другим. В течение 1931 и 1932 годов вывезли на материк, для Беломорканала, всю узкоколейную дорогу, со шпалами и подвижным составом, двухрамный лесопильный завод, чугунно-литейный завод, типографию, часть живого скота и почти весь запас продуктов. ГПУ скопило на Соловках, в монастырских подвалах, муки, крупы, мяса, рыбы и жиров столько, что могло прокормить ими двадцать тысяч заключенных в продолжение десяти лет.

С монахами ГПУ расправилось уже давно. Покорных вывезло на материк, а прочих угнало в ссылку на Урал. Оставили только двух «незаменимых»: одного инструктора по лову соловецкой сельди, другого — пекаря на Анзере. Вот уж у него был хлеб, так хлеб — и вкус, и легкость поразительные. Однажды я съел целых два килограмма и не заметил никакой тяжести в желудке. Хлеб как бы таял во рту и впитывался организмом. Из каждой выпечки несколько буханок отправляли в Москву — семьям членов коллегии ОГПУ, а остальное съедало лагерное вольнонаемное начальство. Из-за этого и оставили монаха на острове. В чем был секрет — в закваске, или в особых свойствах монастырской печи — никто не знал.

Монастырские соборы и часовни концлагерь приспособил под мастерские, склады и столовую. В главном, Успенском соборе, мощи соловецких подвижников — святых Зосимы и Савватия — были вскрыты и выставлены для любо-

пытных. Конечно, колокола молчали. Но старые соловчане передавали, что в первые годы соборы были открыты. Заключенные митрополиты и епископы открыто совершали церковные службы. Каждый лагерник в свободное от работы время мог пойти в церковь.

В КАЧЕСТВЕ КУЛЬТУРТРЕГЕРА

На правах уже опытного счетовода, я пристроился в лесное хозяйство острова. От лесного богатства Соловков остался только один дровяник и 52 занумерованных кедра. Всю ценную древесину вырубили за 1926-29 годы. В лесу, вместо прежних тысяч, работало лишь триста человек, раскиданных маленькими группками по всему острову. Лесозаготовки в ОСУ вспоминались, как ад кромешный. Тут каждому хватало времени поспать и отдохнуть. Нормы выработки значительно уступали материковым, потому что здесь лес заготавливался для собственных нужд, а не для экспорта. Все, что производили Соловки, потреблялось на месте. Только знаменитая и дорогая соловецкая сельдь шла на экспорт и в закрытые магазины Кремля и Лубянки, да некоторые изделия лагерной кустарной промышленности — «Кустпрома» (шахматы, шашки, игрушки) вывозились для продажи в кооперативы ГПУ в Москве и Ленинграде.

Жизнь на Соловках день ото дня улучшалась. В июне ввели восьмичасовый рабочий день, а в июле — пятидневную рабочую неделю. Кто-то и что-то в этом усмотрел, и вскоре ГПУ поспешно отобрало свои дары. Сталин приступал к увековечению своего имени в истории каторги — к постройке Беломорско-Балтийского канала, куда со всех концов и со всех тюрем спешно гнали сотни тысяч заключенных. Всякие реальные поблажки, вроде восьмичасового рабочего дня и сокращенной рабочей недели, только бы растянули на годы постройку канала. «Там» — сообразили. Отменили одни приказы, зато издали новые: в конце июля — о переименовании концентрационных лагерей в исправительно-трудовые, а в августе — о зачете рабочих дней. Народ обрадовался, подсчитывая сколько месяцев и лет сокращения срока принесет им зачет. Настроение у заключенных поднялось. Мало кому пришло в голову, что, по здравому человеческому суждению, девять десятых заключенных вообще являются не преступниками, а безвинными жертвами политических и хозяйственных зигзагов правящей партии. Им нужен не зачет, а немедленная справка об освобождении. Однако, до таких дерзких мыслей никто не дошел. Каждый принял обязательство, в благодарность ГПУ, перевыполнять нормы на 20 процентов и подписался на заем «Наш ответ Чемберлену» . . .

Автор, сверх того, разразился в лагерной газете заметкой, описывавшей «новую волну трудового подъема, рожден-

ную приказом 238». Начальник Культурно-Воспитательной части Соловецкого отделения, коммунист Истомин, не шибко -то начитанный и грамотный вызвав меня, сказал:

— Хорошо изложили. Политически правильно и остро. Напишите к следующему выпуску передовую статью на тему: «Труд как основа перековки».

Так я стал сотрудником лагерной газеты, а с января 1932 года даже техническим редактором ее, получая за это дополнительно в ударную книжку пятьдесят процентов выработки. За основную счетную работу мне ставили 110 процентов, таким образом, всего выходило 160 процентов. В конце концов, от начальника Соловецких лагерей Сенкевича (впоследствии — начальника пограничных войск ОГПУ), я сверх-ударник в числе пяти прочих рекордистов острова, получил в июне 1932 года грамоту с золотым тиснением, кричаще озаглавленную: «СЛАГ (Соловецкие лагеря) ОГПУ — лучшему из лучших»!..

Конечно, Сенкевич меня и в глаза не видел. Просто-напросто он утвердил список «лучших», составленный Истоминым. Ну, а разве начальник КВЧ обнесет меня чарой? Услуга за услугу: я ему статью за его подпись, а он мне почетную грамоту от лагеря... Воистину, бумага все терпит — и приторные статьи и похвалу начальника лагеря! Если я лучший из лучших, так скорей же открывайте ворота лагеря и выпускайте меня в социалистический рай!..

Но этого я, разумеется, не сказал. «Лучшие знают, где надо промолчать... Я уже достаточно видел на Соловках орденоносцев гражданской войны, чтобы чувствовать дистанцию между словом и делом, между виной и наказанием. Но тем не менее, за каждый квартал я передвигал свой срок освобождения на 45 дней, заведя для этого преогромный календарь на все десять лет — в 3.652 дня. Чем бы, говорят, дитя ни тешилось...

Как-то летом 1932 года Истомин поручил мне сделать отчетный доклад о работе редакции. В зале соловецкого кремлевского театра собралось около шестидесяти лагкоров — «передовиков лагерной общественности».

Впереди сидит командный состав Киевской военной школы имени Каменева, в чинах командиров бригад, полков и батальонов, дальше—научные сотрудники всяких академий, ныне работающие в СОК'е (Соловецкое общество краеведения), еще дальше — технический персонал разных производств. Люди, кажется, куда образованнее, чем я. Неужели им так интересно слушать эту скучную тянучку цифр поступивших и напечатанных заметок, численности лагкоров по производствам и профессиям? Клюют носом, а сидят — не уходят. Понимают, что за эту «общественную нагрузку» им, как и мне, поставят в ударную книжку лишние проценты и зачтут 45 дней. Зато рабочих не видно: они

сделали свои 110 — 120 процентов и плевали на всякую «общественность» — и без нее зачтут, как ударникам.

Княжне Константиновской тоже, думаю не ахти как приятно, почесываясь от комаров, распевать на открытой сцене всякие сентиментальные романсы, вроде: «В тени акации густой», а ведь поет! И она расчитывает на ударный зачет.

Даже батюшка Шадымов, с Урала, с которым вместе разводим счетную канитель на морской бирже, и тот приписан к общественникам и второй квартал получает ударный зачет за то, что вечерами объявляет в рабочем бараке проценты выработки (о том, что он исповедовал заключенных, никто не знал).

Книжка ударника, кроме того, давала право на 1-2 дополнительных письма в месяц, что для некоторых было дороже всего прочего. Были введены и другие преимущества ударникам, но больше пропагандного характера: внеочередное обслуживание в столовой, первоочередная выдача и обмен обмундирования, снабжение постельным бельем, лучшее (?!) медицинское обслуживание. Воспитатели только и занимались тем, что улаживали всякие недоразумения на этой почве.

Соловки в ту пору шагали вместе со всей страной, по которой только что разносилась печатью зараза ударничества, рекомендовали и приказывали самые разнообразные методы и формы его поощрения. Лагерь, по обычаю, и на этот раз пошел испытанной дорогой туфты. Дай, думаю, проверю реальную производительность на острове. Зашел к начальнику плановой части — раввину из Минска.

— Разрешите конъюнктурный обзор с анализом за декабрь.

— Не могу.

— Как так?! Обзор нужен для редакции.

— Все равно, не могу. Он является секретным документом, и только вольнонаемное руководство лагеря может с ним ознакомиться. Обратитесь к начальнику отделения.

Но Солодухин носил два ромба и держал себя соответственно своему чину. Я не рискнул.

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА

Тихо и мирно текла жизнь на Соловках в эту пору. Коллегия ОГПУ давно махнула рукой на остров, как на добавочный источник доходов. Поэтому людей не дергали, не гоняли с места на место, как на материке, и не стремились вытянуть из них последние жилы. На острове было только два полуштрафных производства: торфоразработки и заготовка дров. Однако, и на них условия работы были много легче, чем на материке.

Население острова уменьшалось, буквально, с каждым

днем. Начиная с июля 1931 года, заключенных, этап за этапом, вывозили в Белбалтлаг — на Беломорско-Балтийский канал. Весною 1931 года на острове числилось около двенадцати тысяч заключенных, а к зиме осталась только половина.

В следующем — в 1932 году — вывезли на материк еще три тысячи. Этапов на остров больше не присылали, если не считать мелких групп по несколько десятков человек. Соловки расформировывались, подготовляясь к какому-то специальному назначению.

Старых соловчан, — тех, кто просидел на острове два-три года, — остались считанные единицы. Все, пережившие «произвол» 1928-29 годов, либо попали в разряд инвалидов и постановлением Разгрузочной комиссии были вывезены в ссылку на Урал и в Сибирь, либо первыми этапами отправлены на Беломорский канал.

Все научные работники нашли приют под сенью СОК-а — Соловецкого общества краеведения.. Ученые старички копошились в музее, реставрировали богатую коллекцию древних икон, изучали островную флору и фауну и выполняли специальные поручения Всесоюзной Академии Наук, отпускавшей для СОК-а специальные средства. Прочая интеллигенция рассосалась по бесчисленным конторам и мастерским.

Зимой жизнь Соловков совсем замирала. С декабря по май остров был отрезан от связи с внешним миром. Пароходы стояли на зимнем ремонте. Единственный самолет Соловецких лагерей, для которого на острове устроили аэродром со всякими службами, улетал с почтой на материк не чаще двух-трех раз в месяц. Связь с материком поддерживалась больше на лодках, специальной бригадой заключенных, пробивавшейся к суше через ледяные поля и волны — то налегая на весла, то впрягаясь в лямки *). Однажды — в зиму 1930-31 года — шторм подхватил и выбросил лодочников на материк вместе со льдиной, в сотнях километров от острова. К счастью, обошлось без жертв. Народ был отборный — кровь и мускулы. Устояли. Пробовал концлагерь завербовать на эту работу вольных граждан с материка, но безуспешно. Уж очень много риска. Отказались вольные — сыскались добровольцы из заключенных. Горячим натурам риск милее, чем зимняя тоска на острове. Других соблазнил рацион: лодочникам выдавали спирт, шоколад и какао.

На острове, как и всюду в концлагерях, до 1933 года премиальное вознаграждение за работу выплачивалось лагерными бонами финансового отдела ОГПУ. Советские деньги хождения не имели. На самом острове они расценивались заключенными вдвое дешевле лагерных. На боны в ларьках часто свободно продавались худшие сорта свежей рыбы,

*) Лодки были на полозьях, чтобы легче перетаскивать их через льдины.

разные овощи, тюлений жир, кости, колбаса, набитая всякой съестной дрянью и, кое-когда, молоко. Но не торопитесь хлопать в ладоши и умиляться добротой ГПУ. Москва об этом ничего не знала. Продукты отпускались в ларьки через сложную систему бухгалтерских операций из фондов сверхпланового улова, урожая и удоя. В отчетах Москве стояла графа: «излишки, реализованые на внутренних рынках». Сюда и пряталась незаконная продажа продуктов заключенным. Соловецкое начальство знало про эти махинации, но молча благословляло их. Кому нехватало пайка, тот мог купить картофель, капусту, свеклу, морковь, лук и полкилограмма «мослов» (костей) и приготовить борщ, или поджарить картофель на тюленьем жиру. Нужда научила очищать его от противного запаха и вкуса.

Но с лета 1932 года повеяло другим ветром. Все многолетние запасы продуктов и все овощи были забраны для Беломорканала. Предельную норму хлеба с 1300 граммов снизили до 1000. Пошли в ход молодые листья брюквы, репы и крапивы. Вскоре стали исчезать чайки. Шпана охотилась за ними, не взирая на приказ: «за убитую чайку от 6 месяцев ареста на Секирной, до 3 лет нового срока». Кто-то увел в лес Мишку и там зарезал его. Не стало старого ручного Мишки-оленя, постоянного жителя кремлевского двора и общего любимца и баловня.

Переименование концлагерей в исправительно-трудовые, зачет рабочих дней, красивые слова о том, что мы не враги, а только временно-изолированные от общества, придавали мускулам калории, отнятые новыми нормами питания.

В Кремлевском театре концлагеря любители и профессионалы ставили оперы, пьесы и оперетки, распевая:

«Скоро, скоро, братцы, переменится.
По-иному, братцы, заживем:
Кто захочет, тот себе и женится,
И сам лагерь им построит дом».

Слог песни корявый, но тон ее веселый. Начальство сидит в мягких кожаных креслах первого ряда и со снисходительным благодушием тоже хлопает в ладоши. Пусть тешатся «временно-изолированные»! Кому какой от этого ущерб?! Нас заставили по два часа в неделю слушать обязательные политбеседы. Мы зевали и клевали носом, но в душе были довольны. Как-никак, а советская власть, видно, злобы к нам не питает. Изолировала на остров, но относит происхождение, может стать воспитателем, ротным, бухгалтером, начальником, лишь бы справлялся с работой. Вот это и подкупало многих заключенных, заставляя искренно уйти с головой в работу, чтобы не замечать уколов действительности, наносимых из-за угла.

Как плевки в душу, воспринимались ночные обыски в ротах, производимые работниками ИСЧ. Они не ругались и не толкали нас, но тем не менее, эти систематические обыски удручали заключенных больше голода, заставляя острее чувствовать разницу между словом и делом. Официальный представитель ОГПУ в лагере — ИСЧ — не прекращал своих «забот» о нас.

* * *

Красивы Соловки — согласен! Чисто, просторно — тоже согласен. Порядка больше, чем надо, — верно! Но на материке все же лучше. Пусть дырявый барак и двадцать часов конторской работы, зато далеко от ИСЧ. Там ты что-то производишь для страны и за это тебя ценят как молочную корову, а тут переливаешь из пустого в порожнее, в сотый раз пересчитывая деревья в 22-й клетке 18-го квартала. Кому это надо?

Пусть это не совсем логично — так чувствовалось, так желалось.

Тихо и мирно течет жизнь на Соловках, но я еще крепок, бодр и молод. Хочу ощущать жизнь! На материк! На материк!!!

ЗАКАТ ЛИБЕРАЛИЗМА

... Дон! Дон!! Дон!!!

Я, в чем был, взлетел с койки и вмиг высунулся в окно. Частый, густой звон продолжал нагнетать в душу тревогу. Стаи чаек с пронзительным криком кружились над Кремлем.

Ах, вот что!.. Из под самого купола Преображенского собора пробивались густые черные клубы дыма.

— Братва, вставай! Пожар в Кремле! Пожар, говорю! Всем к своим местам на лесобиржу. Там скажут, что делать.

А сам, натянув брюки, с блузой в руках, уже хлопаю дверью и с улицы еще раз кричу в окно:

— Через пять минут чтобы всем быть на бирже! Соловки горят не каждый год. Шевелитесь! Почешетесь потом...

Пожар разрастался с каждой минутой. Сильный юго-восточный ветер приминал пламя вниз и, вырвав из него горящие головни, вместе с клубами дыма бросал их через кремлевские стены, рассыпая по пути горячие искры.

В порту гудел «Аскольд». По набережной неслись пожарные машины. Сотрудники ИСЧ и конвоиры опрометью летели к своим постам.

Дождавшись прораба и рабочих, я оставил лесную биржу и побежал в Кремль.

Полыхали уже оба собора: Преображенский и Успенский. В ближних к ним ротах от жары с треском лопались стекла и дымились ставни и наличники.

Тысячная толпа бестолково переливалась с места на место, оживленно восклицая и размахивая руками. Нарядчики, ротные, начальники цехов суетливо орали, подбирая группы в помощь пожарным.

Только в одном месте образцово были организованы спасательные работы — у кремлевского ларька. Быстро и бесшумно вытаскивались ящики со сластями и папиросами, быстро и бесшумно расхватывалось содержимое... «Бражка» не дремала.

Из Преображенского собора, где размещались кустарные мастерские, удалось спасти всего-навсего около десятка станков. Все оборудование, склады готовых изделий, тысячи одеял, бушлатов, обуви, — все досталось огню.

С материка пришли пароходы с электрическими и паровыми помпами. Из Кеми приехала городская пожарная команда. Но уже было поздно. Все, что могло гореть, — все выгорело. Помпы только остужали накаленные камни да заливали тлеющие груды материалов. Оба собора в центре Кремля и постройки вдоль восточной стены зияли черными пустотами. Потолки, полы, лестницы — все рухнуло. Каким-то чудом уцелела лишь часть собора, где хранились мощи Зосимы и Савватия.

Пульс жизни Соловков замер. На все легла печать гнетущей тоски. Замолкли песни и смех, пустовали футбольные площадки. По всему острову стоял запах гари. Голубой дым прятался в лесу, колыхаясь, как газовая шаль. Исчезли птицы. С материка, со стороны Архангельска, ветер принес новые волны дыма, сквозь который не доходили теплые лучи. Солнце неделями блуждало в дыму. На материке горели торфяные болота и леса.

По ночам дежурные коменданты и работники ИСЧ таскали на допрос в управление всяких сторожей, бригадиров, начальников смен и цехов. Одни возвращались, других после допроса уводили в подвал и запирали в камеры, кишащие откормленными портовыми крысами — управление Соловков помещалось в монастырской гостинице, на берегу бухты.

Все соловчане были убеждены, что пожар случился от папироски, брошенной любовной парочкой. Такая версия была наиболее вероятной. Под куполом собора хранились готовые ватные одеяла. Лагерные дон-жуаны, без риска и с комфортом, проводили на них приятные часы. Но кто именно в это утро бросил там окурок, установить так и не удалось. Набило ИСЧ в подвалы человек двадцать, но ответа от них не получило. Возможно, некоторые знали, кто и с кем провел там ночь, но молчали. На этот раз все заключенные держались хорошего правила уголовников: «не трепать языком о том, что тебя не касается, каждый отвечает за себя».

Так ИСЧ ничего и не добилась. Приехал начальник Соловецких лагерей Сенкевич. Молча осмотрел обгоревшие

руины, молча утвердил призыв «Соловецкой общественности» к соловчанам — самим восстановить Кремль внеурочной работой — и молча уехал.

Еще через неделю нагрянула Особая Следственная Комиссия, из Москвы.

Не только заключенные, но и вольнонаемные совсем пали духом. Никто не знал, как и против кого повернут все дело. Само соловецкое начальство — чекисты с ромбами — и те по ночам потели в своих кабинетах, заполняя бланки следственных показаний.

Прежнюю жизнь, будто, ветром сдуло. Соловки опять стали концлагерем. Служащих Управления — начальников частей, бухгалтеров, экономистов и прочую конторскую братию и тех приводили на работу и уводили в роты строем и под конвоем. Этого не видывали даже в худшие времена произвола! А что может случиться завтра?

Материк казался мне, да и многим другим, обетованной землей, где душе куда спокойнее, чем на острове.

Соловки в те дни готовили этап на далекую и незнакомую Печору. По острову висели призывы:

«Соловчане! На штурм угля и нефти в Печорский край! Запись добровольцев у воспитателей».

Заручившись справкой санитарной части о полной трудоспособности, я 27 октября ушел на пересыльный пункт, а 28-го уже залез в просторное чрево «Глеба Бокого» *).

* * *

Год спустя, сижу в конторе хозяйственной части нефтепромысла Ухтпечлага в Чибью на самой безответственной и спокойной работе — выписке продуктов для кухни и проходящих этапов.

— По какое удовлетворены котловым? — задаю я стереотипный вопрос очередному посетителю.

— По шестое.

— Табачным?

— По пятнадцатое.

— Аттестат? **).

— Пожалуйста.

Я смотрю на оборотную сторону аттестата.

— Квитневский?

— Так точно. Квитневский.

«Квитневский... Квитневский...» — твержу я, стараясь восстановить в памяти места и события, связанные с

---

*) Так назван, по имени одного из членов Коллегии ОГПУ, самый большой, 6000-тонный, пароход Соловецких лагерей.

**) Аттестат — справка, в которой указано до какого числа заключенному выданы продукты («котловое довольствие»), чай и сахар («чайное») и табак. Аттестат выдается заключенному при переводе его с одной командировки на другую.

этой фамилией. Передо мной невысокая плотная фигура, загрубевшее лицо с полуоткрытым ртом, в котором блестят золотые зубы.

— Ага! вспомнил!.. На Соловецком острове. Ошибки не может быть — он!

— Куда идете?

— На 114-ую буровую.

— Кем?

— Рабочим вращательного бурения.

— Где были раньше?

— На лесозаводе Второго Промысла.

— Еще раньше — в 1932 году?

— На Соловках.

— Помощником начальника Соловецкого отделения по административно-хозяйственной части. Так?

— Откуда вы знаете?

— Мне бы да не знать! Старому-то соловчанину! Во время отпуска Истомина, я приносил вам на цензуру нашу газетку.

— А!.. Так, так! Знаете, Истомину тоже не повезло — отобрали партбилет и сняли с должности. Ну, а с нами обошлись еще круче: мне дали пять лет.

— А Мордвинову, начальнику ИСЧ?

— Тому полный срок — десятку. Он сейчас в Дальлаге ***).

— Где Солодухин, начальник отделения?

— Выкрутился. Перевели в другой лагерь. Учли, что он только третий месяц на острове.

— Надеюсь, 58-й статьей вас не наградили?

— Что вы?! Какие же мы контрреволюционеры?! Чекистам такая статья не подходит.

«Чекистам и канат крутить тоже, будто, не подходит, а вот прислали» — подумал я. — Скажите, нашли виновных в пожаре?

— Разумеется!

— Кого же?

— Нас.

— Вы шутите?! Как это так?

— Собственно, осудили нас не за пожар, а за режим на острове, который способствовал ему. Что толковать — распустили людей! После произвола перегнули палку в другую сторону. Поняли, да поздно. А Мордвинову пришлось ответить еще и за свой аппарат. Следственная комиссия обнаружила у двух его сотрудников золотые вещи заключенных,

---

***) Дальлаг — Дальне-Восточные лагери, занятые, главным образом, постройкой военных укреплений вдоль китайской и корейской границ, прокладкой пограничных дорог и второй жел.-дор. колеи на 4000 километровом участке Нижнеудинск-Владивосток.

подлежавшие сдаче в Москву. Да и насчет женщин кое-кто из его штата тоже грешил. И это установили.

— Значит, комиссия развернулась во-всю, вплоть до обысков у сотрудников ИСЧ?

— А вы что думали: станут церемониться? Пожар-то обошелся в полтора миллиона! Кто-нибудь должен был ответить за убытки. Нельзя же закрыть такое дело!

В ту пору мне казались странными эти слова: «Кто-нибудь должен ответить», и лишь много лет спустя, на горьком опыте, я понял, в чем их смысл — в воспитании страха ответственности не только за себя, но и за других. Кто-то, пусть даже абсолютно непричастный, но должен быть наказан!..

— А как с режимом? — спросил я.

Квитневский перегнулся через деревянный барьер, отделявший мой стол от посетителей:

— С режимом? Хорошо, что меня в Ухтпечлаг отправили, а не оставили на острове! Так прикрутили, что на Соловках стало хуже, чем в тюрьме. Конечно, не бьют, но... — Квитневский остановился, подыскивая слова, которые не оскорбляли бы его чекистской нравственности — ... но жизнь полностью регламентирована правилами лагерного распорядка. Не умели при нас пользоваться свободой, теперь пожалеют.

Я выписал Квитневскому на неделю вперед продукты и табак без исправлений в его аттестате. Пусть получит второй раз! Это было все, что я мог сделать жертве кратковременного лагерного либерализма.

Бывший помощник начальника Соловков, пожав мне руку, тихо вышел из хоз. части, осторожно прикрыв дверь. Я вспомнил, как дежурный комендант Кремля, встречая у ворот стены Квитневского, ревел на весь огромный двор:

— Смирно!.. Товарищ помнач! По списку 1942 заключенных, на работах 1763, в ротах 179, из них больных 91, отдыхающих 80, штрафных 8.

Застигнутые командой, мы молча стояли, вытянув руки по швам, пока не раздавался приказ: «вольно!». Желтое хромовое пальто, с ромбом на углах воротника, снисходительно просматривало строевую записку и важно плыло по двору, со всех сторон огороженное ротными, дежурными, комендантами и нарядчиками, ну ни дать, ни взять — генерал со свитой на смотре! Да, плыло, плыло и приплыло!.. Кто-то швырнул окурок, а он всем соловчанам боком вышел и заключенным и вольным, вплоть до сановных чекистов. Какой гений мог бы предвидеть такой случай и такие последствия его! Поганый окурок перевернул вверх дном всю лагерную жизнь.

Глава 4

Кто и как «осваивает» Север

«И теперь, как тип неисправимый,
Я иду в Ухто-Печорский край.
Этот путь, наверное, последний,
До свиданья, родная, прощай!».
(Из песен заключенных).

Успехи и требования военной техники уже с 1927 года вынуждали большевиков искать новые районы основного стратегического сырья, недоступные для противника ни с моря, ни с воздуха. Вслед за Магниткой, Кузбассом и Эмбой выбор пал и на бассейн Печоры, как довольно близкий к обеим столицам и наиболее удаленный от государственных границ.

Выполняя лозунг ЦК «Поставим Север на службу пятилеткам», очередная сессия ЦИК СССР в 1929 году приняла план разведки и эксплоатации нефтяных и угольных богатств Печорского края.

Но как набрать сотни тысяч рабочих? Кого заманишь в угрюмую тайгу и тундру, где нет ни квартир, ни бань, ни дорог? Убеждать красными словами — слишком старо. Угар революции прошел, уговорами и убеждениями «верноподданный» народ не проймешь.

— А ну, вызвать Ягоду!—распорядился мудрый вождь. И механическая мясорубка заработала на полную мощность.

Каждый принял свою долю забот об освоении Севера: ОГПУ поставляет РАБсилу, правительство — материальные средства, а ЦК — директивы и контроль, ордена и нахлобучки.

Так был создан Ухто-Печорский лагерь — первое детище первой пятилетки.

С осени 1929 года в строевых сводках лагерей ОГПУ появилась новая строчка: «Ухтинская экспелиция — 120 че-

ловек». Из нее-то и развился через несколько лет гигантский комплекс концлагерей Печорского бассейна.

Руководство экспедицией, а потом и лагерей было передано тоже заключенному — Якову Моисеевичу Морозу, до того одному из руководителей Закавказского ОГПУ.

Затеялось огромное дело.

Уголь, действительно, выходил на поверхность земли. Худо — бедно, на несколько столетий хватит — миллиарды тонн. Одно горе — далеко: в западных отрогах Северного Урала, приток Усы, впадающей в Печору.

Вдоль речушки Чибью, вблизи Ухты, притока Ижмы, тоже впадающей в Печору, настроили вышек. Тут давно заметили выходы нефти. Бурят и черпают. Мало, но есть. Дорога, да своя, северная. В тридцати километрах тоже наткнулись на нефтяные поля. И там вырос промысел. Бурят и ждут, не забьет ли фонтан.

Мороз просто заболел нефтеманией. Чуть где заметит нефтяные пятна, смотришь, там через один-два месяца уже выросли вышки. Но счастье в руки не давалось. Вместо нефти обычно били фонтаны вонючей горько-соленой воды, либо какие-то подземные никчемные газы, пригодные, пожалуй, только для одного: заряжать ими огнетушители. Но терпенье и подневольный труд все перетрут! Земля наградила упорство Мороза богатством других своих сокровищниц. На буровой за Ухтой в 1932 году вдруг забил мощный фонтан благородного газа гелия. Подсчитали дебет: 3 миллиона кубометров газа в год. На сотни дирижаблей!

Что делать?

— Немедленно закрыть и молчать! — ответили из Москвы.

Вокруг буровой установили круглосуточный конвой.

По реке Ухте, в 20-ти километрах выше Чибью, в 1931 году из буровых потекла какая-то особая, без запаха, но противного привкуса вода. Химики ответили: радиоактивная, с промышленным процентом радия. Как грибы после дождя, выросли буровые. Что ни год, то новые десятки скважин. Район радиоактивных вод превратился в крупный радиогород (промысел № 2) с лабораториями и обогатительной фабрикой. Добыча радия росла из года в год:

1931	год	0 граммов
1933	„	1 „
1935	„	3 „
1937	„	7 „
1939	„	12 „
1941	„ (план)	18 „

Восемнадцать граммов! Когда во всем-то мире радия не больше двух килограммов!

Как пронырливый деляга, Мороз повсюду протягивал свои щупальцы.

На Печоре, около Щугора, взялись за разработку бурых углей для пароходов.

На Ижме принялись за эксплоатацию асфальтитов — редкой руды для несгораемых красок.

Буровые на нефть и уголь выросли по Инте и Косью — притокам Усы, по Вое и Кожве — на средней Печоре.

По Щугору и Илычу, на верхней Печоре, мыли песок: не подвернется ли золото? Овчинка, оказалось, не стоила выделки.

Ухто-Печорский лагерь развивался прямо-таки американскими темпами:

В 1929	году	в нем было	—	120 человек
В 1931	„	„	—	15.000 „
В 1933	„	„	—	40.000 „
В 1935	„	„	—	100.000 „
В 1937	„	„	—	200.000 „
В 1939	„	„	—	450.000 „
В 1941	„	„	—	750.000 „

За это время он пережил десяток организационных изменений, выделив из себя семь самостоятельных лагерей, непосредственно подчиненных ГУЛАГ-у, в которых летом 1941 года насчитывалось:

1. Севжелдорстрой Восток (Кожва - Воркута, включая лесозаготовки для него) — 400.000 заключенных.

2. Севжелдорстрой Запад (Княж. Погост - Кожва) — 150.000 заключенных.

3. Ухто-Ижемский лагерь (нефть, радий, гелий, верфи) — 50.000 заключенных.

4. Печорский лагерь (лес, сельское хозяйство, транспорт и верфи) — 50.000 заключенных.

5. Усть - Вымский и Куломский лагери (вдоль правого берега Вычегды; лес, кирпичное производство, шоссейные дороги) — 40.000 заключенных.

6. Воркутстрой (уголь) — 60.000 заключенных.

По существу же, это был прежний Ухтпечлаг, на прежней территории, с прежними заданиями, только непомерно разросшийся. Вольное коренное население — 300.000 — потонуло в массе заключенных.

Вокруг трех основных производств лагеря — угольного, нефтяного и радиевого — выросли десятки побочных строительных производств.

Возводились города (Чибью, Кожва, Воркута), строились сотни километров автомобильных (основная Усть-Вымь-Чибью, 300 клм.) и железных дорог (главная Котлас-Воркута, 1.100 клм.).

По Печоре, Усе и Ижме выросли десятки лагерных сельских хозяйств. Тысячи заключенных и специалистов-переселенцев корчевали девственные леса под огороды. В низовьях Печоры, на заливных лугах, построили молочные фермы, больше чем на полторы тысячи дойных коров. На-

селению лагеря требовались уже сотни тысяч тонн овощей и тысячи тонн мяса, масла, сыра. Как ни малы стали нормы продовольствия, однако, для сотен тысяч заключенных и они собирались в астрономические цифры.

Перестало хватать барж Печорскому пароходству. Мороз открыл лагерную верфь, на которой автор и работал с конца 1932 по 1933 год. Эта верфь выпустила баржи общей грузоподъемностью:

на Ухте (1931-1933 г.г.) — 3.000 тонн
на Кожве (1934-1935 г.г.)— 8.000 тонн
в Покче (1936-1941 г.г.) — 63.000 тонн

иначе сказать, построила вдвое больше барж, чем их было на Печоре, и в десять раз больше того, что построило само государственное пароходство.

Про лес уже и говорить не стоит. Ежегодно вырубали сотни тысяч кубометров древесины.

Пятилетка в лагере, действительно, перевыполнялась...

Прошло пять лет, и с Ухты поплыли первые баржонки с нефтью, а с Воркуты — первые баржи с углем. Мороз стал вольным, награжденным двумя орденами и званием майора государственной безопасности. Но особый дух производственной кутерьмы, насажденный им в первые годы, крепко держался во всех отделениях лагеря.

Ухто-Печорский лагерь периода 1931-1936 года скорее напоминал типичную новостройку первой пятилетки, чем концлагерь; все в движении, всюду спешка, один подгоняет другого и всего нехватает: и материалов, и продовольствия, и одежды. Этот лагерь совсем не походил на Соловки. У него была иная задача: заселить безлюдную тайгу и создать для этого условия — построить дороги, промыслы, поселки и города. Люди здесь ютились в землянках, палатках и бараках. Жили грязно, вшиво, зато свободно — без зон и часовых.

Чтобы дать пропаганде больше простора, ряд лагерей в 1933 году переименовали... в тресты. Во всех бумажках производственно-финансового и пропагандного характера Ухтпечлаг назывался Ухтпечтрестом, а Щугорский рудник ОГПУ на Печоре, снабжавший углем советские и заграничные суда, трестом «Арктик-Уголь».

На время обнажился весь цинизм большевистской системы, открыто поставившей знак равенства между трестом и концлагерем, между «свободным гражданином» и рабом. Мы превратились из каторжников в рабочую силу трестов ОГПУ-НКВД. Однако, в 1934 году, после убийства члена политбюро Кирова, в Москве спохватились, что слишком уж нахально концлагери величать трестами. Тресты приглашают и нанимают рабочих, из трестов можно уйти, а тут... тут было неприкрытое «трестированное рабство». Спешно извлекли старые штампы: «Ухтпечлаг ОГПУ».

ВОХР и ИСЧ (переименованная в 3-ю часть) не вмешивались в жизнь лагеря, занимаясь лишь борьбой с побегами, кражами, грабежами и «троцкистами», которым Троцкий и во сне не снился. На работу под конвоем выводили только в центральных изоляторах Чибью и Воркуты да на специальных штрафных командировках. Часовых нехватало. На пятьдесят заключенных был только один вохровец. Заключенных одиночным порядком переводили с одной командировки на другую, порою за сотни километров, благо до ближайшей жел.-дор. станции было чуть ли не тысяча верст. Не сбегут!

Руководство командировками перешло в руки специалистов, в большинстве из заключенных, либо же из окончивших срок. Мороз, по примеру вождя, подобрал и расставил действительно преданные и послушные ему кадры, хотя они часто и состояли из бывших «шпионов» и «вредителей». Всю «оппозицию» из нескольких помощников и начальников отделений Мороз с треском разогнал, приписав им склочничество, подсиживание и неуменье работать по-большевистски.

Ордена, личные доклады Сталину, связи в Москве и подобранные кадры начальников командировок обеспечили Морозу такой авторитет, что его мнение зачастую являлось решающим в партийных и советских органах Севера (в Архангельске и Сыктывкаре). «Яков Моисеевич сказал...» — это было почти законом.

Для рядовых заключенных Мороз оставался пустым звуком. Он не имел права даже на месяц сократить срок наказания. Только жулье по-своему относилось к Морозу, называя его «батей». Мороз был не чужд слабости попользоваться дешевым авторитетом даже среди подонков. Имея право освобождать из изолятора осужденных на подконвойные работы за преступления в лагере, Мороз время от времени начинал «разгрузку».

— Смотрите у меня! — предупреждал Мороз «освобожденных». — Станете филонить, — опять запру, тогда уж не ждите. Продержу от звонка до звонка.

— Что ты, батя, разве ты нас не знаешь?! Дали слово работать — не подкачаем! Посмотришь!

Но, обычно, у шпаны надолго паров нехватает — быстро выдыхались. Мороз это знал и «разгрузки» всегда приурочивал к какому-нибудь «производственному штурму». Неделю, две воры работали до седьмого пота. Довольный этим усердием, Мороз щедро выдавал им выписки из ларька на табак, сахар, масло. Понимал: не подмажешь — не поедешь...

— Вот как они у меня работают! — хвалился он местному начальству. — Не умеете подойти к социально-близким! С кем я вывел вас сейчас из прорыва? С ними!

Уехал Мороз. Прекратились выписки. Шпана рассосалась по разным бригадам. А «колхозники» — это рабочее

тягло социализма — без выписок, на тощем пайке, продолжали «осваивать Север».

Было у Мороза и еще два стимулирующих средства: право на сожительство и на колонизацию.

Сожительство разрешалось только социально-близким. Громила мог жениться на воровке, растратчица выйти замуж за убийцу, чтобы племя было свое, большевистское...

— Батя, жени! — упрашивают «возлюбленные».

— А где живете? В шалмане? *).

— Нет, мы уже построили свою землянку. Не беспокойся, батя!..

— Сегодня женю, а завтра зафилонишь?

— Ни в жисть! Век свободы не видать, если откажусь! — клянется блатной.

Но лагерная любовь коротка, как северное лето. Через месяц «Черный» выбрасывал на улицу узел с бабьим барахлом, а вслед за ним выталкивал и Туську. Развелись!!! Тут уж обходилось без «бати».

Колонизация была более серьезной мерой. С разрешения Москвы Мороз переводил в разряд колонизированных тех заключенных, которые после окончания срока соглашались оставаться в районе Ухтпечлага, как вольнонаемные, еще на три-пять лет. Колонизированный имел право выписать к себе семью, пользовался большей свободой передвижения и питался и одевался за свой счет по особым нормам. Москва думала этим способом быстрее заселить Север, но просчиталась и через два года — в 1934 году — прекратила колонизацию. Вначале — в 1932 году чуть не четверть заключенных подписала обязательства. Однако, семей не вызывали. Опасались. За начальником лагеря оставалось право в любой момент «расколонизировать», то-есть, снова перевести человека в разряд заключенных. Это наводило на грустные размышления. Одного «расколонизируют» — плевать, а вот если семья тут — что тогда делать?..

Колонизация оказалась выгодной только специалистам. Они получали для себя с семьей отдельные комнаты и жалованье, достаточное на скромную жизнь. Колонизированные инженеры и бухгалтеры из кожи лезли вон, чтобы не лишиться милости Мороза. ГПУ ловко подкупило их. Зато с рядовыми заключенными ничего не вышло. Нормы довольствия и расценки для колонизированных оказались так хитро состряпанными, что оставаться в положении заключенных было выгоднее. С колонизированного драли за все: за место в бараке, за свет, за дрова, за пилюли и на «заем пятилетки».

Во времена Мороза в лагере развелась целая иерархия категорий населения: кадровый состав (служащие ГПУ-НКВД), вольнонаемные, завербованные в центре страны, вольнонаемные из окончивших срок, труд-поселенцы (спец-

*) Шалман — место сборища преступного элемента.

переселенцы — ссыльные), колонизированные и заключенные. Каждая категория имела свои нормы довольствия, свои расценки и свои преимущества. Как ни странно, но добрая местным учреждениям: пароходству, лесному ведомству, торговым организациям. Официально «запроданные» полностью снабжались лагерем, а фактически они сверх того часто получали от своего «рабовладельца» и деньги, и одежду, и питание. Однако, с 1936 года НКВД запретил «продавать» заключенных (гешефт был выгодный: за 300 рублей в месяц продать арестанта, который обходился в 80-90 рублей), а еще раньше — с 1934 года — распорядился именовать их «отпущенной на сторону рабочей силой»... Советская власть, мол, людьми, не торгует... Временами Ухтпечлаг «продавал» живой товар целыми партиями, по несколько тысяч. Так было в 1934 и в 1935 годах с заключенными — грузчиками в Печорском порту Нарьян-Мар.

Но... дошла очередь и до Мороза. Исчез Яков Моисеевич. Увезли... Говорят, будто пострадал он за свободу, которой пользовались при нем заключенные.

Бредни! Ухтпечлаг при Морозе расширялся в условиях, при которых не требовалось ни конвоя, ни строя. Природа сама помогла НКВД, отгородив Ухтпечлаг от страны непроходимыми лесами. Бежать было некуда. Тысячи людей годами жили в землянках, палатках и хибарках, строя модернизированные шахты, промыслы и верфи. Их обманывали колонизацией, прельщали зачетом рабочих дней, от имени ЦИК-а награждали значком «ЦИК СССР—ударнику Ухты», обещали амнистии, и все это лишь с целью, чтобы люди лучше работали. Зачем конвой? Зачем напоминать о приговоре и концлагере? Пусть работают! Конвою нужны хорошие казармы, а они пока не готовы.

Нет, не за это увезли Якова Моисеевича! И не за то, под чем он, очевидно, как всякая жертва НКВД, расписался в обвинительном заключении. Мороз совершил три тяжких греха, о которых все знали и которых ему не простят:

Грех первый: — Мороз хотел быть маленьким вождем на Севере, и для этого окружил себя преданными людьми, большей частью из осужденных за контрреволюцию. Бывший видный чекист, конечно, лучше нас понимал из кого, для чего и как фабрикуются «враги социализма», и потому смотрел на них просто, как на продуктивных рабов, потеряв, с точки зрения Политбюро и НКВД, «чекистскую бдительность».

Грех второй — Мороз доказал, что труд социалистических заключенных рабочих производительнее труда социалистических рабочих незаключенных. В соревновании по бурению на нефть, в добыче угля и в проходке шахт заключенные утерли нос Баку и Донбассу. Об этом надо было молчать, а не кричать в Москве и в лагере. Такой пощечины Кремль не прощает.

Третий грех — Мороз оказался родственником начальника ГУЛАГ-а Бермана, но Берман дружил с Ягодой, а Ягода хотел совершить переворот . . .

Вот почему исчез Мороз. Вскоре появились и конвой, и проволока, потому что Мороз все подготовил для этого: и казармы, и ограды. С конвоем Мороз за пять лет не сделал бы того, что сделал без него за три года. А время не ждало. За сроки ввода в эксплоатацию буровых ,шахт и железных дорог отвечали не ГПУ-НКВД, а лично Мороз. Ему для этого дали всю власть и все средства. Он сам принимал сроки от Сталина. А Сталин знал только тяжелые кавказские шутки. Их не каждый выдерживал. Новые головы, как известно, отрастают не всегда . . .

Сначала полетели ставленники Мороза, а потом и он сам. Пора морозовских методов руководства заключенными отошла. Трудами ГПУ и Мороза Север превратился в гигантскую каторгу. Воркута готовилась заменить для страны Донбасс. А Мороз привык к штурмовщине и примитивному труду. Прислали новое начальство. Запахло новым духом. Тюремным. Но о нем после, а пока — штрихи Ухтпечлага времен Мороза (1930-1937 года).

Часть II

В УХТО-ПЕЧОРСКИХ ЛАГЕРЯХ

(1933-1935)

Глава 5

Большевики - народ упрямый

«Нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики».

К. Ворошилов

ИСТЕРЗАННЫЕ БАРКАСЫ

Радиограмма гласила:

«КОЖВА СУДОСТРОЙ МАСЛЕХЕ *)

Основе директивы ГУЛАГ-а приказываю вашу личную ответственность первому октября построить десять семидесятипятитонных морских баркасов размером 18 на 4,5 метра перевозки молибденовых руд Вайгача Нарьян-Мар **). Ввиду особой важности задания остальные работы немедленно приостановить, верфь перевести двухсменную работу, срочно шлите утверждение чертежи сметы — 068457 Мороз».

Маслеха со вздохом поднялся и подошел к окну. Справа и слева от нас, вдоль берега Кожвы, стояло на клетках шесть трехсоттонных барж в разной степени готовности. Под днищем и у бортов, на палубе и на арках — всюду копошились люди. По договору с Печорским пароходством эти суда к 1 сентября 1934 года должны быть в полной готовности. Остался один месяц. Нажимали на все педали. И вот нате...

— Ничего! — говорю. Перезимуют на клетках. Сдадим в навигацию 1935 года.

---

*) Маслеха — Начальник Судостроя в 1933-1934 годах, колонизированный инженер-судостроитель, бывш. член ВКП(б), осужденный на 10 лет «за шпионаж».

**) Вайгач — каменистый остров против Карских ворот, Нарьян-Мар-порт на Печоре, в 300 клм. нт Вайгача.

— «Перезимуют»! Баржи-то из сырого леса. За зиму рассохнутся и протекать станут. Перед спуском придется снова конопатить. Выходит, двойной расход рабочей силы и материалов. Опять нахлобучка из управления.

— Какой же выход?

Маслеха оглянулся на дверь.

— Выполнять приказ Мороза!... и, захлопнув окно, надел очки, раскрыл справочник кораблестроителя, вооружился логарифмической линейкой.

С утра Кожвинская верфь Ухтпечлага полностью перешла на постройку морских баркасов. Обезлюдевшие баржи рассыхались под лучами августовского солнца. Мороз терпеть не мог задержек с выполнением его приказов. Раз он сказал «срочно», значит, плюнь на все остальное и, сломя голову, бросайся на новое задание.

Пока плотники подкладывали под баркасы клетки и выравнивали центральную лыжную доску, конопатчики и креповщики рыли и таскали для них из леса ребра для новых судов.

Ни Маслеха — начальник и старший инженер, ни Дударчук — руководитель работ, ни плотники — никто в жизни не только не строил, но даже и в глаза не видел морских баркасов. А сегодня...

Один за другим вырастали на стапелях баркасы. Дополнительное питание и двенадцатичасовый рабочий день в две смены подгоняли темпы постройки. Приказом Маслехи на верфи был объявлен «аврал». Воспитатель сновал от стапеля к стапелю с красными и черными списками. Четыре сотни заключенных готовили суда для перевозки руды, добытой тоже заключенными. На Вайгаче был особый лагерь на 6 тысяч человек, подчиненный непосредственно Москве и занятый добычей высокоценных руд. Вольных рабочих набрать на Вайгач было немыслимо, — там, кроме песцов да медведей, не было ничего живого. Ребята, по болезни, переведенные с Вайгача, рассказывали о жутких условиях жизни и работы. На рудник из бараков надо было идти, цепляясь за канат. Штормовые порывы ветра сбрасывали ротозеев в море. Да и лупили там нещадно, на манер Соловков 1929 и 30 годов.

К первому сентября три баркаса, номера 101, 102, и 103 были уже закончены и плескались на воде. На запрос Маслехи Мороз отрапортовал по радио:

«Примите все меры форсированию вывода баркасов Печору. Категорически запрещаю ссылаться объективные трудности».

?!? — посмотрел я на Маслеху.

?!? — взглянул Маслеха на меня.

— Не отвяжутся...

— Факт! Мороз будет жать на начальника печорского отделения, а тот с вас, с живого, не слезет...

В воскресенье, — а летом в северных концлагерях работают без выходных, — Маслеха сам, засучив брюки, влез с плотниками в воду и под возгласы: «Раз, два — взяли!» с помощью веревок и дрючков провел его на триста метров ниже, к перекату. Даже Лидия Вячеславовна, жена Маслехи, и та энергично хлопотала у берега, подыскивая дрючки взамен поломанных. Первый день прошел удачно. Такими темпами через три недели баркасы будут на Печоре.

Мне доверили самое «ответственное» поручение: обставить фарватер Кожвы. Накинув брюки на шею, с пучком вешек подмышкой, я с утра до вечера вкривь и вкось брожу по Кожве, выискивая и обозначая вешками самые глубокие места. А Кожва — не ручеек. На двести километров тянется, и шириною от ста метров до полукилометра .Ну-ка, поколеси по ней вдоль да поперек! Солнце в полдень еще пригревало, но вода была уже осенняя, холодная и простудная. Вымеряешь по ней этак километров шесть — семь и ног не чувствуешь, совсем закоченеют. А работа, тем не менее, нужная. Административные головотяпы из Чибью приказали строить глубоко сидящие баркасы на мелководной реке, а местные пошехонцы должны нести всю ответственность за последствия. С утра, как из бочки, несется из моей глотки «Кк-кк-кк!». Но, слава Богу, всему приходит конец! Расставлены вешки, вплоть до устья.

Маслеха, осмотрев повязки и пластыри, утешает: — Спасибо, Михаил Михайлович! Дело общегосударственное. Теперь бы только вывести баркасы на Печору...

— Вы думаете, мы выведем?

— Мы д о л ж н ы!

— «Должны»!.. Это я уже слышал и от Мороза, и от печорского отделения, и от нашего уполномоченного 3-й части. Баржи-то сидят на 50-60 сантиметров, а на перекатах — сорок.

— Я добавил на выводку еще двадцать человек.

— А не разорвут они баркасов?

— Разорвать — нет, но ослабить крепления могут. Потом, в устье, исправим. Главное — выполнить приказ: спустить в устье.

Но выводка подвигалась туго. Уже середина сентября, а баркасы все еще на полпути.

Где-то раздобыли две ручных лебедки с металлическими тросами.

Зацепят тросом шпиль и бортовые кнехты, и ну накручивать лебедку. А сзади двадцать человек дрючками подваживают длинное бревно, прибитое к ахтерштевню. Да с боков еще тянут за веревки человек пятнадцать. Трос пружинится, скрипит, дрючки трещат, бревно изгибается, баркас стонет и медленно, медленно ползет через перекат, пропахивая в камнях и гальке глубокую борозду.

Помпы, не переставая, откачивают воду. Камни с пес-

ком не только царапают киль, но и выдергивают из него паклю. Баркасы протекают во-всю.

А телеграммы с каждым днем все злее и злее:

«КОЖВА МАСЛЕХЕ

Когда наконец баркасы будут устье? Халатное выполнение задания ГУЛАГ-а объявляю выговор. Пароходству дана заявка первого октября отбуксировать баркасы Нарьян-Мар. 067518 Начальник Печорского отделения Ухтпечлага».

Вот только фамилию его забыл. Такой большой, черный, с густой ассирийской бородой. Все ногти чистит, когда с подчиненными разговаривает. И чекистом себя величает. Его в 1935 году сняли и куда-то перевели, — оскандалился. Говорили про какие-то сексуальные извращенности. Пожалуй! Незапятнанных чекистов на Печору не пошлют. Вот они-то нас и перевоспитывают и производством руководят попросту: «У меня чтоб было, не то в порошок!».

И, действительно, точно первого октября два парохода остановились на Печоре против устья Кожвы, погудели, погудели и поплыли вниз. Им ни больно, ни холодно. Составят акт на простой и порожний пробег и сдерут с Ухтпечлага несколько тысяч. Это уж всюду так: — любят друг на друга акты наковыривать. Ухтпечлаг на пароходство — за непредоставление пароходов и барж под отгрузку, согласно договору, а пароходство на Ухтпечлаг — за нарушение договорных сроков погрузки и выгрузки. К зиме у каждого сутяжника набирается таких «претензий» на три-четыре миллиона рублей, и до весны они таскаются с ними по всяким судам и арбитражам, забивая ими мозги. Между прочим, партийные организации одобряют это взаимное подсиживание и сутяжничество. От этого, говорят они, растет чувство ответственности у хозяйственников, а чем оно выше, тем лучше будет и сама работа... Пароходство и Ухтпечлаг — государственные организации, а потому государство ничем не страдает, если со счета одного на счет другого перечислен миллион, — карман один.

... Вижу, вешки нужны не только для баркасов, но и для моих мыслей. Ишь, куда заплыли!

Так вот — опять о баркасах. Дело шло, как в сказке о деде и репке: «Тянут, потянут, вытянуть не могут».

Стоял уже октябрь. Последние два баркаса заканчивались постройкой на верфи, три находились в пути и пять стояли в самом устье Кожвы.

Устье разлилось чуть ли не на два километра, а глубина — воробью по колено. Десять и редко где пятнадцать сантиметров. Не то, что баркаса—бревна, и того не протащишь!

Стоят многострадальные баркасы в каких-нибудь ста пятидесяти метрах от глубокой и многоводной Печоры, облупленные, поцарапанные, с выщипанной паклей, с бревном

вместо руля... И близок локоть, да не укусишь! Ни лебедки, ни дрючки — ничто не помогает. Зарылись баркасы в песок и ни с места. Стонут под нажимом бригады, а не поддаются.

— Еще раз! Еще два!!! Хлоп! Нет шпиля! Выдернули шпиль лебедкой... А баркас точно врос.

Моросил заунывный дождь, осыпались после первых заморозков ярко-красные ягоды шиповника. Осень выступала в своем последнем акте. А сорок заключенных бригады Широкова все еще мучились в устье, ночуя в землянках, вырытых тут же на острове, против деревни, и, согласно рапортичкам, выполняя нормы ежедневно на 140-150 процентов.

— Ты что ж туфтишь?! — наседаю я на бригадира, получив от Маслехи приказ проверить на месте ход вывода баркасов: по твоим рапортичкам баркас 101 проведен уже на десять километров, баркас 102 на девять, сто третий на восемь с половиной, а они все еще перед устьем... Как это может быть, когда от верфи до устья нет и шести километров?

Широков чешет затылок и, видимо, что-то сообразив, выпаливает:

— Шесть километров прямиком, а я выводил зигзагами.

— Ну, ладно, спорить не хочу. Только ты должен на эти лишние километры акты представить. Чтоб все было по форме. Догнал? — спрашиваю его на блатном жаргоне.

— Догнал! Все будет в порядке. Завтра пришлю акты. Только вы уж там перед Виталием Григорьевичем (Маслехой) слово замолвите. Насчет ларька. Вот и список бригады, возьмите с собой. Работа вредная, мокрая. Надо ребят поддержать.

Я возвращаюсь на верфь, сопутствуемый отдаленными заунывными криками: «Еще дружно! Раз, два — взяли!».

— Бедняги! — думаю, — каково им теперь в ледяной воде? И хоть бы с пользой, а то впустую. По сухому разве протянешь? Надо сказать Маслехе, чтобы и масла ребятам выписал. Плотник в тепле, в сухом, а эти в землянке, в мокром. Бедные, бедные!

Только долгое время спустя Широков признался мне в одной хитрости. Оказывается, они, убедившись в бесцельности работ, целыми днями лежали в землянке. Только один оставался снаружи, создавая видимость работ, во все глотку выводя знакомые рулады: «Раз, два — взяли!»... А я-то их тогда жалел!... Ну, уж Бог с ними. На этой работе не стуфтишь — не проживешь.

Наконец, подул и западный ветер, — влажный и теплый. Задевая вершины голых лиственниц, проносились плотные тучи. Небо хмурилось, укутывая едва заметный из Кожвы Урал в потрепанные облака. Пошли дожди, осенние, щедрые. Природа рассчитывалась за сухое лето и осень.

По приказу Маслехи, баркасы на всякий случай укре-

пили на веревках, привязанных к кольям, глубоко забитыми в песок.

Ночь, осенняя и дождливая, на Печоре темна и непроглядна. Медленно, сантиметр за синтиметром, прибывает вода. В устье глубина уже сорок. О, еще много! Баркас с водой сидит на семьдесят пять!

А дождь льет и льет.

Кому охота из теплой землянки вылезать в осеннее ненастье? Спит крепким сном бригада.

А дождь льет и льет.

С зарей вышел из землянки заспанный бригадир и, попутно взглянув на устье, ахнул и раскрыл глаза:

— А где ж баркасы?! Нету баркасов, ни одного. Как корова языком слизала!

Мутные волны разгулявшейся Кожвы с плеском бились об остров, подбираясь к землянке.

— Аврал! — завопил бригадир. — Сейчас же вставать. Трам-тарарам! Аврал!

Но заключенным горя мало. Плевать они хотели на эти баркасы. Сорвало, и пес с ними. Незачем больше в воду лазить. Вернутся на верфь. И так уж все простудились!

Пока нарочный с печальной вестью добрался до Маслехи, пока оттуда другой нарочный отнес телеграмму в Кожву, да пока ее передавали по всем пунктам Ухтпечлага и пароходства вниз по Печоре, да пока там чесались, да покуда...

Кому нужны наши баркасы!? У кого о них душа болит?!

Короче говоря, только в начале ноября пришла радиограмма из пароходства:

> «Баркасы 101, 103 заведены Ульяшевский затон нуждаются капитальном ремонте счет буксировку предъявляем Чибью».

Куда девались остальные три баркаса, никто не знает. На Печоре много всяких протоков и шаров (заливов), занесло в какую-нибудь дыру и гниют они там по сей день. А может, и под Вайгач уплыли!... Печора осенью быстрая — 6 километров в час. За неделю как раз снесло бы их в открытое море. И это могло быть!

Паче чаяния, все обошлось в лучшем виде. Никого не взгрели. А вскоре пришла из Чибью и другая радиограмма, предписывавшая прекратить достройку баркасов номер 109 и 110 и отнести все расходы по строительству на счет ГУЛАГ-а.

Для перевозки руды ГУЛАГ, оказывается, закупил в Архангельске металлические баркасы, так как Северный морской флот категорически отказался буксировать наши галоши. Около трехсот тысяч рублей вылетели на ветер. Четыре сотни людей три месяца по двенадцать часов ишачили на этих баркасах, принимали социалистические обязательства, вступали в ряды ударников, соревновались, и вот результат: никакого результата, одни убытки.

В конце 1935 года, проезжая на санях из Усть-Усы в Покчу, на новый Судострой, я заехал в Ульяшевский затон посмотреть уцелевшие баркасы, вторично зимовавшие тут. Палуба с них уже исчезла, видимо, на дрова, в бортах зияли щели от пробоин... Печальная картина! Вот, значит, из-за чего мучат меня по сей день фурункулы!

ЗЛОСЧАСТНЫЕ ПЛОТЫ

Ну, раз уж об упрямстве, то вот еще случай. В 1936 году тот же Судострой, перекочевавший на 400 километров выше, в Покчу, заготовил для Воркуты около 12 тысяч кубометров крепежного и строевого леса и погрузил его в новые баржи для буксировки. Без леса Воркута не могла работать.

А лето, как назло, выдалось отчаянно — сухое. Пароходы не доходили до Покчи на 300 километров. На перекатах глубина доходила до сорока сантиметров. Шел уже сентябрь, а дождем и не пахло. Вот тогда-то наше начальство, начиная с Мороза, и закрутилось, словно его петух в мягкое место клюнул. Полетели радиограммы, на моторных лодках прикатили «особо-уполномоченные».

— Скорей! Скорей! Выгружайте из барж, сплачивайте и сплавляйте до Кожвы или Усть-Усы. Там уж сами перегрузим в баржи, и на Воркуту. Скорей! Скорей!

За неделю разгрузили, сплотили и отправили двадцать плотов по сто пятьдесят кубометров, и на них пятьдесят два плотогона — заключеных. Дали им сухих продуктов на десять дней, отпустили чалку, оттолкнули плоты:

— Плывите, как знаете. Между Кожвой и Усть-Усой вас забуксируют в затоны. Сдавайте лес и являйтесь на ближайшую командировку Ухтпечлага. Ясно? Давай, отчаливай!

Никто из этих 52 плотогонов сроду не был сплавщиком. А путь не близкий — почти полтысячи километров, с десятком перекатов, со слепыми протоками. Занести - занесет, а о том, чтобы выплыть оттуда — и не думай.

На беду, поднялся противный ветер с низовьев Печоры. Дует и дует. Стоят плоты на фарватере, будто с якорями. Стоят день, стоят три... Приезжает на глиссере заместитель Мороза Закарьян:

— Почему топчетесь на одном месте? Воркута из-за вас в глубоком прорыве, а вы тут кашу варите на плотах. Плывите!

— Не можем. Противный ветер.

— Вижу. Не слепой. А багры у вас зачем? А ну, багры в руки, и на баграх плыть!

Пока Закарьян крутился около плотов, они на баграх еще кое-как плыли вниз. Но завертелся пропеллер глиссера, скрылось в кабинке кожаное пальто Закарьяна, и снова плескались плоты на одном месте... Где это видано, — сотни километров плыть на баграх?

Но, наконец, природа смилостивилась. Подул попутный ветер. Понеслись плоты выручать Воркуту из прорыва. Скрылись с горизонта.

Ждем неделю, ждем другую. Летят по радио запросы: «Где плоты, где люди?». Молчание.

Вдруг из Усть-Усы ответ: «Сегодня перехвачены и поставлены под погрузку в баржи остатки плота № 3 в объеме 75 кубометров».

Это был единственный, потрепанный, но доплывший до Усть-Усы плот. Из трех тысяч кубометров Воркута получила эти 75, себестоимостью в 60.000 рублей! Золотой лес! Все остальные плоты погибли: либо из разбило на перекатах и порогах, либо занесло в такие места, откуда вывод их обошелся бы дороже новой заготовки. Плотогоны, разумеется, не разделили участи плотов. Они своевременно покинули их и обосновались по деревушкам, ожидая приказов и подкрепляясь зырянским творогом и картошкой. Только к февралю 1937 года удалось собрать всех 52 плотогонов, осевших от Савина Бора до Нарьян-Мары, то-есть, почти на 1.200 километрах! Кто-кто, а уж плотогоны должны быть благодарны большевистскому упрямству. Благодаря ему, они три месяца палец о палец на стукнули. Отдохнули и подкормились на зырянских хлебах. Такое счастье заключенному отламывается редко. В лагери гонят работать над освоением Севера, а не на зырянских печках нежиться. Так-то!

ЗАСТРЯВШИЙ КОТЕЛ

В 1933 году на Усе, выше Адака, замерзла баржа с паровым котлом для Воркутского рудника Ухтпечлага, — не дошла 60 километров. Река стала. Так вот этот котел целую зиму тащили по берегу и по льду на людях и лошадях. Днем и ночью, в пургу и в пятидесятиградусные морозы. Без котла стояла Воркутская электростанция. Тянули до тех пор, пока не вскрылась Уса и не пришел пароход. До пристани осталось 15 километров...

А сколько заключенных за эту работу книжки ударников получило, скольких отсюда в изолятор отправили!

А все-таки, надо отдать справедливость большевикам, — упрямый народ. До последнего часа жали: давай, давай, давай! Ни с чем не считались, — ни со стоимостью, ни с рабочей силой, ни со здоровьем людей. Умри, а выведи!

ВМЕРЗШИЕ КАРАВАНЫ

Рассерженный Мороз улетел в Москву к Берману, начальнику ГУЛАГ-а. — Окончательно поругался с управляющим Печорским пароходством Григорьевым. А еще был секретарем обкома! Самостраховщик, а не коммунист! Пони-

маешь отказался вывозить с Воркуты уголь. Говорит, Уса в летнее время несудоходна. Что мне теперь делать с двумя сотнями тысяч тонн угля? Он уже сам загорается в кучах. Ждать, когда проложат железную дорогу? Еще семь лет? Да через семь лет я там накоплю десять миллионов тонн!

— Разве Уса действительно так мелководна? — удивился Берман.

— Совсем нет! — Просто Григорьев не хочет риска.

— А ты хочешь? ... Мороз вопросительно посмотрел на Бермана ... Если я с Ягодой добьюсь передачи тебе части флота, сумеешь ты вывезти уголь? Не подведешь нас?

— Конечно, вывезу! Брошу на транспорт лучшие кадры, сам сяду на пароход, но Григорьеву докажу ...

... В мае 1935 года Наркомвод, сославшись на решение ЦК, приказал Григорьеву безоговорочно передать Ухтпечлагу для вывоза 120 тысяч тонн угля, десять пароходов и шестьдесят барж—почти половину всего флота пароходства.

Берман сдержал слово. Мороз торжествовал и трусил. До сих пор по Усе летом пароходы, действительно, не плавали. Докажет Мороз судоходность Усы — наградят, а Григорьеву шею намылят, не докажет ...

Должен доказать! Мороз осиливал не такие задачи!

В Усть-Усу для руководства водной группой приехал Барабанов, недавний политический комиссар Московской пролетарской дивизии, впавший в немилость у ЦК. Со всего Ухтпечлага собрали заключенных - водников: всяких капитанов, штурманов, механиков, боцманов. Приняли пароходы, пополнили их команды заключенными.

Пошла катавасия по Усе! .. Вверх тянут продовольствие, лес и технику для Воркуты, вниз уголь для морских пароходов. В конторах по безлесной Усе потеплело. Жгут уголек ... А на самой Воркуте, Боже упаси, сунуть кусок в печку. Заметят — на неделю арестуют и зачета рабочих дней лишат. Уголь-то по себестоимости обходился во много раз дороже бревен, доставляемых туда в баржах, за тысячу километров. Поэтому на Воркуте до 1936 года отапливались привозными дровами ...

Барабанов оказался тертым парнем. Мороз жмет:

— Почему не выполняете плана вывоза?

А Барабанов в ответ:

— Двенадцать барж пятый день простаивают в ожидании угля. Воркута срывает план погрузки. Прошу вашего личного содействия.

Снялся Мороз с Чибью и перелетел на Воркуту.

«С сего числа, — читали приказ, — принял на себя руководство пристанью. Призываю весь состав Воркуты напрячь все усилия, чтобы в срок и полностью выполнить правительственное задание по обеспечению Северного флота Воркутским углем. Я. Мороз».

Мороз терпеть не мог размеренной работы. На погрузку

согнал всех, кого только было можно: «амнистированных» штрафников, служащих управления рудником, железнодорожных рабочих. Вместо четырехсот человек, на пристани кишело около двух тысяч. Днем и ночью шел штурм. В ларьках убавилось масла, макарон, конфет и курева. Охрипли воспитатели. Зато суточную погрузку довели до плановой нормы — полутора тысяч тонн. Мороз ликовал. Но... было уже поздно. Вода катастрофически падала. На перекатах осталось только 70 сантиметров глубины. Пароходы и баржи застряли у перекатов: ни вперед, ни назад.

Но не из таких Мороз с Барабановым, чтобы сложить руки перед стихией. Мелкосидящими катерами подтянули к баржам плашкоуты. С командировок пригнали новых заключенных. Началась перегрузка из барж в плашкоуты, из плашкоутов на берег, а с берега осенью опять в баржи... Аж до октября стоял стон на Усе! Каждый кусок угля по нескольку раз побывал на лопате, прежде чем попал в Нарьян-Мар. Разгруженные до осадки в 70 сантиметров, баржи со скрипом и скрежетом пропахивали перекаты. Массивные тросы не выдерживали напряжения и лопались. У пароходов вылетали гаки *), у барж тросы перерезали кнехты. Капитаны отказывались буксировать баржи, но лагерное начальство либо подкупало их выписками из наших ларьков, либо запугивало обвинением в саботаже.

И невозможное стало реальностью. В самую межень те самые пароходы, которые у Григорьева с вольным народом отстаивались у берегов в ожидании подъема воды, у Мороза с заключенными днем и ночью бегали по Усть-Усе до Воркуты. Грузы, правда, продвигались слабо, потому что в баржу больше 50 тонн не положишь, — не пройдет через перекаты, — но пароходокилометров накрутили около двухсот тысяч. Уса и летом для настоящих большевиков оставалась судоходной...

Наше начальство радовалось, а пароходство строчило в Наркомвод рапорты о том, что Ухтпечлаг выводит из строя Печорский флот, терзая его на перекатах.

Наступили последние решительные дни навигации. На уголь уже плюнули. Вывезли 80 тысяч и хватит. Сейчас важнее успеть отбуксировать на Воркуту свежие овощи, технические грузы и продовольствие, только что доставленное морем на Печору. Без этих грузов на Воркуте замрет вся жизнь.

Сам Барабанов и все руководители отделов, заключенные получили приказ Мороза перейти на пароходы и провожать караваны вплоть до Воркуты.

Как в картине с замедленной съемкой, похоронно тя-

*) Гак — крюк, за который укрепляется буксирный канат (трос) парохода.

нулись караваны вверх по Усе, не делая за сутки и пятидесяти километров.

А Мороз долбил по радио одно:

«Не взирая на возможную шугу, вести пароходы вверх. Задание партии по строительству Воркуты может быть выполнено только при условии доставки этих грузов. Учтите вашу личную ответственность. Мороз».

Седьмого октября с Урала зашумел холодный зимний ветер. По Усе поплыла шуга, с каждым часом все гуще и гуще. Пароходы пронзительно завыли, предчувствуя последние часы. До Воркуты им оставалось еще от ста до трехсот километров.

Радист каждые два часа приносил новую пачку радиограмм.

1740 «Кулострой». Скорость пала одного километра. Баржа 306 прорезана льдом дала течь. Ходу ремонтируем следуем дальше. Самоцвет.

1810 «Волхов» Давление котлах виду сырых дров пало десяти атмосфер. Стоим фарватере на якоре набирая пары. Левин.

1805 «Днепрострой» Виду отказа капитана вести дальше караван сам принял командование поставил штурвала помощника. Идем скоростью полтора километра. Барабанов.

А ветер усиливался, мороз крепчал. Я то и дело выходил на берег, но в осенней темноте слышался только треск сталкивающихся льдин да отдаленный вой пароходных гудков.

Восьмого октября утром Уса стала. Караваны судов застряли во льдах в сотнях метров от крутых берегов. Две недели держали пары в надежде на теплый дождь, но природу не интересовали заботы Ухтпечлага. Уса замерзла всерьез и надолго. Капитаны и водоливы барж матерились по адресу лагеря, предчувствуя зимовку вдали от семьи, за десятки километров от ближайшего жилья.

* * *

Мы, экономисты, занялись другой работой: подсчетом, во что же обойдется зимний отстой судов в середине реки с перегрузкой и охраной материалов и порчей продуктов. Считали скромно, а вышло увесисто — один миллион триста двадцать тысяч рублей!

Зато Мороз доказал судоходность Усы, а это главное! А то, что глупо замерзли караваны, то это обычная картина. Так было в 1933 и 34 годах, так будет в 1936 и 37-м. Сегодня замерзли на Усе, в следующий раз на Печоре или Ижме.

... А все-таки, скажем на ухо: «Уса-то летом действительно не судоходна»! Разве это глубина, когда пароходы колесами загребают песок и камни? Но лучше помалкивать, — дойдет до Мороза, не миновать нам Воркуты. Нет. наша хата с краю... Молчим, молчим!!!

ДРАГОЦЕННЫЕ ОВОЩИ

Плюньте в бессовестные гляделки тому, кто побожится, что на Воркуте он ел свежие овощи.

Воркуте килограмм картошки обходился много дороже масла! Кто ж станет такой дорогой овощью баловать арестанта!

Впрочем, я начал рассказ с хвоста. Начнем по порядку:

Воркута, как известно, пребывает в самом что ни на есть цынготном крае! Только свежие овощи и выручают, но не доходят они до рудника, гибнут в пути. Дорога дальняя — из центральной России на Архангельск, оттуда морем, в трюмах, до Печоры, там выгрузка на берег и опять погрузка в баржи. В Усть-Усе снова погрузка. Четыре тысячи километров пути! Не каменные же, наконец, овощи! В трюмах от духоты портятся, в баржах от дождя, снега и морозов. Из тысячи тонн, отправленных Архангельском, до Усть-Усы доходит только сто, девятьсот уж погибли. Но и этим ста не судьба попасть на рудник.

Овощи привозят в Усть-Усу не раньше октября, а Уса, обычно, замерзает в первой половине октября. Тянут пароходы ценный груз день, тянут два, три — хлоп! — шуга. Замерзла Уса, замерзли овощи. Малую толику кое-как спасут. Выроют на берегу землянку и перетаскивают в нее. Целую зиму инвалиды и слабосильные сортируют овощи и, конечно, понемножку едят. Так к весне остается каких-нибудь пять тонн. Вот их-то с первым весенним пароходом и получает Воркута для своих вольнонаемных сотрудников и для лазарета. Теперь подсчитайте, во что они обошлись:

1.000 тонн, франко Архангельск	—	250.000 рублей
перевозка морем	—	20.000 „
перевозка рекою	—	30.000 „
погрузки-выгрузки	—	50.000 „

Вот и сумма — 350 тысяч! Но не за тысячу тонн, а за пять, которые пришли. Тонна обошлась в 70 тысяч, значит, килограмм — в 70 рублей. Такой картошкой и миллионер поперхнется.

Вот почему на Воркуте заключенных кормят сухими овощами.

А от сухих овощей цынга косит. Зимой больных таскают в лазарет, а летом — на лодку. Доплывут цынготники до Адзьвы — это уже в нескольких километрах южнее Полярного Круга, — поживут день-неделю, попьют парного молока, пожуют сырой картошки, смотришь, часть уже стоит на ногах и не валится от ветра.

— Эй, пароход!..

Посадили излеченных на баржи и опять на Воркуту. Приехали и снова в лазарет, опять скрутила цынга. Еще раз на лодку, в Адзьву и обратно. Иные целое лето катаются.

Говорили лагерному начальству: выройте в Усть-Усе и Нарьян-Маре хорошие овощехранилища, чтоб весною без риска отправлять овощи Воркуте. Куда там! Оппортунистами обругали, перестраховщиками.

Так гибли в пути овощи (они гибли и тогда, когда я уже выехал). В транспортном отделе Воркутского лагеря в 1941 году мне попалась таблица об отправленных из Архангельска и доставленных на Воркуту овощах. За девять лет, с 1932 по 1940 год, из Архангельска, оказывается, вышло 52 тысячи тонн овощей, а до Воркуты дошло ... только около пятисот тонн. Были года, когда Воркута не получала ни одной тонны: все гибло в дороге.

С 1933 года Мороз открыл по Печоре и Усе лагерные огородные хозяйства — «сельхозы», однако, снабжение Воркуты овощами не улучшилось. Овощи на Печоре созревали как раз к тому времени, когда приходили пароходы с картошкой из Архангельска.

Формально, лагерное начальство и ГУЛАГ все делали, чтобы обеспечить Воркуту овощами: заключали договоры с колхозами, с железной дорогой, с морским и речным флотом, выплачивали им миллионные суммы. Но фактически заключенным приходился один пшик. Убытки списывались на счет трудностей с транспортом на севере, хотя их следовало бы отнести на счет большевистского упрямства наших руководителей. Так летели на ветер сотни тысяч трудовых дней советских колхозников и грузчиков, зря они растили овощи, зря перегружали их. Все пошло прахом!

И все же во всех этих историях нет ни «головотяпства», ни вредительства. Таков уж стиль большевистской работы. По всей стране ежегодно замерзают в пути сотни караванов и миллионы кубов леса. В засушливые годы колхозники целых областей ведрами таскают воду на колхозные поля, — этим воспитывают народ без рассуждений слушаться приказов и выполнять их. Кучка приучается командовать, а масса подчиняться. В этом и кроется, с одной стороны, сила власти, а с другой — несоответствие между затраченным трудом и его результатом.

Глава 6

Туфта и туфтачи

Прежде говаривали: «Вот арап! Ну и очковтиратель! Экая липа!» . . . А ныне скажут: «Туфтач!» или «Туфта!» — и все понятно.

Без туфты в Советском Союзе, а тем паче в концлагерях, хоть в петлю полезай, не стуфтишь — не проживешь.

Насчет туфты заключенные договариваются быстро. Риск тут малый, а выгода прямая: поменьше сделать, побольше получить. Никто не осмелится донести уполномоченному 3 отдела: ни уголовники, ни бытовики, ни политические. Туфта — мать всем заключенным. Она предохраняет миллионы от полного истощения, от лазарета и могилы. С туфтой заключенные не только дух переводят, но и тачки возят и даже в списках ударников состоят, получая повышенное довольствие «за перевыполнение норм выработки». Где только удается, там сами рабочие, а чаще всего — бригадиры «заправляют туфту» — приписывают в рабочие сведения лишние кубометры земли, леса и т. п. Роют песок, а в сведениях — глина. Тащат бревно за сто метров, а пишут — за триста.

Основываясь на «всесоюзных достижениях», ГУЛАГ НКВД то и дело увеличивал нормы выработки *). Так, с 1930 по 1940 год нормы на лесозаготовках возросли в среднем на сорок процентов, а на земляных работах—на двадцать пять. Норму по расчистке дорог от снега взвинтили с 15 кубометров до 50! Тем не менее, в соревновании с новыми нормами туфта постоянно шла впереди. Поднимут норму на десять процентов, а туфта, смотришь, выросла на пятнадцать! Над каждым контролера не поставишь!

Потребность «зарядить туфту» всасывается с советским молоком еще на воле. Туфта родилась совсем не в лагере,

*) Заключенные работают по обычным нормам, как и весь СССР, но увеличенным на 20 процентов.

как думают иные. Лагерь только дал ей сочное имя, но рождена она советской системой. На воле, как и в концлагере, тоже с каждым годом увеличивают нормы, чтобы побольше выжать из народа.. Но народ, как и заключенные, защищая свою жизнь, приспосабливается к ним, изобретая новые формы туфты. Цели государства-эксплоататора и его холопов-трудящихся, при всем внешнем благолепии, были и остаются противоположными, — один жмет, а другие изворачиваются.

Туфтит всяк по-своему. Наиболее виртуозно туфтит советская статистика — «нархозучет» (народно-хозяйственный учет). Вот — наша лагерная копия общесоветской туфты.

ОТЧЕТ С ПОТОЛКА

В 1929 году ГУЛАГ открыл на Вычегде новый, Усть-Вымьский лагерь для постройки автомобильного тракта Усть-Вымь-Ухта, длиною около 350 километров. Этот тракт соединял бассейны Северной Двины и Печоры. По нему-то большевики потом и погнали сотни тысяч заключенных — «завоевывать Север». Три года двадцать тысяч лагерников боролись с тайгой и топями. От цынги и дрына вымерли тысячи. Но дорогу все же провели. В конце 1932 года первый автомобиль торжественно вывез по этой дороге первый бочонок ухтинской нефти. Печора посылала первые дары пятилеткам . . .

Начальником лагеря был тогда чекист Дикий (экая фамилия!), а главным бухгалтером — заключенный Самоцвет, белый офицер, страдавший запоями. ГУЛАГ требует заключительного баланса, а Самоцвет гуляет в Усть-Выми. Но, кроме него, никто не мог составить отчета. Он один в совершенстве знал всю сложную технику ГУЛАГ-овской бухгалтерии и по памяти мог повторить, какая бухгалтерская статья с какой статьей корреспондируется. Выгнать его на общие работы значило бы вообще потерять надежду когда-либо иметь отчет о затратах по тракту.

Терпение у Дикого лопнуло и он отрядил трех конвоиров. Самоцвета вытащили, приволокли и посадили в особую комнату при комендатуре, поставив у двери часового. На утро в комнату внесли бутылку водки, огурцов, солонины, хлеба, арифмометр, мешок бухгалтерской писанины и записку от Дикого:

«Видеть тебя не хочу, пьяницу! Не выпущу, прежде чем не составишь отчет. А водки больше не жди!» . . .

День Самоцвет пил, на другой мучился похмельем и колотил в дверь, а на третий, усевшись, чтоб было мягче, на мешок с документами, затрещал арифмометром, и . . . за два дня заключительный баланс, со всеми потрохами к нему, был готов.

Через месяц из ГУЛАГ-а летело радио-сообщение:

«Проверка баланса показала добросовестную работу вашего бухгалтерского аппарата. Баланс утвердили без изменений. Объявленный вами выговор снимаем. Главному бухгалтеру заключенному Самоцвету выдайте наш счет премию сто пятьдетят рублей и костюм ларька».

Баланс, как говорят, был составлен по всем правилам «Формулы 4 П», известной каждому советскому плановику и бухгалтеру. Не слыхали о такой? О, совсем просто: Пол, Потолок, Палец и Перо . . . — Пол для обоснований, с Потолка цифры берут, остальное из Пальца высасывают, а Перо — орудие производства . . .

— Как же ты, Арсений *) — спросил я его однажды, мог это сделать, когда по твоим же словам, одна половина отчетности с командировок оказалась растерянной, а в другой так все спутано и наврано, что ты в нее и не заглядывал?

— Поживешь в лагере подольше, и ты научишься. Дело нехитрое. Я и сейчас в основу отчетов кладу не данные с мест, а свои записи в блок-ноте.

— Какие это «свои»? — заинтересовался я.

— Самые основные: численность заключенных и лошадей по месяцам и количество полученного продовольствия, фуража, обмундирования и денег. На командировке—что ни месяц, то другой бухгалтер и счетовод. Один на свой лад путает, другой на свой. А в моем блок-ноте те же самые цифры, что и в ГУЛАГ-е. Нужно только с толком рассовать их по балансу и все будут довольны . . . Без туфты, брат, нельзя. Разве ты забыл лагерную поговорку:

«Если б не дрын да не туфта,
Не было бы тракта Усть-Вымь-Ухта».

НЕФТЯНАЯ ПАНАМА

А бывают случаи куда более разительные. Расскажу про Якова Моисеевича Мороза, начальника Ухто-Печорского лагеря, в прошлом видного чекиста. Шишка немалая. Попал он за пустяки: в тифлисской пивной пристрелил какого-то рабочего. Без суда, без следствия, без вины. Так и забылось бы это дело, не взбунтуйся тифлисский пролетариат. Вот этот был туфтач, так туфтач! Из года в год он втирал очки Москве о якобы богатых запасах нефти на Печоре. Два нефтяных города выстроил, — Чибью

*) В 1938 году Самоцвета, уже окончившего десятилетний срок и служившего в лагере по вольному найму, обвинили в контрреволюционной агитации, дали новых десять лет и увезли в закрытый Дальне-Восточный лагерь. А новые главбухи шли старым путем. Туфта, как блат, тоже была сильнее законов.

и имени Ягоды. Сколько десятков миллионов поглотила эта нефтяная панама кавказского чекиста — никто толком не знает. Мороз требует — Морозу шлют оборудование буровых, локомобили, тракторы, трубы, радиостанции, самолеты, продовольствие, одежду, арестантов. Нефть — заманчивый продукт. Баку могут с воздуха зажечь, а до Печоры ни один самолет не доберется . . . Так, по крайней мере, тогда рассуждали.

Раскошеливались год, три, пять. Наконец, помощники Мороза: один холенный, наманикюренный кадровый работник ГПУ Иванов, другой заключенный, бывший начальник Одесского ГПУ Перцов, струсили. Состряпали письмо, обвиняя Мороза в разбазаривании государственных средств, потому что промышленных запасов нефти в Печорском бассейне нет. Письмо прямо в ЦК партии, Сталину. Оттуда письмо переслали Ягоде, Ягода — Берману, а тот послал комиссию. Победа осталась за Морозом. Родственные связи с Берманом спасли его. Иванова немедленно куда-то убрали, а бедного Перцова сам Мороз в октябре 1933 года изгнал из лагерной столицы Чибью на захудалый Щугорский угольный рудник на Печоре помощником начальника по административной части. Но и там гнев Мороза через вторые руки обрушивался на Перцова. Загнали-таки Перцова в ш а х т у! Проказница — судьба свела грозу одесской контрреволюции и меня, серенького контрика, в одну лодку. Перцов ехал в Щугор, а я в Кожву, счетоводом нового Судостроя. Оба на равных правах. Каждому по веслу в руки. «Нянек нет, Юрий Михайлович! — говорю, — не спите, налегайте на весло!». За четверо суток, — до первой пристани в Усть-Ижме 350 километров, — Перцов натер такие мозоли, что вряд ли был в состоянии писать новый донос на Мороза.

Конечно, не идейные побуждения водили пером Перцова. Не за политику приехал на пять лет в Ухтпечлаг товарищ Перцов. За бриллианты и рубины, за ожерелья и перстни. За то, что не в меру много захапал их из особого фонда ценностей, конфискованных у расстрелянных. Потеряв власть, а с ней побочные доходы, Перцов хотел добыть их новым путем. Свалить Мороза и занять трон арестантского царя на Печоре. Хоть и небольшое царство — 40.000 рабов в то время, — а все же царь. Но нехватило силенки. Сам надорвался.

А Мороз попрежнему тешил Москву обнадеживающими радиограммами, требуя взамен техники арестантов и продукты. В августе 1934 г. Морозу приказали из Москвы закрыть буровую в Вое. Уже пробурили полтора миллиона рублей, а нефти все нет и нет. 500 метров глубины—сухо, 700 метров — тоже сухо. Как быть? Мороз отвечает: «Уверен в наличии нефти. Персонально отвечаю за продолжение работы буровой». Недели через две, действительно, дошли до нефтяного слоя, но до того тощего, что хоть вешайся с до-

сады. Грязь вместо нефти. Однако, упорно колупают глубже. Проходят еще полтора месяца. И вот центру — сообщают:

«Молния.

Москва.

Товарищам Сталину, Ягоде, Берману

Буровая Усть-Вое дала нефть. Образцы высылаю. Наличие нефти Печоре доказано. Мороз».

Думаете, на самом деле оказалась нефть? Представьте,— что да, оказалась! Но какая и сколько? Грозненская . . . Одна бочка . . .

Темной ночью, по приказу Мороза, начальник буровой вылил ее в скважину, а утром рапортовал Морозу, тот—Москве. Не верите? Спросите печорских арестантов. Те расскажут этот случай во всех подробностях. Тогда я работал в ста километрах севернее Вои, на Кожвинской баржестроительной верфи Ухтпечлага. Рядом, в четырех километрах, протекал ручеек Каменка. На ней Мороз тоже дырявил землю. Третий год. Чуть не полтора километра пробурил и все впустую. Закрыли таки Каменку в 1935 году. Три миллиона пробурили.

Вообще говоря, нефть на Севере есть, но в таком количестве, что овчинка не стоит выделки. Она обходится в сотни раз дороже кавказской.

В 1939 году по всем промыслам Ухтпечлага было добыто около тысячи тонн нефти. Всего лишь единица с тремя нолями. Определенно мало. Но и тут начальство нашло выход из положения. Приказали нефть считать в пудах. И вышло — около 60.000 пудов. Это уже кое-что, не какая нибудь тысяча тонн! Есть чем и на собраниях похвастаться и перед Москвой козырнуть! Попробуйте упрекнуть в консерватизме, оправдаются вождем: — «Сам тов. Сталин, скажут, на пуды считает». И будут правы, потому что Сталин, действительно, в 1939 году изрек: «добьемся урожая зерновых в 7-8 миллиардов пудов». Миллиардов! Ого, сколько! Правда, он при этом умолчал о двух фактах: первый — что это только на 500 миллионов пудов больше, чем собиралось «непросвещенной» Русью в 1913 году, второй,—что в 1939 году колхозы и совхозы были почти полностью механизированы.

Глава 7

„На все сто . . .“

По заведенному порядку вещей, Судострой в Кожве и на зиму 1933-34 года оставался без сырья. Вместо заготовок леса, люди выводили злосчастные баркасы. Всегда окажется какая-нибудь палка в колесах!

К счастью, на Печоре, километром выше деревни Кожвы, пароход бросил на произвол плот Леспромхоза в 3.500 кубометров. На безрыбье и рак рыба. Лагерь купил плот. 15 октября «прораб» (производитель работ) Костя Жаворонков, с бригадой в 60 рабочих, взялся за выкатку. Работа была срочная. Надвигался ледостав. В первую неделю ноября Печора у Кожвы всегда замерзала. Но, вместо запланированных 200 кубов в день, у Кости выкатывали 60-100. На дворе 22 октября, а в воде еще три тысячи кубов. А ну, как вмерзнет? Готовь тогда на каждое бревно человекодень: выколоть, очистить, отвести, заштабелевать . . .

Маслеха, осмотрев выкатку, вернулся на верфь злой-презлой.

— Не идет дело у Жаворонкова. Заморозит лес. Возьмитесь вы, Михаил Михайлович, за это дело. Докажите! . .

— Что?! Уже доказал на баркасах. Вон сколько фурункулов повысыпало, — как брусники в лесу!

— Ваше дело только организовать и наблюдать. Поможете, а? Для меня, ну?

— Хорошо, для вас. Но у меня свой метод организации: сталинский на 150%.

— Что вам надо?

— Ларьковые фонды для премирования за перевыработку.

— Сколько?

— Прибросив в уме, я ошарашиваю Маслеху: — Черного хлеба 300 кило, белого 50, макарон 50, компота 15, масла 15, сахара 25, махорки 250 пачек.

— Ого, размахнулись?! Это же почти половина месячного ларьковского фонда всей верфи.

— Как хотите, Виталий Григорьевич! Выколка обойдется в десятки раз дороже. Рассчитайте сами. . . .

Через три часа я был уже в Кожве, в арендованном для выкатчиков доме Лесозавода. Распрощавшись с Костей Жаворонковым, я собрал всех рабочих в большой комнате.

— Вот что, друзья и подружки! Я не воспитатель, агитировать не буду. Знаю, что судьба этого леса вам так же дорога, как судьба прошлогоднего снега. Смеетесь? Я правду режу, а не арапа заправляю . . . Тем не менее, лес должен быть выкатан до ледостава. У нас впереди каких-нибудь десять дней. По триста кубов в день, и лес спасен. На 60 рабочих и 4 лошадей это не так-то уж много. Натужитесь и больше сделаете. А я уж вас выписками не обижу. Не дрогнет рука.

— Говоришь ты красно, да в котле пусто! — врывается недовольная реплика.

— Котел меня не касается. Котел ухтпечлаговский. Морозу скажите. Я вправе распоряжаться только ларьковыми выписками. Зато какими! Во сне не видели! Сам Мороз за них стал бы на выкатку. Охотники до сахара, масла и компота пусть навострят уши. Слушайте внимательно. Закройте рты — пока туда ничего не свалится. Прежде заработайте, а как — запоминайте. Дайте проход Булькину. Подойди, Булькин ближе. Тебе особенно важно. Твое пузо на всю верфь самое вместительное . . .

Дешевые остроты подкупают собравшихся. Слышны добродушные смешки и гоготанье. При общем внимании, я читаю эту таблицу:

За выкатку на человека	Хлеба черного	Хлеба белого	Макарон	Масла	Сахара	Компота	Махор.
4 куба	0,500	—	0,200	—	—	—	1/4 пач.
4,5 „	0,500	0,200	0,200	—	0,100	—	1/2 „
5,0 „	0,500	0,300	0,200	0,100	0,100	0,100	1 „
5,5 „	1,000	0,300	0,200	0,150	0,150	0,150	1 „
6,0 „	1,000	0,300	0,300	0,150	0,200	0,150	1,5 „
7,0 „	1,000	0,500	0,300	0,200	0,300	0,200	2,0 „

— Поняли? Прочту еще раз.

— А когда расплата за перевыработку? После выкатки? С Маслехи?

— Зачем с Маслехи, почему после? Сегодня выкатал шесть кубов, завтра иди в ларек. Ну-ка, Вавилов, покажи твои карманы! Э, брат, с такими карманами нечего соваться в ларек! Приготовь мешок. Да и остальным тоже советую. А вам, красавицы, особое преимущество — двадцатипроцентное снижение нормы. Мужику за 200 граммов масла надо

семь кубов выкатать, а вам только пять с половиной. Нажимайте, девушки, накапливайте масла с сахаром.

Да! — стукнул я себя по затылку, — запамятовал еще одно условие. Звено, которое даст высшую выработку, обязано угостить меня макаронами в масле и сахаре. Грешен — люблю макароны.

— За что ж тебя?

— За то, что я самый щедрый прораб Ухтпечлага. Кто иной дал бы вам такие выписки? Дарья, неужто ты со своим Иваном не угостишь меня?! На что тебе столько макарон? К крестинам собираешь? Ну, полно, не красней! Я ведь, про вас все знаю.

Бригада радостно ржет. «Контакт» с рабочей массой найден.

Все меня знают, как облупленного. Третий год кручусь на этом Судострое. С самой Ухты под Чибью! И табельщиком был, и счетоводом, и бухгалтером, и нормировщиком, и кассиром, и сметчиком. Настоящий лагерный работник! Его в дверь, а он в окно.

Теперь я могу говорить себе и кому угодно: это было подло играть на желудках и еще гнуснее—отнять у остальных трехсот рабочих верфи половину их дополнительных ларьковых продуктов ради того, чтоб подстегнуть бригаду выкатчиков. Но уж так заведено на воле и в лагерях, и по всему СССР — всюду отнимать у большинства для меньшинства.

На утро я хожу по берегу, подбадривая острыми словечками работающие звенья. Звенья разные: мужские, женские и сборные. В моей бригаде меньше заключнных и больше спецпереселенцев. Это, видите ли, особая «социально-правовая прослойка трудового советского народа». Еще более несчастная, чем заключенные. У лагерника определенный срок и бесплатное обмундирование, пища и кров. Спецпереселенцы — бессрочные и за все должны платить: за продукты и баню, за дрова и квартиру. Весь европейский (а, наверно, и азиатский) Север кишит такими спецпереселенцами, вывезенными с Кавказа, Украины, казачьих областей, из Республики немцев Поволжья.

Одна часть спецпереселенцев состоит на учете НКВД и подчиняется своему коменданту, другая приписана к концлагерям и работает вместе с заключенными, получая самую низкую ставку оплаты. Приписанный спецпереселенец обходится лагерю дешевле арестанта. «Приписанный»!.. Какая ирония! Вернулись добрые старые времена — Ивана IV. Чудеса!

Спецпереселенцы, что попали на Судострой, были люди особого рода. Все из Россошанского уезда Воронежской губернии, полухохлы — полукацапы, последователи «братца Федора», появившегося у них после революции. Что проповедовал «братец», я не знаю, но около трех тысяч последователей он собрал. В период коллективизации НКВД всех их

запер в вагоны и отправил Ухтпечлагу. Тут они безропотно, один за другим, отдавали Богу души. Федоровцы были народ смиренный, работящий, религиозный, но суровый климат, темные сырые бараки, душевные муки и работа быстро подтачивали их организм. Пытался Ухтпечлаг за добавочный хлеб привлечь их к воскресной работе, но религиозный Степой Дударчуком.

На Судострое с 1932 года работало больше сотни федоровцев. Только четверо из них покинули секту: Василиса вышла замуж за бригадира Руденко, кончавшего срок, Нюра — за нарядчика Скрябина, Гальку опутал прохвост - комендант, покинувший ее в положении, а Поля слюбилась со Степой Дударчуком.

Вот каков был состав моей бригады.

Вечером я поодиночке вызываю к себе:

— Фекла, три куба — это курам на смех. В час дня ты уже картошку варишь. Девка здоровая, а лодыря корчишь. Предупреждаю, если завтра не подтянешься, на всю зиму простись с Андреем. Молчи уж! Знаю про ваши шашни. Вот отправлю его к Шергину на лесзаг —тогда не плачь. Иди. Утро вечера мудренее.

— Сережкин! Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься? Кто третьего дня у директора из сеней семьдесят пельменей украл? Кто вчера у него петуху голову свернул? Больше того, — скажу, где находятся и петух, и пельмени. Мое дело сторона, я не комендант. Но, если твое звено с завтрашнего дня не будет выкатывать на круг по пять кубов — забудь про свою зырянку в Кожве. С курьерским под конвоем полетишь на лесзаг. Взвесь. Иди!

Так, претворяя сталинский лозунг «умелого подхода к живому человеку», я на третий день уже добился средней выработки в 4 кубометра.

Больше не требовалось ни понуканий, ни упрашиваний, Еще темно, а звено уже пьет чай, торопясь на выкатку, чтобы заработать масло и компот... Уже темно, а выкатка все еще продолжается.

Плот таял на глазах. Еще несколько дней, и лес — в штабелях. Последний раз осматриваю, хорошо ли зачален плот. Ишь ты! Кто ж это развязал? Стоит только ветру шевельнуть плот, и он поплывет по Печоре. Тросы лишь накинуты, но не закреплены. Кто-то «вредил». Я промолчал, положившись на свою заботливость. И проглядел! Завтра как раз заканчиваем, а сегодня ночью кто-то обрубил топором головной вынос. Плот, закрепленный только нижним хвостовым выносом, развернулся, выбросив в Печору все одиночные бревна. Сказать уполномоченному 3-й части — посадит человек десять, да еще невинному срок влепит. Выкручусь. Полтораста бревен на десять тысяч—не велика потеря. Рассосется так, что никто и не заметит. Смолчал.

2 ноября, в последний день выкатки, выработка дошла до 5, 6 кубометров. Директор Лесозавода, коммунист-зырянин, прогуливаясь по бирже, разводит руками:

— Ума не приложу! Да еще с женщинами!

— Забота о живом человеке, Александр Прокопьевич! Умелый подход...

Ночью с Урала засвистел леденящий ветер, принес снег, а утром по Печоре уже шла шуга, шурша о забереги. Лес лежал в штабелях.

Нагруженная накопленными выписками, бригада возвращалась на верфь. По крайней мере, месяц будут сыты. Не забудут про выкатку!

Но и меня не обделил Маслеха. Объявил благодарность и премировал... пятнадцатью рублями.

Получив отпуск на день, я ушел в Кожву, к знакомому зырянину. Вскоре у нас на столе уже красовалась литровка в художественном оформлении: с селедкой, луком, нельмичьей икрой и моченой брусникой. Мы молча осушали стаканы, думая каждый про свое — я про уходящую молодость, а зырянин об увеличенных нормах сдачи пушнины.

Сквозь окно с Печоры доносился шум проплывающей шуги. Гигантские блины «сала», сталкиваясь, обгоняли друг друга. Берега уже были на десятки метров вширь забиты шугой. Только по самому фарватеру, на узкой полосе в каких-нибудь 200 метрах, еще двигалась, на ходу коченея, снежная масса. Мороз крепчал, припаивая «блины» один к другому. Печора погружалась в шестимесячный сон.

Глава 8

Уплывшая касса

Кассиры в Ухтпечлаге были анекдотическими фигурами. Сами премиальное вознаграждение выписывали, сами и выдавали его.

Бывало, не окажется в кассе мелочи, — а для заключенного и двугривенный дорог, ведь вся-то получка от двух до десяти рублей, — так я эту мелочь выплачивал либо папиросами высшего сорта «Зефир» — 6 копеек штука, либо английскими булавками.

— Да мне твоего «Зефира» не надо! Я некурящий.

— Сдай в ларек.

— Пока туда доберусь — поломаю. Не примет. Дай лучше булавками.

— Пожалуйста, мне все равно.

В кассе лежат три сотни булавок, по пять копеек штука. Они — как деньги «внутреннего рынка». Ларечник, по договору со мной, при выдаче выписок, принимал их по той же цене. Таким образом, финансовые затруднения Судостроя с разменной монетой были преодолены.

Сделали под кассу жестяной сундучек с крохотным замком, а хранить его негде.

Кругом воров да мошенников хоть отбавляй. Одним оком в премиальную ведомость глядишь, а другое с кассы не спускаешь. Мало ль фокусников! Запустят пятерню, а тебя под суд за халатность. Сундучек заманчивый. До десяти тысяч набиралось, да на такую же сумму облигаций займа Второй Пятилетки.

Но сыскал под кассу место. Укромное и надежное. За стенкой, под кроватью у начальника Судостроя Маслехи, рядом с другой семейной утварью. Иной раз и замок не закрыт, все равно, ни копейки не пропадало.

Однажды, все-таки, перетрусил. Летом 1933 года — Судострой тогда работал в шести километрах от Чибью — пошел я вдоль Ухты на Радиевый промысел рассчитаться с па-

ртией лагерников отправленных туда этапом с верфи. Иду каменистым бережком, поросшим густым лиственным лесом, подмышкой коробка из-под халвы с деньгами, что-то около двух тысяч. Иду и не думаю, что вокруг всякие люди шляются. Укокошат и следов не оставят. Не лезли в голову такие мысли. Уж больно хорошо было вокруг. И зеркальная поверхность Ухты, и птички, и узкая тропинка в прохладной тени, и таежный воздух, распирающий грудь.

Пришел на промысел. Куда там нашей верфи. Действительно, предприятие! Со всех сторон проложены к гигантским бочкам деревянные трубы, а по ним журча бежит радиоактивная вода из буровых скважин! Десятки каких-то зданий, еще не готовых. Лаборатории. Изолятор. Городок, а не концлагерь. Всюду кишат люди. Тысячи. Однако, разыскал своих. Честь-честью рассчитался. Обменял на валюту булавки, которые на этой бирже не котировались, проверил остаток — 860 рублей и сунул его обратно в коробку.

Возвращаюсь прежней дорогой и вижу у берега плотик из четырех бревен, а на нем трава. Чего, думаю, ноги мозолить! Поплыву. Течение быстрое, к вечеру доберусь. Надо мной не каплет... Отчалил. Сунул коробку в изголовье, прикрыл травой. Лежу на спине, плыву и любуюсь июльским небом. В голове разные лирические мысли копошатся. Невольно проникаюсь благодарностью к лагерному начальству за доверие к нашему брату-арестанту. Следователь — тот определенно негодяй и сукин сын, запрятал меня по пустякам на десять лет, — а Мороз и Берзин, начальник финансового отдела, славные люди. Тысячи мне доверили. И я их за это ни на копейку не обжулил. Как-то и не думается вовсе, что дело совсем не в том, хорош Мороз или нет, а в том, что на Судострое больше некому доверить кассу. Не ставить же кассиром техника по постройке барж! Или растратчика. В те годы в Ухтпечлаге был большой голод не только на специалистов и вольных, но и вообще на грамотных людей.

Убаюканный мирным течением воды и мысли, я задремал. Вечерняя прохлада реки, прознобив, разбудила меня. Так же, как днем уходили назад берега с таежным лесом, так же чист и тих был воздух.

Я повернулся набок. Но что это?!. Мать честная! А где же коробка? Туда,сюда, — нет коробки. Что делать? 860 рублей! За пять лет не отработаю. А позор! Что подумает Маслеха, как посмотрит уполномоченный 8-ой части! Скажут: растратил, а теперь на потерю ссылается. Даже в пот бросило.

Взгляд пытливо исследует поверхность реки. Вон там, сзади, что-то непонятное. Не то щепка, не то обрубок. А может она — коробка? Я, как был, соскочил в мелководную и холодную Ухту и, разбрызгивая воду, побежал навстречу приближавшемуся предмету, забыв про плот. Так и есть! Она! Коробка! Сердце замирает. Не пустая ли? У сонного

выкрали, а потом порожнюю бросили в реку. Я судорожно срываю крышку. Ура! Целы! Во сне, значит, сам столкнул ее в воду. Ну и ну! Была бы история!

Простота у нас в те годы была поразительная. Кассу проверяли раз в три месяца. Заранее предупредят: «Приготовьтесь к ревизии кассы». Вот тогда я и начал бегать, как ошпаренный. Сердце мягкое, — пораздашь под расписки кому десять, кому двадцать рублей, а потом сам упрашиваешь: «Не подводите! Верните хоть для ревизии!» Но ничего — обходилось.

Заглянешь, бывало, в Кожвинский кооператив, а туда как раз конфеты привезли.

— Почем?

— Четыре двадцать за кило.

— Сколько в двух ящиках?

— Тридцать два килограмма.

— Беру. Вот 134 рубля 40 копеек. Выпиши счет Судострою.

В другой раз макароны подвернутся или мясные консервы. Тоже закупаю. В кармане на эти случаи всегда есть деньги.

По закону, кожвинский кооператив не имел права продавать лагерю продукты. Он получал их для своего населения, а не для арестантов. Однако, блат ломал все законы. Заведующий кооперативом отпускал нам сладости и съестное, а мы ему китайский чай и трикотажные изделия и папиросы из фондов вольнонаемных и спецпереселенцев.

Такими «комбинациями» улучшалось питание на Судострое. Каждую неделю из ларька отпускались выписки за наличный расчет сверх лагерных ларьковых фондов. Разумеется, все эти финансовые манипуляции по кассовой книге не проводились. Зачем копать себе яму? Сдашь, например, конфеты в ларек, а через три дня получаешь оттуда деньги — 134 рубля. Счет на клочки. Ведомость на отпуск конфет тоже. Поди докажи, что тут антигосударственная товарообменная операция Судостроя с Кожвинским кооперативом! Да и кто пойдет стучать! Тут никакой политики не было.

Таким же незаконным путем закупали оленей. Надо сказать, что в декабре из самоедской тундры стада оленей перегонялись за сотни километров, в район истоков Кожвы. Тут и зима была мягче, чем в тундре, и оленьего моха больше. Весь декабрь по Кожве шли эти стада, оставляя за собой плотно утрамбованную дорогу и густое испарение от десятков тысяч тел животных.

По этой части подвизался помощник Маслехи — Болеслав Павлович Козловский, управляющий делами «Красного Треугольника» в Ленинграде, тоже отбывавший пятилетний срок за халатность.

— Михаил Михайлович! Поезжайте в Кожву, купите

пять... нет, шесть литров спирта. Завтра проходит последнее стадо. Надо запасаться мясом.

На другой день Козловский отправлялся с литровкой к оленеводу стада остановившегося на дневку вблизи верфи.

Возвратившись поздно ночью, Болеслав шепчет:

— Уломал на пять штук. Туши нам, шкуры ему. Давай пять литров...

Так за 18-рублевую литровку мы «покупали» целого оленя в 50 килограммов, который, по государственной цене, стоил не меньше 40 рублей.

Оленеводы состояли на службе: стада были государственные, и только спиртом можно было согреть сердца. По всему северу существовал государственный запрет на продажу спиртных изделий оленеводам. Местное население каралось тюремным заключением за перепродажу им спирта. Вот мы и воспользовались выгодной конъюнктурой, по дешевке обеспечив себя и всю верфь олениной. Вышло, в среднем, по килограмму на человека. При месячной норме Ухтпечлага в 1800 граммов мяса на человека, этот килограмм являлся хорошим подспорьем. Олени были государственные, мы — тоже. Надо же было как нибудь крутиться!.. Лагерник дороже оленя. Новый олень подрастет за год, а нового заключенного целых восемнадцать лет ждать! Нет, мы определенно защищали государственные интересы!..

Через месяц, выплачивая премвознаграждения, я удерживал с каждого по сорок копеек.

— За что вывертываешь?

— За оленью рагу. Получал?

— Конечно. А когда еще дадут?

— Весной. Когда оленей в тундру погонят. Понял?...

Но до весны многое изменилось. Я уже не был кассиром. Пришла категорическая директива ГУЛАГ'а: снять заключенных с этой должности. За кассу села жена Маслехи.

У вольных поджилки перед законом дрожат сильнее. Связь с Кожвинским кооперативом прекратилась. На верфи подтянули пояса.

Глава 9

Лагерная любовь

— Что ж ты ломаешься? Не с первым — не убудет!..

— Боюсь, как бы не засыпаться. Накроют...

— Со мной то? Вчерась только привез ротному из деревни спиртяги. Свой парень — не подведет, — уговаривал Нюрку плечистый и разбитной бригадир конного обоза, Лешка Ткач, тверской хулиган, соскучившийся по теплой и нежной девичьей ласке.

...После отбоя, часу в десятом, когда из бараков разносился храп и кашель, а ротный с дежурным по конвою в конторе подводили итоги проверки, чья-то фигура прокрадывалась в темноте от женского барака к конюшне.

Как благовоспитанный кавалер, Лешка, перед входом в конюшню, встретил Нюрку и, не тратя слов и времени, потащил ее в клетушку старшего конюха.

— А ты, Почкин, пойди-ка лучше к лошадям, да засыпь им овса, а чтобы не продрог, на-ка вот.., — с этими словами Лешка вытащил из кармана бутылку.

Почкин, опорожнив кружку, крякнул, и, подложив в печку смолевых сучьев, вышел.

— Не торопись возвращаться-то, — крикнул ему вслед Ткач.

— Чего учишь! Не впервой для вашего брата!.. — пробурчал конюх.

Оставшись с Нюркой, Ткач заботливо осведомился:

— Озябла? Тело то, поди, как у лягушки. Скидай брюки, да нагревайся, пока я место налажу. Вот тебе водка, а вот и закуска, — добавил Ткач, выгружая из карманов тарань, пряники, колбасу и квашеные помидоры: — готовь, да побыстрее. Нечего время терять — не дома...

Вскоре тусклый свет фонаря в клетушке потускнел еще больше. Амур прикрутил фитиль...

А через полчаса дюжий комендант с дежурным стрелком тащили Лешку и Нюрку в арестантскую избушку для

охлаждения чувств... «на пять суток с выводом на работу за нелегальное сожительство», как гласил на утро приказ по командировке II лагерь 3-й дистанции ОСУ СЛАГ. Почкина же, «за соучастие», сняли с теплого места и назначили в лесорубную бригаду.

По дороге в изолятор Лешка молчал, зато подруга его дала волю злости:

—Знаем, знаем кто настучал! — кричала Нюра на весь лагерь: — Машка Свиридова. Завидно, стерве, что не с ней договорились. Подожди, лахудра, выпустят, проткну тебе твои лупилки бестыжие... у, задрыга завидущая!.. Тут было перечислено много и других, более сильных прилагательных, не принятых к употреблению в печатном деле.

* * *

К счастью, Машка осталась зрячей. Поругалась с ней Нюрка, но до драки не дошло. Помирились блатные. А вот Лелечке Савельевой — кто ее не помнит по арестантской Печоре! — любовь обошлась дорого. Лелю в 1932 году пригнали в Чибью этапом за растрату профсоюзных средств в Ленинграде на «Красном Треугольнике». Ну, и решила девушка, чтобы обеспечить себе легкую работу, взять пример с других: обзавестись хахалем из лагерной администрации. «Покровитель» из конвоиров, комендатуры, нарядчиков или прорабов всегда устроит свою «зазнобу» на теплое место: на починку белья, в кухню, санитаркой или уборщицей у начальства. А Леле дали 10 лет! Без блата, оплаченного телом, их не выдержать: либо ревматизм, либо воспаление легких сведут в могилу. Ротному Казявкину свежий товар пришелся по душе. Катька его пошла искать нового покровителя.

В один из майских дней женщины, как обычно, сидели в сарайчике на берегу Ухты и чистили картошку, развлекаясь скучными для читателя разговорами.

— А что же, Лелька — обратилась к ней Катя — твой то хахаль не устроит тебя в контору? Ты, ведь, из партийных, грамотная.

— Мне и тут не плохо.

— В конторе получше кормят.

— Я не голодная...

— Видим. Ты за чулки, да за платья. Чем с тобой Козявкин то расчитывается?

— А вот посмотри.., — задорно ответила Лелька, показывая новые голубые трусики: — Не тебе-ль припасены были?

Катерина медленно встала, обтерла о мешок руки, и, подойдя к Леле, промолвила:

— Ну-ка покажи еще раз, что-то не разглядела.

Лелька хотела было снова поднять юбку, но в этот момент Катерина, со всей ловкостью и силой, ткнула ей указательным пальцем в лицо.

— Ай-ай-ай! Глаз! Глаз пропал! — взвизгнула и закрутилась от боли Леля.

Катерине за это добавили год нового срока, а Леля так и осталась кривой на всю жизнь, утешаясь, как она сама говорила, тем, что: «Хоть один глаз, зато такого красивого во всем Ухтпечлаге нет».

Козявкина вскоре перевели на радиевый промысел. Лишившись «блата», окривевшая Леля пошла по рукам, и за это начальство, по лагерной традиции, постоянно перебрасывало ее с командировки на командировку. Через пять лет, в 1937 году, Лелю пригнали к нам на Печорский Судострой. Постаревшую, измызганную. От прежней соблазнительной Лели, которой когда-то иные даже писали стихи, остался только этот большой, черный, с синим отливом, глаз, да и тот уже не излучал смеха, а глядел то настороженно и зло, то жалобно и тоскливо. Так «перековали» веселую Лелю!

*

Вправе ли мы осуждать Лелю и Нюрку? При всем кажущемся цинизме их «любви», в моей душе, как у каждого испытавшего лагерь, нет им упрека. Зато я готов обозвать последними словами жену одного миллионера — эмигранта (ввиде исключения опускаю ее фамилию, как известную почти каждому российскому эмигранту), которая, в 1931-1932 годах, на Соловецком острове, сменила четырех любовников, хотя она имела все — и легкую работу и заграничные посылки. Она бесилась от жира, а те своей «любовью» оплачивали существование, быть может — жизнь.

— Вот это и есть типичная лагерная «любовь». А любовь в лагере, любовь со слезами, письмами и красивыми словами, встречается не каждый день. Лагерь приучает не любить, а ненавидеть.

* * *

«Любовью» в лагере обычно расчитывались за право на сносную жизнь. Этот закон не признает различия между княгиней и воровкой. Спасает женщин лишь помощь денежными переводами и посылками от родных, преклонный возраст, или специальность медика, техника и конторского служащего. Формально, по циркулярам, «лагерное сожительство» запрещается, но фактически, до 1938 года, начальство смотрело на него сквозь пальцы, потому что «сожительство», как и колонизация, было в интересах ОГПУ-НКВД. «Мужья» из лагерной администрации, как правило, более рьяно выполняли свои функции, тем самым защищая лагерные интересы, а в те годы для Москвы и начальников лагерей это было важнее буквы закона.

Так, в конечном счете, «любовный либерализм» НКВД бил по рядовым арестантам, то есть по массе, которая мечтает о хлебе и отдыхе, а не о женском теле.

Вообще, в советских концлагерях женщин мало. До 1937 года они составляли 6-7 процентов лагерного населения и распределялись по лагерям равномерно. После «ежовщины», процент женщин поднялся до десяти, но вместе с тем появились новые, специальные женские лагери, как, например, пошивочные в Сибири или сельскохозяйственные на Севере.

Гомосексуализм, довольно распространенный на царской каторге, где сытно кормили и не убивали работой, в концлагерях встречается редко. Оба известных мне случая (в 1937 году, в Покчинском изоляторе) были актами мести уголовников, а не половой извращенности. В первом случае невольной жертвой оказался бывший районный прокурор из Белоруссии, а во втором — оштрафованный дежурный комендант командировки, бывший чекист, плохо относившийся к заключенным. Пострадавшие промолчали, опасаясь за свою жизнь. Так, своеобразно, пользуясь случаем, мстит уголовный мир ретивым слугам режима.

Глава 10

Скотство со скотом

Вместе с двуногим населением тяготы лагерной жизни переносило и четвероногое.

Я не про собак. После того, как с 1932 года ГПУ принялось сокращать нормы довольствия заключенных, собак на командировках не стало. Всех полопали. Остались одни конвойные ищейки, да и те порою делили участь своих исчезнувших сородичей. В таких случаях по баракам носились конвоиры, заглядывая в котелки и под нары. Но урки — это они чаще всего охотились на собак — оставались неуловимыми. Собаку ищут на командировке, а она в лесу, за километр от лагеря, уже варится в ведре. Ни шкуры, ни потрохов — чистая работа! Псы пропадали, будто сквозь землю. Ненавидели урки ищеек!

Нет, я не о псах. Я про лошадей. Экономическая политика не щадила и рабочую скотину. Первое время — до 1932 года — лошадей кормили на убой: в сезон работы на день 8 килограммов овса и 12 килограммов сена. Тогда-то они и отворачивали морды от перловой каши с лагерной кухни. Но затем ГУЛАГ занялся систематической стрижкой норм фуража. В 1941 году, в разгар лесовывоза, на лошадь давали только 2 килограмма овса и 5 килограммов сена, и то не везде! А лошади были сильные, рослые — лагерь покупал их у военного ведомства. Кормушки зимой за неделю изгрызались дочиста. От голода и тяжелой работы лошади на лесозаготовках к весне представляли жуткую картину: на выпирающих ребрах какая-то шелудивая шкура с редкими пучками волос, холки набиты, на ногах, шее, спине — повсюду гнойные раны. Одним словом, не лошади, а сущие одры для живодерни.

Бить лошадей строго запрещалось, но кто ж уследит за каждым возчиком? Вместо кнутов хлестали толстыми сучьями. Такого «овса» в лесу хватало.

Добредут лошади до конюшни, проглотят черпак овса и охапочку сена, погрызут кормушки и, понурив головы, думают свои невеселые думы, — «газету читают», как говорят на лагерном жаргоне.

Весной всегда развивался падеж, уносивший до 20 процентов конного транспорта Ухтпечлага. Лошади на лесовывозе и постройке дорог выдерживали не больше 4-5 лет.

Правда, на хозяйственных работах — обслуживание лагеря, зимний гужевой транспорт, — было лучше, упитанность и здоровье лошадей сохранялись круглый год. О выездных конях начальства и говорить нечего: они блестели глянцем. Впрочем, что ж тут удивительного?! Советская закономерность: кто, действительно, работает, тот едва таскает ноги: кто болтается под ногами, тот живет с грехом пополам, а кто присосался, как тля, тот катается, будто сыр в масле.

Все же о лошадях НКВД беспокоится больше, чем о людях. Для них есть норма площади в конюшне, лошадей каждый месяц осматривают, устанавливая новую категорию работоспособности и упитанности, наконец,, с мая, после лесовывоза, одров выгоняют на луга. До зимы лошади снова обрастают шерстью, раны затягиваются, ребра исчезают. И если лошади все же упорно дохнут, то «исключительно из-за трудностей освоения севера», — как пишут в отчетах.

Раскроем кстати тайну, скрытую большевиками от остального мира. Многолетней практикой концлагерей доказано, что березовые прутья пригодны не только на метлы и для наставления шалунов, что известно издревле, но и для корма лошадям.

По всем концлагерям, от финских скал до Охотского моря, как осень, так трещат березы. До весны идет «сенокос» . . . Тысячи лагерников - инвалидов топорами делают из них мелкую окрошку, другие сотни у костров, в котлах или бочках парят ее. Каждая лошадь получает зимой на «дессерт» от 2 до 4 килограммов распаренных веток, — которые, будто бы, и заменяют недостающее сено и овес. Не будучи по природе лошадью, не берусь утверждать ни «за», ни «против».

Известно одно то, что новый вид фуража вызывает болезнь, похожую на ящур, но, видимо, она не так опасна, иначе наркомат земледелия и сам Совнарком не рассылали бы по колхозам и совхозам директив «о своевременной подготовке к кампании по обеспечению живого тягла древесным с е н о м». Это ли не доказательство прогрессивного влияния концлагерей на передовое коммунистическое коневодство! Но, как известно, от хорошей жизни на березы не лазают . . .

В период всеобщего сверхзаворота мозгов — в 1937 и 1938 годах — некоторые прозорливые НКВДисты усмотрели

за веточным кормом вредительскую вылазку классового врага. Несколько десятков директоров и председателей колхозов и совхозов переселились в концлагери. Газеты громили сторонников березового сена. Но... без веточного корма падеж лошадей еще более возрос. Сена не было совсем, а березу заготавливать боялись. Кремль и НКВД срочно пересмотрели и выправили свою фуражную генеральную линию. Заключенные и колхозники снова полезли на березы. Иные ломали прутья и, может быть, думали, что хорошо бы ими да кого следует...

Часть III

ПЕЧОРСКИЙ СУДОСТРОЙ

(1936-1939)

Глава 11

Тришкин кафтан

Новый Судострой Ухтпечлага в Покче, на Печоре открыли так же, как и старый, что в Кожве. Как сотни других предприятий страны.

22 сентября 1935 года, от имени ГУЛАГ-а, Мороз приказал за неделю подыскать на верхней Печоре место для постоянной верфи, с ежегодной программой в 50 тысяч тонн барж.

24 сентября для этой цели послали на самолете прораба-заключенного Жаворонкова.

29 сентября он уже телеграфировал, что более подходящего участка, чем Покча, не нашел.

2 октября пароход взял в Кожве людей, имущество и продовольствие и 8 октября выгрузил их на новом месте.

15 октября доставили еще 800 свежих заключенных, не видавших ни барж, ни леса, ни топора, — московских интеллигентов и уголовников. Ни бараков, ни палаток. Тайга и вши, дождь и снег.

20 октября Печора замерзла, и все грузы для Судостроя застряли в сотнях километров от верфи.

А 15 ноября Мороз уже сообщал:

> «Сих пор не имею сведений ходе баржестроения. Молнируйте количество построенных тонн передачи Москву».

Все шло с кинематографической быстротой. Еще раз оправдалась поговорка: «Поспешишь — людей насмешишь». Но люди не смеялись, а плакали. Судострой «осваивал» тайгу в тех же условиях, в которых мы оказались на Лоухи-Кестеньском тракте в 1930 году. Но там все же было проще, знай — ковыряй землю, а тут сложное производство. Нужны и специалисты, и технические материалы, и оборудование, и сырьевая база — лес.

«Авоська» не вывезла. Правительственная программа баржестроения оказалась сорванной. Вместо 52 барж, пост-

роили только 27. Пришла пакля, — нет гвоздей, привезли гвозди, — нет болтов. Вчера еще росло дерево, а сегодня из него вручную напилили досок и обшили ими ребра барж. Через два месяца доски рассохлись. Снова конопатить!.. Баржи плавают у берега, а сдать их пароходству нельзя. Рули еще на берегу. Их не на что навесить. Нет петель. Железо для них, оказывается, ошибочно завезли за тысячу километров — на Воркутский рудник. Когда-то там разберутся!.. Пархомов недавно читал лекции о Канте и Гегеле в институте философии, а тут он дубасит колотушкой по нитям пакли, имея случай на практике сравнить идеализм с материализмом.

— Михаил Михайлович! Будьте любезны, одолжите три гвоздя пришить последнюю доску. Не откажите в услуге! — вежливо упрашивает инженер дирижаблестроения своего соседа по барже — редактора «Последних новостей по радио» Пионткевича.

— Под честное слово — завтра вернуть! — ставит условие Пионткевич.

И дирижаблестроитель, и редактор одинаково хорошо знают, что без гвоздей не сделать нормы, без нормы не получить полного пайка, а без пайка готовься в лазарет.

«Тришкин кафтан» трещал по всем швам. Производственный бедлам продолжался из месяца в месяц.

И что всего возмутительнее — это то, что такой метод работы величают «героикой освоения нового производства на Севере!». Самым тяжким преступлением был бы голос обвинения против тех, кто вверг Судострой в эту мерзкую производственную свистопляску — против Москвы и Управления лагерем. Но для того и выдуман лозунг «большевистской критики и самокритики, чтобы удары недовольства падали не на систему, а на жертв ее — на бригадиров, десятников и цеховое начальство. Вину и виновных во всех прорехах допускалось искать только внутри самого Судостроя. Боже упаси, тыкнуть пальцем даже на Управление лагерем. Так вцепятся, что не оторвешь.

А критиковать, тем не менее, надо. «Самокритика — оружие эпохи»... Что же иначе делать на бесконечных разнарядках *), собраниях и слетах? Вот и сваливают вину один на другого.

— Мне Семенов сегодня не дал досок. С чем же я могу выполнять суточный план? — оправдывается бригадир Шарапов.

— А откуда я ему возьму досок, коли мне бревен не подвезли? Не воздух же пилить! — горячился Семенов.

— Тихо! — прерывает начальник Судостроя. Послуша-

*) Разнарядка — ежедневное совещание у начальника предприятия.

ем заведующего транспортом. Почему сегодня, вместо плановых 120 бревен, привезли всего 79?

— Нехватило лошадей. По плану на лесовывозе сорок, а работало только 28.

— Как так!? — поражается начальник.

— Очень просто. Пять лошадей, по вашему приказу, отправлены за валенками, а семь назначены ветеринарным врачем на отдых по истощенности.

— Я не приказывал снимать лошадей с лесовывоза! Надо было их взять из хозяйственного обоза.

— Все заняты на подвозке продовольствия и фуража. Я утром докладывал вашему помощнику, он и приказал взять лошадей с подвозки леса.

— Товарищи! — поднимается начальник культурно-воспитательной части Федоров. — Так мы никогда правды о причинах позорного срыва почетной программы не вскроем! Это нехорошая, несоветская, небольшевистская черта — кивать с Петра на Ивана. Я спрашиваю товарища Шарапова, где он был с бригадой после обеда, когда кончились доски? Я отвечу, я сам видел. Он поставил свою бригаду на очистку барж от щепы. Подумайте сами хорошенько, сможем ли мы выполнить правительственное задание, если у нас даже плотники-баржестроители занимаются черной работой? Товарищ Шарапов, почему вы, оставшись без материала, тотчас не пошли сигнализировать о том к начальнику Судостроя или ко мне? Мы нажали бы на пильщиков, наконец, дали бы бригаде более продуктивную работу. Не правда ли, товарищ начальник?

Хотя инженер Ухлин *) отлично понимает, что вся речь Федорова — одно казенное пустозвонство, однако он утвердительно кивает головой. Вслед за Ухлиным и все награждают оратора аплодисментами. Малограмотный, недалекий, но работящий Шарапов мнет шапку и молчит, будто он и есть главный виновник.

Изо дня в день, до поздней ночи, гоняют «низовых командиров производства». Каждому до смерти хочется спать, но еще не всех «проработали». Год такой «перековки», и у человека рождается ненависть к труду и способность увертываться от всяких обвинений.

Слеты ударников и стахановцев казались веселее. Ради таких случаев устраивали платное угощение с «любительским» джазом. Красные полотнища пестрели теми же лозунгами, что и по всей стране. По бокам клубной сцены (построили и клуб, но за счет сверхурочной и воскресной работы) во весь рост красовались портреты наших «вождей» — Бермана и Мороза. Для бессемейной и материально обеспе-

*) Начальник Судостроя в 1936 году, сын Ленинградского рабочего, военный инженер, отбывавший до 1934 года трехлетний срок в Ухтпечлаге «за контрреволюционный саботаж».

ченной части заключенных эти слеты и вечера были приятным разнообразием. Но девяносто процентов состава верфи в клуб не заглядывали. Танцульки не лезли им в голову. Они думали о семье и отдыхе. Клубом пользовались бесшабашные уголовники да бригадиры с техническим персоналом.

Впрочем, верфь больше походила на обычное производство, чем на концлагерь. Ни проволоки, ни вышек, ни строя. Клумбы, дорожки, трибуна, громкоговорители, черные и красные доски — все как «там», на воле. Однако, это мало помогало выполнению программы.

Тем временем лагерная пропаганда по обязанности старательно убеждала рядовых заключенных в том, что. будто бы, корень всех безобразий — в местном руководстве, а не в хозяйственной системы страны. Рассказать же об истинных причинах никто не смел. Это было бы неслыханно!

Словом, все благоприятствовало тому, чтобы посадить руководство судостроя. Одним ударом убивалось два зайца: выгораживались Москва и Мороз, и наживался некоторый политический капиталец среди неразвитых заключенных. Все козыри держал НКВД.

Если в середине производственного года отдать руководство Судостроя под суд, то от этого НКВД ничего не выиграет. Новое начальство, будь оно семи пядей во лбу, барж из воздуха не построит. Значит, выждут подходящий момент. То была подлая игра в кошки и мышки. Мы с завязанными глазами сидели на бочке пороха с зажженным фитилем, не зная, когда он догорит.

Дернула же меня нелегкая в декабре 1935 года согласиться уехать из Усинской водной группы, чтобы «возглавить» контрольно-плановую часть Судостроя!

«Влип»! — решил я, осмотревшись на новом месте, а идти на попятный поздно. Так легко это не удается. Надо либо вконец перессориться с начальником, либо наговорить горьких истин управлению лагеря. И то, и другое пахло, в лучшем случае, отправкой на лесозаготовки.

Пытаясь перехитрить власть, я дважды, 8 июля и 11 ноября 1936 года, с ведома начальника Судостроя, написал уполномоченному 3-й части Филимонову докладные записки о причинах срыва планов и о том, что в таких условиях я не могу отвечать за них.

Но ничто не спасло. В мае 1937 года, в самый разгар «чистки вредительских гнезд», вместе с руководством Судостроя, посадили и меня.

Мороз сдержал свое слово: «либо ордена и свобода за выполнение программы, — не раз повторял он начальству, — либо следствие и суд за срыв ее!».

А чем строить? Не только завозных технических материалов, даже основного местного сырья-леса и того не было.

Всего, что росло вокруг верфи, едва хватило на пять тысяч тонн барж. Лесозаготовительная командировка Судостроя «Курья», открытая в марте 1936 года в 250 километрах выше верфи, выполняла планы по вывозу леса всего на 40-45 процентов, а по сплаву и того хуже, — на 10-15 процентов.

Самым разумным было бы приказать в 1935 году построить лагерь и обследовать лес, в 1936 году обеспечить его всеми техническими материалами и продовольствием на целый год и обучить людей баржестроению, а уж с осени взяться за программу. Вот тогда бы работа шла нормально, из года в год не изнуряя рабочих и не изматывая нервов техническому персоналу.

Но в Москве не ломали головы нам тем, успеет ли Судострой за несколько месяцев получить всю технику, заготовить лес, переквалифицировать интеллигенцию и воров в баржестроителей и к сроку построить с ними баржи. Сообщили задание, и все! Утвержденные Москвою планы по закону не подлежат ни обсуждению, ни критике, ни пересмотру. В таблице плановых заданий все «увязано», и нельзя изменить ни одной цифры, иначе все расчеты пришлось бы начинать сызнова.

Оказывается, как вскоре выяснилось, в 1936 году с Воркуты должны были вывезти в баржах двести тысяч тонн угля. У Печорского пароходства для этой цели нехватало барж. ЦК и правительство приказали: построить 30 тысяч тонн барж! Госплан запланировал эту цифру, а Ягода, начальник НКВД, принял ее к выполнению. Но это еще полгоря. Воркутский уголь шел для Северного Морского флота, а флот получил задание завести продовольствие народностям крайнего Севера, Сибири, взять от них пушнину и доставить в лагери крайнего Севера десятки тысяч заключенных и грузы для лагерей. Без угля срывались бы планы перевозок и развертывания концлагерей. Вся жизнь Севера зависела, таким образом, от Судостроя. Вон куда шли концы нашего «дела».

А кто виноват во всем? Политика в системе планирования. В Москве исходят в планах не из того, что возможно сделать, а что д о л ж н о, рассчитывая покрыть разрыв между ними, с одной стороны, страхом административно-технического персонала перед ответственностью, а с другой — «социалистическим соревнованием». Они-то и считаются главными двигателями производства.

Кто боится, тот лучше работает. Эту циничную истину большевизм и проводит на практике, создав для нее самую подходящую почву: жестокие всеобъемлющие законы и систему управления, основанную на силе приказа и страхе ответственности. Чем больший слой советской интеллигенции подчинен чувству страха, тем лучше общие результаты. Эта закономерность одинакова и для производственной ителлигенции, и для партийной, и для занятой в области культуры.

Именно с этой главной целью — заразить страхом — на сцене СССР от времени до времени и ставятся кровавые трагедии с «вредительством», «шпионажем» и «чисткой». Заодно эти трагедии удобно покрывают неуменьe власти организовать и улучшить жизнь народа, направляя по ложному пути его недовольство вечной бедностью.

Так поступили и с нами. На Судострое за пороки большевизма ответили трое: начальник, старший инженер и я. Только по счастливой случайности — Москва продолжала держать Судострой в прорыве до 1941 года — мы освободились из лап власти Законного Произвола.

Начальник Судостроя, инженер Ухлин, в душе, несомненно, чувствовал свой жребий и попытался обойти его обычным и законным советским способом: выехать на других. С этой целью на лесзаг «Курья» в ноябре 1936 года снарядили комиссию. На лесзаге тогда четвертая часть людей сидела в бараках, без обуви и одежды, лошади от истощения дохли одна за другой, план и нормы не выполнялись, вместо трудолюбивых «колхозников», на лесзаг прислали отъявленных лодырей-уголовников. Комиссия про это умолчала, собрав для акта только склочный материал, чтобы показать, будто руководство лесзага спустя рукава относилось к своим обязанностям и этим сорвало план баржестроения, не обеспечив верфь лесом. Акт выгораживал и Ухлина, и Мороза, и ГУЛАГ. Все руководство лесзага пошло под суд, получив новые сроки заключения. Жаворонкову добавили 10 лет «за халатность»! Обычно подобные истории на том и кончаются. Но Морозу и начальнику 3-го отдела Черноиванову этого показалось мало. Они взялись и за руководство Судостроя, чтобы, с одной стороны, еще лучше выгородить Управление лагеря а с другой — не отстать от начатой «кампании по борьбе с вредительством». Как лесзаг не спас Ухлина, так и Ухлин не спас Мороза и Черноиванова. Дошла очередь и до них, только, конечно, не из-за какого то поганого Судостроя.

* * *

Следующие главы — не только очерки Судостроя. Это обычная история одного из типичных новых предприятий второй пятилетки.

Глава 12

Командарм куралесит

Собственно говоря, чего ради спешить? На этой верфи в Покче, куда меня направили на должность старшего экономиста, нет ни бараков, ни бань, ни теплой конторы. Разделить что ли общую участь — мерзнуть и кормить вшей в темных и сырых землянках? Нет уж, благодарю покорно! Пусть обстроятся да производство наладят, тогда и явлюсь. Ну их!

И вот я оседаю на полпути, в Усть-Усе. Вполне законно. Не подкопаешься! В кармане справка районной больницы: «Заключенный Розанов, ввиду перенесенной холерины, нуждается в десятидневном покое и регулярном горячем питании».

Другой благодетель квартиру обстряпал. Ну, это, правда, слишком громко сказано — «квартиру». Не квартиру, а всего-навсего теплый угол с клопами и самоваром у зырянина. Однако, я доволен. Так срок отбывать еще можно — ни начальства, ни подъемов, ни работы.

За окном—45 градусов, от холода вся Уса укуталась в туман и дым. Куропатки, и те позабивались в снег, но в избах хоть парься, уж таковский народ эти северяне. Любой мороз и непогоду выдержат. При пятидесяти градусах старики идут за санями, отбросив капюшон савика, им тепло. Зато избы всегда натоплены так жарко, что тараканы, и те не ежась гуляют по полу, от печки до самых дверей.

Тоска в Усть-Усе жуткая, только и развлечения, что сидеть у окна да глазеть на случайных прохожих. Командированные сюда Москвою «для укрепления советского аппарата» обычно не выдерживают этой мертвячины и спиваются. Единственная отрада — преферанс.

Я помогаю убить время тем, кто снабдил меня справкой и обеспечил ночлегом. Один из них представитель Ухтпечлага. другой представитель его Печорского отделения. Лагерники еще молодые, но калачи уже тертые. Всюду про-

лезут и все, что нужно, достанут. Первый был на воле представителем какого-то синдиката на Украине, второй личным секретарем Наркомторга СССР Микояна. Третьим партнером по преферансу оказался комендант местного аэродрома Ухтпечлага Абрасонис, дюжий балтиец, лет около 35. Когда то он командовал авиоэскадрильей под Ленинградом, но в 1929 году его оттуда «перевели» в концлагерь на 10 лет, по 58-й статье, за шпионаж. Шпионом он, разумеется, не был, но имел, к несчастью, родственников в капиталистической Прибалтике, которые изредка посылали ему приветы. Этого оказалось более чем достаточно даже для проверенного коммуниста.

До 1935 года Абрасонис водил лагерные самолеты, но бдительность вдруг всполошилась — «А ежели улетит в Балтику или Польшу? Кто ответит? — Мы! Кто допустил шпиона к рулю самолета? — Мы!».

Абрасониса «приземлили» — перевели на аэродром. Наняли вольных летчиков, они, конечно, тоже могут улететь, но... предполагается, все-таки, что не каждый «вольный» норовит сбежать. Другое дело — арестант.

Обходились вольнонаемные дороговато и проявляли склонность к авариям. Мороз с ними не летал—побаивался. Он пользовался правительственными самолетами, либо выжимал по 200 километров в сутки из лошадей, загоняя перекладных без особенной к ним жалости.

Однажды вечером Абрасонис привез мне новость:

— Твой начальник спустился сегодня.

— Ухлин? Из Покчи?

— Нет, другой, новый. Авксентьевский.

— Откуда?

— Прямо с Воркуты. Был там начальником рудника. Сам Мороз послал его в Покчу.

— А Ухлин?

— Остается помощником у Авксентьевского.

— Когда ж он улетает в Покчу?

— Когда проспится.

— Пьян?

— Как стелька. Едва его из машины вытащили.

— Что он за человек?

— Как, ты о нем ничего не слыхал?! — удивился Абрасонис. — Видно, не читал истории гражданской войны. Стыдно не знать командующего армией, наступавшей на Крым.

— Ишь, какие орлы залетают на Печору баржи строить! На какой же срок и по какой статье?

— Что ты?! Он чист, как голубь. Вольнонаемный, на груди три ордена Боевого Красного Знамени и всякие именные подарки от Совнаркома и от ЦК — золотое оружие, часы. Встретишься — покажет. Он любит хвастнуть.

— Какой же чорт занес его на Печору?

— Не чорт, а Иосиф Виссарионович Сталин прислал его нашему Морозу под надзор.

— За партийный уклон?

— За уклон в беспробудное пьянство и разврат. Спился, без водки дня не протерпит. Куда только Сталин не пристраивал его! Раз послали в Берлин, военным атташе. Зашел он в ресторан на Курфюрстендам, напился и давай пустыми бутылками по зеркалам лупить да из нагана в потолке дырки просверливать... Убытки — ерунда, посольство оплатило. Главное — опозорил на всю Германию. Увезли обратно в Москву.

— Ты бы посмотрел, — продолжал Абрасонис, — как Авксентьевский в свое время приказы по армии диктовал. И смех, и грех! Где-нибудь в станице, в саду, при штабе армии, поставят метров через тридцать один от другого два столика, а на них графины с водкой и соленьем. Прохаживается Авксентьевский от графина к графину, прихлебывает и диктует машинистке дислокацию: «Владимировцам занять село Лебяжье, а Липецкому кавалерийскому...» и прервет диктовку, завидя курицу: «Ты, кричит, как смела без доклада войти?». Вытащит наган, хлоп! — и нет курицы. Машинистка трясется от страха, а он продолжает диктовку далее, пока не налижется до положения риз.

Старый алкоголик. Ничем не вылечишь, все перепробовали. В лечебницы помещали — сбегал. Одному доктору, пытавшемуся подействовать гипнозом, глаз вышиб. Разве такого гипнозом проймешь? Впрочем, пьянство еще полбеды Но разврат?... В пятьдесят два года!... Докатился до того, что изнасиловал собственную дочь! По всей Москве разговоры. Судить его как-то неудобно, — все-таки, герой, историческая личность, верен Сталину, — но и в Москве держать тоже невмоготу. Вдруг выкинет что-нибудь похлеще? Отовсюду Сталину жужжат в уши про Авксентьевского. Вот он и направил командарма сюда, в «почетную ссылку», под опеку Мороза.

— На какой же срок?

— Бессрочно. Пока Мороз не доложит Сталину, что Авксентьевский утихомирился. Вот отчего он и побаивается Мороза. Его судьба теперь в руках Якова Моисеевича.

— Откуда ты все это знаешь?

— И от летчиков, и от пассажиров. У нас на аэродроме газеты свежее ваших! — усмехнулся Абрасонис.

— Ну и наградил же меня Бог начальником! Настроим барж! Когда ж он в Покчу улетает? Завтра?

— Не думаю. Завтра он, очевидно, к вам сюда приедет. Готовьтесь к встрече знатного гостя.

Угадал-таки Абрасонис! Приехал Авксентьевский и прямо к Яшкевичу, представителю Ухтпечлага. Тот, предчувствуя визит, с раннего утра запасся спиртом.

Из соседнего дома доносились звуки гармошки. Авксентьевский гулял.

«Пойти или остаться? — раздумывал я. — Не пойду! Зачем на пьяные глаза лезть? За подлизу, чего доброго, примет! Лучше завтра потихоньку уеду из Усы».

Однако, всего не предусмотришь. Вышло иначе.

— Здесь остановился Розанов?

— Да, это я. В чем дело?

— Вас требует начальник к Яшкевичу. Приказал, чтоб незамедлительно явились.

У Яшкевича дым коромыслом. В первой комнате гармонист с аэродрома наяривал «Тачанку» Во второй мои партнеры в обществе какой-то дамы продолжали пиршество. Огурцы с помидорами, целые и обгрызанные, валялись по полу. Из недопитого стакана торчали жирные окурки «Беломора» и «Красной звезды». Видимо, веселье было в разгаре. Дамочка заливалась во-всю, слушая сальные анекдоты.

— А, Михаил Михайлович! Подсаживайся, дербалызнем за счет твоего нового начальника. На водку денег не жалеет — мировой! С таким можно работать.

— С таким только . . . — процедил я, — А где ж начальник?

— В спальне, на кровати. Ноги раскисли.

— Так что же, туда что ль идти?

— Ты опупел!

— Почему опупел? Он же приказал немедленно явиться к нему.

— То было почти час назад, теперь иная статья. Диалектика, брат! Он там уже не один.

— А с кем же?

— С Нюрой, подругой Сони. Да, вы не знакомы . . . Рекомендую — Соня Викторская, чертежница пароходства. Третий месяц в Усть-Усе. По разверстке наркомвода. Теоретические знания закрепляет практикой.

— М-да. Вижу . . .

Соня хлопает меня по плечу.

— Какой вы серьезный! И улыбнуться не хочет. Выпьемте со мной?

Дверь из спальни вдруг стремительно раскрылась и оттуда выбежала Надя с растрепанной прической. За ней, запахивая расстегнутый китель, выскочила невысокая, но коренастая фигура в военной форме. Вот и встретил командарма! . .

— Нет, этого не ожидала! Соня, пойдем! Смотри, как он мне руку укусил.

— Ну, что ты ей вздор мелешь — «укусил»! Что я, собака какая? Настоящий ребенок, поцелуя от укуса отличить не может . . .

Заметив меня, Авксентьевский отступился от девушек.

— А ты кто такой? Тебя кто звал?

— Розанов. По вашему приказу.

— Почему трезвый?

— Потому что никогда пьяным не был.

— Не пьешь совсем?!

— Пью, но до известного градуса.

— Ты знаешь, кто перед тобой?

— Разумеется. Начальник Покчинской верфи Ухтпечлага, командарм Авксентьевский, мой будущий начальник.

— Не будущий, а настоящий. Кто тебе сказал, что я командарм?

— Это каждый школьник должен знать.

— Молодец! А Сталина любишь?

— Скажу «люблю», так, все равно, не поверите, — я же по 58-й статье. И не первый месяц, а седьмой год.

— Ну, ладно, не отвечай. Лучше выпей.

— Вот это — другая статья. Умное слово, подкрепленное делом, дороже золота!..

— Яшкевич, налей-ка моему старшему экономисту стакан спирта.

— Спирт пить не могу. У меня раздражение горла.

— Яшкевич, разведи ему на 70 градусов... Так... Дайка мне стакан. На, Розанов, пей за Сталина!

Припер-таки к стенке! Что тут делать? Отказаться? Одному из 180 миллионов? Что докажу этим — гонор? Нет, глупость и мальчишество, лучше выпить. Или, как говорят татары: «И пить помереть, и не пить помереть, лучше выпить и помереть»... Ничего, обошлось: не вырвало и не помер.

— Пьешь по-моему, не морщишься. Это мне нравится.

— Я не красная девица, гражданин начальник. Пивал всякую гадость — и сивуху, и дрянной самогон, и ханжу. Коли морщиться, так незачем и пить.

— Разумно! У нас с тобой дело пойдет. Почему болтаешься в Усть-Усе? Завтра чтоб духу твоего здесь не было! Деньги есть?

— Мало, около сотни.

— Яшкевич, выдай ему на дорожные расходы еще триста. Отфактуруешь Судострою.

— Есть, гражданин командарм!

Из угла долетело радостное взвизгивание усинских канашек. Пока я разговаривал с командармом, компаньоны по преферансу успокоили и развеселили их. Мир и веселье вернулись в общество.

Командарм опять присоединился к Наде и снова увел ее показать именное оружие.

После двух стаканов такого «зверобоя» в моей голове закрутилось мельничное колесо, сквозь шум которого нет-нет, да и проникал предостерегающий голос рассудка: «Тут битьем посуды не окончится. Сматывайся, не жди скандала!».

Как тать, я шмыгнул за дверь: «Фу! Содом и Гоммора! Слава тебе, Господи, выскочил! Завтра и на мою голову понадобятся обручи»...

* * *

Часу в двенадцатом дня, освеженный, я бодро топаю по лестнице к Яшкевичу. В квартире тихо, только кисло-горклый дух напоминает о законченной попойке. Хозяйка, видно, с утра потела над уборкой.

— Да, где ж ты, Яшкевич?

— Здесь, в спальне. Проходи. Ох!..

Яшкевич, как умирающий лебедь, томно стонал под оленьим одеялом. Левая рука его, обмотанная мокрым полотенцем, покоилась поверх оленьей шкуры.

— ?! — сделал я большие глаза.

— Не спрашивай! Была история с географией. Ты не заметил, когда поднимался, целы ли на лестнице ступеньки?

— Целы. А что?

— Прокатили по ним двух шишек.

— Кого же?

— Меня и начальника раймилиции.

— И он к вам в компанию затесался?

— Какой он к чорту компаньон? Нашел тоже приятеля с веревкой на шею! Усмирять приехал, с тремя мильтонами.

— Хозяина что ль поколотили?

— На что он нам сдался?! Все из-за Надьки. Опять Авксентьевский прилип к ней. Она в слезы, он держит. Она кричит, он ей рот зажимает. Потом изловчилась да как царапнет командарма по лицу! Тот и выпустил ее. Надька ходу, командарм вдогонку. Дай, думаю, рыцаря сыграю. Стал на лестнице и загородил дорогу твоему начальнику. Разозлился Авксентьевский, глаза кровью налились. Подошел ко мне и без слова как головой в плечо двинет, так и покатился я по лестнице. Видишь, сколько синяков на голове? И с рукой не знаю что — то ли вывихнул, то ли зашиб. Однако, Авксентьевского остановил. Не побежал он за Надькой на улицу.

Яшкевич прервал печальную повесть и со вздохами и охами, призвав меня на помощь, стал совершать поворот вокруг собственной оси. Устроившись поудобнее не левом боку, он продолжал свой рассказ:

— Не прошло и пяти минут, как прикатил начальник раймилиции со своими мильтонами и Надькой. Сонька забилась в угол и молчит. Мы, ведь, ее не трогали... Языки чесали. А Надька из-за мильтонов показывает пальцем на Авксентьевского... «Вон тот, говорит, хотел силой... кусался...».

Начальник раймилиции подошел к командарму: «Вы, гражданин, пьяны и бузите. У нас не положено нарушать

общественную тишину среди ночи и приставать к девушкам. Поедемте с нами — у нас переспите».

Взглянул я на Авксентьевского, а тот аж позеленел весь от злобы: «Кто ты такой, спрашивает, — что я должен с тобой ехать?».

— «Я начальник районной милиции НКВД».

«А кто я — тебе известно?» — спрашивает командарм.

«В милиции разберемся, — отвечает. — Не задерживайте разговорами, собирайтесь».

Авксентьевский схватил свой китель с дивана, выпятил на нем свои ордена и тычет тому в рожу:

«Видишь? Боевые! Понимаешь — б-о-е-в-ы-е! Знаешь, кому? Мне, Авксентьевскому, слыхал?».

«Меня это не касается. Ордена орденами, а бузить все равно воспрещено. Поедемте!».

«А, ты, сопляк, этакий! — вскричал командарм. — Я кровью добывал советскую власть народу, а тут теперь мной какой-то начальник раймилиции хочет командовать. Не бывать этому! Вон отсюда! Чтоб духу твоего не чуял! В армии служил? Команду знаешь? Ну! «Налево, кругом марш!».

Милиционеры видят, что дело принимает плохой оборот. Пьяный — то, пьяный, но у него ордена и оружие. Нука, сунься к нему! А милиционер — шишка небольшая. И стали они подаваться задом наперед, вниз по лестнице. С ними туда же и Надька с Сонькой.

Только начальник раймилиции еще пытался петушиться. Начал его командарм подталкивать к лестнице.

— Вы не смеете! — кричит он. — Я здесь власть!

— Ах, не смею? Беги, жалуйся! Скажи, командарм Авксентьевский власть оскорбляет!

Да как хватит его по морде, а потом как пхнет сапожищем в живот, покатился начальник раймилиции по моему пути!

— Милиционеры, — кричит, — ко мне! Схватить буяна, связать и доставить в милицию!

А командарм вытащил наган, пощелкивает им и кричит вниз:

— Торопитесь, у кого мозги заплесневели — вперед! Вентиляцию устрою, продувать будет. Что топчитесь? Боитесь командарма в клоповник посадить?

Потоптались, потоптались милиционеры, видят — орешек не по их зубам, сели в санки и крикнули, что едут жаловаться прокурору и начальнику Рай-НКВД. Ну, не дураки ли? Нашли на кого жаловаться! Милиционер на командарма! Конечно, они больше уже не возвращались, а командарм, распив с нами еще пару бутылок, уехал с Абрасонисом спать на аэродром.

Слушая рассказ Яшкевича, я думал: «Ну, с таким на-

чальником не заснешь в Покче. Надо из Усы давать лататы. Немедленно! Пока Авксентьевский дрыхнет».

— Приготовил, — спрашиваю, — 300 рублей? Не забыл?

— На столе в конверте. Расписку оставь.

— Готово. А, скажи, не вспоминал Авксентьевский еще раз обо мне?

— «До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас!» — со стенанием продекламировал Яшкевич.

— Ну, и слава Богу! Так я бегу на почтовую станцию. Спросит — скажи, что чуть свет взял деньги и уехал. Да, кстати, откуда ты этих канашек раскопал?

— Почему я? Совсем не я, первый раз их вижу, как и ты. Это наш печорский представитель их выкопал, специалист по этой части. В Наркомторге, наверно, обучился поставлять живой товар. Едва командарм вчера намекнул ему насчет девчонок, как Лева через час уже явился с ними. Вот нюх, так нюх!

— Не пропадет парень!

— Да, талант полезный. Такой человек всегда начальству понадобится . . .

*

За полчаса я уже собрался. Купил на дорогу спирта, продуктов, рассчитался за квартиру и быстрым ходом отправился на почтовую станцию.

—Лошадей нету. Не раньше, чем завтра. Давай документы, запишу в очередь.

— Ко мне очередь не относится. Я командированный работник Ухтпечлага. Вот радиограмма Мороза.

— Ваш Мороз нам не указ. Пусть свои станции открывает!

Переговорить упрямого почтаря — зырянина немыслимо. Его не проймешь логикой, не испугаешь законами, не убедишь мандатами. Есть только одно средство — выставить на стол бутылку. Тогда те же самые вопросы будут рассматриваться им с другой стороны.

— Ты сказал, нет лошадей, а я вижу во дворе запряженную подводу.

— То дежурная, по срочным нарядам Райисполкома и подорожным от центра.

— Так никого же нет!

— Мало ль что! А вдруг будут?

— А вдруг не будут? . .

— Опять же нет убытка. Овес и сено не мои — почтовые.

— Но и прибыли тоже не набежит.

— Я на жалованьи. Лошади колхозные. По мне, они хоть всю зиму стой во дворе.

— Что за интерес держать в избе пассажиров? Самовар ставь да место отводи. Себя только стесняешь. Отправил всех — и хозяйствуй в доме.

— Мне пассажиры, что клопы — привык: с одним настоящего чайку выпьешь, другой, глядишь, водки поднесет. Оно как-то веселее. Да и пассажиры спешить не любят. Им лишь бы командировочные шли.

— А мне, наоборот, нужно сегодня же выехать. Посмотри-ка на улицу. За сорок перевалило! Дышать даже тяжело. В такой мороз трезвый не поедешь. Промерзнешь до нутра.

— Это точно.

— Вот я и запасся пол-литровкой. Думал, раздавим ее с почтарем — теплей и ехать веселей.

Взгляд почтаря зачарованно следил за движениями моей руки, извлекавшей бутылку.

— А, завтра, может, потеплеет, — продолжал я, будто не замечая его взгляда. — И без водки поедем, не замерзнем. Дорого яичко ко Христову дню... А славно было бы пропустить эту посудинку! И закуска что надо! Селедка — то какая жирная, мурманская. Ее и мороз не берет. Просто грех оставлять до завтра эту благодать. Сколько верст-то до первой станции?

— Восемнадцать.

— Ну вот — совсем близко. Два часа туда, два обратно. За пять часов и обернешься и выпьешь.

— А вдруг кто со срочной оказией явится?

— Чепуха! Дай сюда журнал. Я сам запишу. Ни один проезжий кобель не залает. А ты тем временем распорядись этим добром, — показал я на бутылку, рыбу, огурцы. — Разведи, порежь, почисти картошку да луку не забудь. Там, на полатях, чеснок лежит? Оторви-ка головку. У меня от сладкого тоска в желудке, острого хочу. Так чтоб кишки свело!..

Пока почтарь орудовал с закуской, я заполнял журнал проезжих. Вышло, действительно, увесисто:

> «Розанов, начальник плановой части, командированный к месту новой работы в Покче, согласно удостоверению № 854673 от члена бюро Обкома ВКП(б) Коми-Республики Мороза».

И ложь. и правда. Все спутано. Без бутылки не разберешь. Да и кто станет допытываться! Подумаешь, беда — дежурной лошади не оказалось! Завтра уедут!

Через полчаса подвыпивший почтарь гнал колхозную клячу по раскатанной дороге вдоль Печоры, распевая какие-то зырянские песни на русские мотивы. Вот что значит умелый подход к живому человеку!.. И обходится этот подход недорого—пять рублей пятьдесят копеек, без закуски. Даже мой бюджет, и то выдерживает.

На третьи сутки я уже подъезжаю к Соколову. отмахав от Усы более ста километров. И на каждой почтовой станции мне отвечали одно и то же: — Нет, самолет над Печорой не пролетал.

А погода стояла летная. Тихо, ясно и морозно. Значит, командарм все еще куралесит в Усть-Усе.

Впереди, на левом гористом берегу Печоры, в морозной тишине уходили в небо столбы дыма из зырянских изб. Я уже предвкушал двухчасовый отдых за самоваром на очередной почтовой станции. Вдруг сквозь скрип полозьев донесся нарастающий шум пропеллера. Летит!.. Я повернулся в санях, откинув капюшон савика. Вдоль замерзшей Печоры, совсем низко, каких-нибудь 20-30 метров над льдинами, пролетел самолет. На крыльях и корпусе жирные белые буквы «УПЛ» Наша «фирма»!.. Ясно вижу летчика и пассажира. Через каких-нибудь 3 часа командарм спустится в Покче командовать постройкой барж, а мне трястись еще четыреста верст!

Внезапно самолет закачался и медленно пошел на посадку. Еще 5-8 секунд, и машина бежит на лыжах по Печоре, в ста метрах от зимней почтовой дороги.

— Гони! Нужно узнать, что там случилось, — крикнул я вознице — мальчугану.

Пока тощая кобылка одолевала пространство между мной и самолетом, я наблюдал. Пилот вылез из кабины и уже копошится у пропеллера. Пассажир сидит недвижим, лишь изредка повертывая голову.

— Стой! Жди здесь! — приказал я.

И, подобрав полы длинного савика, я пошел по ледяной целине Печоры прямо к самолету. Уже осталось меньше пятидесяти метров, как вдруг пассажир ожил. Откинутые капюшоны савика и малицы обнажают опухшую красную рожу командарма.

— Розанов?! Ты? Вот кстати. Выручай! Водка есть? — ревет командарм, не щадя легких.

— Разумеется, есть!

— С тобой?

— Пол-литра со мной.

— Ну, на дорогу хватит. Услужил — не забуду. А тем мерзавцам я еще поднесу подарок! Насильно подлецы одели, запихали в кабину и повезли. Говорят, Мороз приказал! Мороз не прикажет мне лететь, не похмелившись Брешут!

Авксентьевский, укутанный в малицу, савик, пимы, валенки, покрытый сверх того одеялами, пыжится, кряхтит, но, наконец, одолевает силу притяжения и вываливается из самолета.

— Где?..

Я вытаскиваю из-под савика разведенный еще в Родионовке спирт. Командующий армией одним ударом о ладонь выбивает пробку и, придав водке вращательное движение,

опрокидывает посудину в глотку. Водка быстро, с хлюпаньем, переливается из одного сосуда в другой.

— Чему улыбаешься?

— Ловко это у вас получается — без заминки. Одним духом.

— Поживешь — научишься. Теперь бы закусить не плохо.

Я извлекаю из кармана пару яблок.

— Где достал?

— На базе, в Усть-Усе.

— А мне заведующий базой клялся, что никаких фруктов у него не осталось. Как же так?

— У вас еще нет блата на базе! Меня же там знают третий год. Яблоки Морозу шли, да забыли про них. Без накладных прислали. Вот ими потихоньку и лакомятся. И мне уделили.

— Мороз узнает — задаст перца! Яблоки начальнику лагеря, а их заключенные лопают. Ну и контра там собралась!

Не хотите ль вы радировать Морозу, что пробовали его яблоки?..

— Ну, нет! Ненавижу стукачество! Пусть этим третий отдел занимается! Ты это имей в виду, понял?

— Не только понял, но и согласен, гражданин командарм.

— Когда я с тобой с глазу на глаз, не говори мне «гражданин». При других иное дело. При других и я буду тебя на вы называть. Авторитет нужно держать! Эй, ты там! — повернулся Авксентьевский к летчику, — скоро полетим?

— Минутку, товарищ командарм. — Сейчас должен быть контакт. Садитесь.

Я помогаю запеленатому во все северные доспехи товарищу-командарму погрузиться в кабину.

— Подойди поближе! — подзывает он. — Тебе Яшкевич рассказывал, что произошло на его квартире?

— Малость, пустяки!..

— Врешь! Все знаешь! Так запомни: в Усть-Усе мы не встречались, не пили, и ты там обо мне ничего не слыхал:

— Сущая правда, товарищ-командарм! Как я мог встретиться с вами, когда вы летите, а меня дохлая кобыла тянет, когда вы — командарм, а я заключенный! Впервые и то случайно встретились вот тут, при вынужденной посадке, и я угостил вас парой яблоков. Не правда ли?

— Вот именно! Так и рассказывай, если кто спросит.

Зашумевший пропеллер заглушил Авксентьевского и забросал меня снежной пылью. Самолет, пробежав метров двести, оторвался от заснеженной Печоры и, как громко говорится, начал набирать высоту... достаточную чтобы не зацепить дорожных вех.

* * *

В Покче старые знакомые отводят меня в угол, нашептывая на ухо:

— Ну, и начальника откопал Мороз. Либо он нас посадит, либо мы с ним сядем.

— Что так?

— Когда пьян, то на производстве кричит рабочим, будто местные вредители их прижимают, а трезвый — стучит кулаком в кабинете на технических руководителей: «Вы,— орет. — правительственное задание срываете! У вас, — говорит, — не работа, а богадельня! Сниму, посажу, новый срок дам! Научу работать по-большевистски»!

— Стоит из-за этого волноваться! Какой же начальник хвалит технический персонал?! Авксентьевский также играет под Мороза, как и все другие начальники командировок. Потерпите немного — обмякнет. Горячо взялся — остынет. Да и уберут его.

— Кто сказал?

— Мой нюх. Правительственного задания Судострою все равно не выполнить! Пятьдесят барж на голом месте — это сумасбродство! Однако, без суда не обойдется. На кого-то надо свалить вину за срыв. Не на Совнарком же! И Мороз отвечать не будет. Разыщут виновных на Судострое. Это ясно, как дважды два! Неужели Авксентьевского впутают в это грязное дело? Да он следователям морды в кровь расквасит. Коснись дело до него, так он и Сталину пожалуется. Факт! Едва ли это понравится Морозу. Не пройдет и двух месяцев, как он снимет Авксентьевского, найдет другого. Помельче. Чтоб не пищал.

— Кого же?

— Зачем гадать? Поживем — увидим.

Постройка барж развертывалась черепашьими темпами. Авксентьевский, надо отдать ему справедливость, честно и по всем советским правилам каждый день на все корки разносил технический персонал: прорабов, мастеров, десятников. Однако, тонны от этого прирастали что-то плохо. Ругань не могла заменить отсутствующие гвозди, лес, улучшить жилищные условия. Тем не менее, Авксентьевский, как истый большевик-сталинец, не сдавался перед трудностями освоения Севера. Кулак тяжело опускался на стол, часы командарма подпрыгивали и падали вновь:

— Досок мало?! Нехватит, так вашими шкурами обошью баржи, а спущу их весною на воду! Я не хочу моргать за вас перед товарищем Сталиным! Михаил Михайлович! — повертывается ко мне командарм, — сколько у нас лошадей на хозяйственных работах?

— Пять, гражданин — начальник! Две — на развозке продуктов и фуража, две на подвозе воды и дров, одна — ассенизационная.

— Завтра же четыре поставить на лесовывозку! Леса говорят, нету? Я им дам лес! Пусть попробуют завтра яви-

ться на разнарядку без тонн. Я им покажу, что значит Авксентьевский!..

— Из каких резервов, гражданин — начальник, прикажете восполнить убыль лошадей на хозяйственных работах?

— Использовать слабосильную команду. Выделить из нее 15 человек, пусть возят!

— Тогда на раскрутке пакли останется только пять человек.

— Ну и хватит! Пакли накрутили уже на две недели.

— А через две недели?

— Там видно будет!

Вдоволь налаявшись на мастеров и прорабов, Авксентьевский, с сознанием честно исполненного долга, нахлобучивает шапку и отправляется во-свояси. Домик ему отвели на отлете, метров в четырехстах от конторы, на крутом берегу Печоры. Пей и буянь, сколько влезет, — никто не увидит и не услышит. Об этом уже уполномоченный 3-го отдела НКВД постарался. Видно, ему заранее сообщили, что за фрукт едет и как с ним обходиться.

Подобрав двух дневальных из бывших бойцов его армии, командарм по очереди гонял их в Покчу за водкой. Уполномоченный 3-го отдела тоже не дремал — он дважды перехватывал гонцов и отбирал водку. Но победа и на спиртном фронте осталась за нашим командармом. Он вел лобовые атаки на уполномоченного так, что тот рад был вернуть водку, лишь бы отвязаться от такого дьявола. В дни, когда командарм особенно буйствовал, уполномоченный уходил на радиостанцию и там, в тишине, вдали от нескромных глаз и ушей, отстукивал своему начальству доносы о деяниях крымского победоносца.

Как-то, в середине января, захожу в «кабинет» с очередными панихидными цифрами выполнения плана.

— Не надо, не хочу, — вяло махнув рукой, промолвил командарм. — Знаю — сегодня, как вчера! А ты последнюю «Правду» читал?

— Нет еще, — ответил я, заметив на столе развернутый номер московской «Правды» с каким-то снимком на первой странице.

— На, посмотри! Знаешь, кто это?

— Конечно. Маршалы Советского Союза: Ворошилов, Тухачевский, Буденный... пять маршалов. Посмотрите, каким козырем Буденный выглядит с новой маршальской звездой! Это уже старо, товарищ-командарм, по радио слыхал. А разве вы не знали?

— Кто? Я не знал? Да мне об этом два месяца назад из Москвы писали! Не о том речь. Ты знаешь новых маршалов?

— По книгам — да.

— «По книгам!». Бумага все терпит. Ты тоже всякую чушь сочиняешь, а я подписываю. Эх! — Авксентьевский

вздохнул, откинулся в кресле и со всего размаха стукнул кулаком ко столу, — одним все, другим ничего! Пойми, шестым маршалом среди них был бы я!..

— Вот оно что! Вот о чем болит душа командарма! — подумал я и вслух проговорил: — И будете шестым маршалом! Вернетесь в Москву — вспомнят. Со Сталиным встретитесь...

— Нет, Москвы мне больше не видать. Не доказывай, знаю! Не пустят козла в огород. Сам виноват. Корпуса громил, а вот с бутылкой не в силах справиться. Одолела! Погиб командарм! Никто не спасет!

Авксентьевский засунул газету в карман и, надевая шубу, на ходу бросил мне:

— Скажи помначу — заболел. Чтоб ни один... носу не совал. Сброшу с горы! Понял?

— Понял, товарищ-командарм! Все понял!..

Три дня Авксентьевский пил мертвую. Три дня ни одна душа, кроме его дневальных, не пыталась подняться на гору. Командарм переживал муки оскорбленного тщеславия. Большущие золотые звезды!. Звание маршала!.. М-А-Р-Ш-А-ЛА!.. Почести, слава!.. Снимают, печатают!.. Какой-нибудь лорд за счастье почтет пожать руку маршалу!.. Мать честная!..

«А счастье было так близко, так возможно!».

И вот — вонючая действительность: глухая Печора, возня с заключенными, какие-то баржи, а впереди — туман, туман, туман. Буденному — особняк на Остоженке, а нашему командарму — будку водолива. Располагайся на двенадцати квадратных метрах, герой Крыма. И не вздумай покинуть Печору без ведома Мороза.

Тут не только напиться — спиться можно!

* * *

Командарм уже знал, что дни его на Судострое сочтены. Радист рассказывал ему все: и про доносы уполномоченного 3-го отдела, и про радиограмму помощника по производству инженера Ухлина. Ухлин просил Мороза при создавшихся условиях, убрать либо его, либо командарма. Тому оставалось одно — ждать неизбежного, коротая время за бутылкой.

* * *

— Уехал! — облегченно вздохнули в управлении.

— Уехал! — подтвердил уполномоченный 3-й части, спрятав довольную улыбку в бороду.

Командарм покинул Судострой, не сказав никому ни прощай, ни до свиданья. Вызвал завгужа, приказал запрячь выездную лошадь, взял мешок овса, а возчиком — своего дневального и укатил. А куда — никто не знал. Скатертью дорога!..

Радист на другой день показал копию радиограммы, принятой им для командарма:

«Покча. Авксентьевскому.

Получением сего незамедлительно выезжайте Усть-Усу новым назначением. Замещающим Покче оставляю Ухлина. Мороз.

* * *

Прошло три года. Как-то, просматривая социалистические обязательства доярок лагерного сельхоза «Новый Бор» в низовьях Печоры, встретил подпись: «Инспектор культурно-воспитательной части сельхоза — Авксентьевский».

Не тот ли, с Покчи, о котором я рассказывал?

— Тот, тот — закивали сослуживцы по плановой части Усинского отделения Ухтпечлага. — Командарм!

— Ага! — сыскался след Тарасов... Все еще в «почетной ссылке»! По специальности работает. Доярок перевоспитывает. Напористый культработник!

*

— Ты откуда, Болеслав Павлович? — обрадовался я, завидя на Усинской пристани летом 1940 года бывшего помнача Судостроя в Кожве — Козловского.

— Из Усть-Ижмы. Отделились от Ухтпечлага, называемся теперь Ижмлаг. Производим все, что хочешь: баржи — пожалуйста, сушенных грибов и ягод — хоть баржу, люди босы — лапти вышлем.

— Ты, как и встарь, тараторишь и кипишь! Действительно, ваш Ижмлаг развернулся широко — от барж до лаптей?

— Да, да не шути, брат! Лаптями снабжаем все северные лагери. Полмиллиона пар заказано. Это не комар начихал — полмиллиона!! А грибов и ягод Воркуте уже отгрузили две баржи.

— Тут, на Печоре, плачут, — людей нет, некому баржи разгружать, лес сплавлять, а у вас, наверно, тысячи шатаются с корзинами по лесу да лапти плетут.

— Ну, на наших работягах далеко не уедешь. За год баржу не разгрузят.

— Филоны, что ли?

— Нет хуже: одни «доходяги» и «догорай веники». Куда ветер подует, в ту сторону и валятся. У нас собраны все инвалиды и слабосильные с Воркуты, Печоры и Ухты.

— Это ново. У вас, значит, сборный пункт для массовой и организованной переотправки в лучший мир?..

— В твоей иронии есть и правда. По вечерам посылаем в лес подводы. Уйдут за грибами километра за три, а назад вернуться сил нехватает...

— Зачем таких посылать в лес?

— А как же иначе? — удивился Болеслав. — У нас задание ГУЛАГ-а. На каждую голову должны заготовить в день либо 300 граммов ягод, либо два килограмма грибов, либо сплести три лаптя. Кормят не даром, а по выработке! Командировки слабосильных тоже на хозяйственном расчете и должны себя обработать.

— Мне кажется, Болеслав, на Ижме в лесу растет больше могил, чем грибов.

— Ну, это вздор! В лесу умирают единицы. Хоронят всех на кладбищах при командировках. Дело организовано хорошо. Над каждым столбик с дощечкой. Это не то, что раньше было. Сразу видно, кто и когда похоронен, по какой статье и сколько лет сидел. К ногам ярлык привязывают. Даже должность заведующего кладбищем предусмотрена. Теперь порядок.

— Да, мертвые в этом порядке особенно нуждаются... — подумал я, но вслух сказал: — Образцово, похвально, живые могут не беспокоиться, похоронят по всем правилам... А где ты подвизаешься в Ижмлаге? — перевел я разговор с похоронной темы. — Слышал, будто после Кожвы ты по культурно-воспитательной линии пошел. В КВЧ работал.

— Давно покинул это поприще. Я заведую отгрузкой нашей продукции — грибов, ягод и лаптей. Работа нравится, потому что работы нет. На КВЧ я плюнул. Люблю брехать, но изредка, а там надо постоянно. К нам теперь, специально для командировок слабосильных, прислали такого старшего воспитателя, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Всех охватил соцсоревнованием и ударничеством. Каждый обязался выполнять чуть ли не двойную норму.

— Откуда такого остолопа выкопали?

— Из Нового Бора прислали. Говорят, в гражданской войне армией командовал. Пьет, сукин кот, без передышки. Фамилию забыл. Дай вспомню.

— Не Авксентьевский ли?

— Вот, вот — он самый.

За кого в 1940 году пил командарм? За двух оставшихся в живых маршалов или за трех расстрелянных? Или все еще за Сталина, в надежде когда-нибудь да подержать маршальский жезл, надеть маршальские побрякушки и подмахнуть услужливо поданный приказ — «Маршал Советского Союза Авксентьевский»?

Глава 13

С плотами

— Да, это мне подходит. Добавьте двадцать патронов.

Расплатившись, я спрятал счет. В нем стояло:

«Отпущено Печорскому Судострою Ухтпечлага через Розанова за наличный расчет охотничье ружье центрального боя 16-го калибра с двадцатью патронами, на общую сумму 38 рублей 60 копеек.

Заведующий Троицко-Печорским магазином Райпотребсоюза Рощин.

18 сентября 1936 года».

С ружьем за плечами я спокойно прошел по улицам районного центра, мимо прокуратуры, суда, НКВД... Знай, мол, наших!.. Совесть моя была чиста. В бумажнике вместе со счетом, лежала тысяча рублей подотчетных денег. Предстоял дальний путь: двести пятьдесят километров вверх по безлюдной Печоре. Я шел на лесозаготовительную командировку Судостроя «Курья», чтобы вторично в этом году, по приказу начальства, сплавить оттуда лес для верфи. В пути по таким местам мало ль что может приключиться? Нападут беглецы или звери. Известно — тайга. Короче говоря, начальник Судостроя Ухлин на свой риск разрешил мне эту покупку.

* * *

Осеннее солнце переливалось золотом в пожелтевших листьях березы. Нити паутины медленно проплывали в синем уснувшем воздухе, цепляясь и оседая на ветвях деревьев. Утки стаями перелетали с места на место, собирая родичей в дальний путь, на юг. Урал уже покрылся снегом, и белые шапки его гор отчетливо поднимались за лесом.

Как хорошо быть снова одному! Какую упругость придает мускулам этот свежий хрустальный воздух, напоен-

ный соками уходящего лета! Как мирно и спокойно отдыхает душа после ежедневной пачкотни бумаги, треска арифмометра и нервных радиограмм Мороза! Люблю природу такую, как тут — девственную, глухую. Ни дороги, ни тропинки, на сотни километров по обоим берегам молчаливая тайга: ель с сосной да кое-где лиственница с березой. Тишина прерывается только всплеском потревоженной птицы да шелестом гальки под ногами. На десятки километров ни одной избы, до самой Курьи, — после Троицко-Печорского — всего четыре крохотных деревушки: Усть-Илыч, Пороги, Мамыли и Якша. Это на двести-то пятьдесят километров! Есть еще где НКВД осваивать Север! . .

Переправившись через Илыч *), я опять пошел стороной Илычского государственного лесного заповедника. Тут уж совсем нет следов человека. Заповедник тянется от самых истоков Печоры вдоль ее правого берега, на севере — Илыч, на востоке — хребты Урала. На всей колоссальной площади, почти в 10 тысяч кв. километров, т. е. равной Албании, живет лишь 25 человек персонала, да и тот проводит время в Якше, а не в лесу. После революции в глубинах заповедника прятались монахи, обосновав там свои уединенные скиты, но в 1926 и в 1927 годах ГПУ зимой на лыжах совершило туда налеты. Скиты были разрушены, а отшельников переселили в концлагери. Даже персонал заповедника — сторожа и научные работники, и те не знают, что находится в верховьях ручейков, впадающих в Печору. Говорят — лес, а какой — никто не видел. Может, одни обгорелые пни да болота. В этих местах, что ни год, бушуют пожары, поглощая сотни квадратных километров леса. Бороться с огнем некому.. Так и висит над заповедником целое лето пелена сизого дыма, придавая воздуху легкий запах гари.

Весною и в начале лета в прибрежных кустах кишат выводки утят и тетерок. Глупые зайчата, напуганные шагами, юркают под корни наклонившихся елей и, вытащенные оттуда, от страха так немеют, что даже опущенные мною на землю, долго не могут сообразить, что опасность прошла и можно утекать во все лопатки. Но забавнее всего малые тетеревята. Ну, ни дать ни взять индюшата — щуплые, худые и глупые. Собрал их штук пять в накомарник **). Молчат, а тетерка-то, мамаша, из себя выходит — кричит, крыльями хлопает, чуть за голову не задевает. Протяни руку и ее, глупую, на лету схватишь. Сел на корточки, высыпал птенцов на травку и смотрю на мать. А она то подлетит, то сядет шагах в пяти, вытянув шею, и в глазах такая понятная просьба — «освободи детей»! что стыдно становит-

*) Большой приток на восточном берегу Печоры, длиною около 450 клм., берущий начало в западных склонах Урала.

**) Накомарник — ситцевый капюшон с сеткой для лица — от комаров и мошкары.

ся за грубую игру с материнским инстинктом. Уйдешь на несколько шагов, а тетерка сразу к детям и ну их головой толкать в кусты. На душе становится отрадно, будто доброе дело сделал! «Не бойся, — говорю, —неразумная птица, не в подвалах ГПУ, видишь — выпустил!» ...

С прошлого сплава я привез на верфь крохотного утенка и зайчика. Зайченок так свыкся, что безмятежно спал со мной, положив голову мне на руки. А утенка я приучил к общественно-полезному труду. Показал ему, как комаров на окне клевать. Вот он с утра до вечера и очищал мою комнатушку от этой казни египетской для арестантов на Печоре. Снует вдоль окна и так ловко и быстро нанизывает их на клюв, что не успеваешь считать. Целый месяц нянчился с ними в свободные минуты. Подросли мои питомцы, вынес их наружу, посадил в густую высокую траву, сам отошел и смотрю, куда побегут. Зайченок прижал ушки, оглянулся на меня и пошел чесать, и пошел — прямо в лес, будто по компасу! А за ним и утенок, только совсем в другую сторону — к реке. Вот что значит инстинкт! Мелочь, будто бы, в моей бурной жизни этот утенок и зайченок, а вот не забуду же о них до самой смерти!

— Эй, ты куда? Стой!!! — кричу я, заметив вдали бурого медведя, вперевалку переходящего тут Печору, — стой, говорю!

Медведь повернул в мою сторону удивленную морду. Я смело иду берегом все ближе и ближе. Да и чего бояться? Медведь-то не из сказки, а живой, обычный печорский — бурый, пудов, может, на пять, не больше. Без нужды не бросится. Да и ружье придает мне смелость. Медведь делает движение, намереваясь бежать к другому берегу.

— Стой, дурень, не бойся! — кричу я со смехом.

Знать и зверь понимает оттенок голоса. Опять замер медведь.

— Ты куда? По какому праву без ведома администрации покидаешь заповедник? Не нравится в зверином колхозе? .. Фьють, фьють!!!

Я со всей силой захлопал в ладоши и затопал ногами. Медведь без оглядки стал так перекидывать лапами, что за минуту, весь мокрый, был уже на том берегу.

Я продолжал путь дальше, то читая встречной белке лекцию насчет ее роли в плане пушного экспорта, то приводя в ужас серого зайца надрывным криком. Волков и оленей в береговой полосе не было, они жили в глубине тайги, ближе к Уралу.

Тайга и зверье успокаивали нервы лучше брома. Я совсем забыл про докучную контору. Срыв правительственной программы баржестроения меня уже не тревожил. Я был далек от плана, а значит, и от ответственности за него. Я стал опять нормальным творением Бога, а не «сталинской эпохи».

Вот и Мамыли. От чрезмерно поглощенной малины и смородины, встречавшейся на берегу целыми зарослями, набил отчаянную оскомину, а от черемухи язык стал, как у коровы, — шершавый-прешершавый, и в горле словно корка застряла, не могу глотать. Кислое молоко у зырянина пришлось совсем кстати.

Знакомый оперативник *) сомнительно смотрит на ружье: но придраться, видимо, не решается: знает, хоть я и не шишка, но своего рода бугорок...

— Опять в Курью за лесом?

— Разумеется, не на Волгу!..

— Только уж, пожалуйста, подбери других ребят. Прошлый раз раз собрал не сплавщиков, а банду, на обратном пути везде нашкодили. Тут в амбаре десять дней сидела одна пара, пока я ее не сдал попутному конвою.

— Что ж они натворили?

— В Порогах овцу зарезали, а у нас два погреба перерыли, все горшки побили... Два литра водки у них отобрал.

— Неужели не успели выпить? — изумился я, зная натуру уголовников.

— Намеревались, да я из рук вырвал.

— Значит, смирные ребята, другие бы не отдали!

Таков уж обычай уголовников. Отдать водку считается малодушием. Либо тут же выпьют ее, опрокинув бутыль в горло, либо, если конвой вцепился в бутылку, на глазах разобьют ее о землю. — «Так пусть же, мол, никому не достанется, ни мне, ни вам!».

После 170 километров по откосому берегу, усыпанному галькой и наносными деревьями, ноги мои ныли, а на пятках вздулись волдыри. Пожалев собственные ботинки, я надел в дорогу легкие парусиновые тапочки на тонкой резине.

Сердобольная зырянка принесла охапку свежей жгучей крапивы. Разувшись, я, не чувствуя ожогов, топаю по крапиве и хлещу ею щиколотки и пятки. Оказывается, народные средства помогают, боль притихла. Однако, итти с такими ногами еще 25 километров до Якши не решаюсь.

— Хозяйка, — спрашиваю, — когда уходит почтовая лодка в Якшу?

— Завтра, сынок, поутру.

— Тогда есть еще время, ставь самовар, на восьмушку чаю. Настоящий! Завари покрепче и чтоб на всю семью хватило.

Я давно знал о страсти зырян к китайскому чаю. У кого из путников есть чай, тот желанный гость в любой избе.

---

*) Оперативник — особая категория лагерного конвоя, специально для поимки беглецов. Живут по-одному, по два почти в каждой деревне Севера.

— Не забудь, хозяйка, — предупреждаю ее, — договориться с почтарем, чтоб меня взял. Он пьющий?

— А кто ж сынок не пьет? Поднесешь, и я не откажусь...

— Да? Ну, вот тебе 6 рублей. Возьми пол-литра, выпьем с дороги, да и почтарю останется.

*

Пожилой, с рыжими усами, в брезентовом комбинезоне мужчина, бросив в угол рюкзак, с видимым наслаждением опустился на низенькую, как у всех зырян, скамейку. Заметив меня за столом, он представился:

— Павловский. Зовите Алексеем Романовичем. Геодезист. С кем свел случай в этих дебрях?.. Ага, Вы из Ухтпечлага! Знаменитая организация

... А мы тут для нее новое задание подготовляем, грандиозное, скажу я Вам.

Через час я уже знал, в чем дело. В Мамылях, оказывается, третью неделю работает экспедиция Главного Гидрологического управления, посланная сюда для технических изысканий в связи с проектом «Великого Печорского моря». По плану четвертой пятилетки, Печору в районе Мамылей собираются перегородить гигантской дамбой, длиною чуть ли не в тридцать километров, чтобы задержать весенние воды верхней Печоры. Образуется громадное озеро, площадью в сотни квадратных километров. Из этого водохранилища летом вода, по системе шлюзов, будет перепускаться в Каму, а оттуда в Волгу, постоянно поддерживая на ней уровень, достаточный для судоходства. В СССР уже не скрывают, что причина катастрофического обмеления Волги в том, что в ее верховьях за годы большевизма леса — главные хранители и распределители влаги — были хищнически истреблены. Естественное возобновление потребует пятидесятилетнего срока. До этого момента Волгу нужно питать водой из других бассейнов. Вместе с печорской водой на Волгу поплывет и печорский лес, еще не пострадавший от пятилеток. Только в границах будущего «моря» потребуется вырубить миллионы кубометров леса, которому иначе грозит затопление. У ГУЛАГ'а впереди большой и выгодный подряд! Еще несколько лет, и в окрестностях Мамылей вырастут десятки лагерей с сотнями тысяч «Завоевателей Севера». Зазвенят топоры и пилы, заблестят лопаты, заскрипят тачки, вырастут кладбища и сторожевые вышки. С плачем покинут зыряне свою затопляемую деревню. Вождь добирается до Печоры...

Мы вышли на крутой берег и, затянувшись папиросами, молча залюбовались уснувшей в тишине рекой.

*

Ранним утром я, как барин, возлежал в утлой вертлявой печорской лодчонке, на свежем, пахучем сене, выставив

вверх горящие пятки. Молчаливый жилистый старик-колхозник, крякнув, осушил остатки водки. Мы тронулись вверх. Старик ритмично, с ловкостью, привитой постоянным опытом, работал шестом, стоя на корме. Лодка шла вдоль самого берега, задевая траву и кусты. На средней и верхней Печоре не знают ни весел, ни уключин, ни рулей. Шест в искусных руках заменяет все. Лодка скользит вверх со скоростью 5-6 километров. Как автомат старик вытаскивает шест, закидывает его вперед, вдоль борта и пригнувшись тяжестью тела нажимает на шест, давая лодке новый толчок, ловко обходя все кочки и камни. Лодка с шестом — единственное средство передвижения и связи на верхней Печоре. Летом, в межень, пароходы сюда не добираются. Подводные камни и пороги рассеяны по всему руслу. Даже однорядные плоты, и те застревают на каждом километре.

Я был первым, кто проплыл с лесом в эту пору года с верховьев Печоры. Даже недоверчивый Филимонов, и тот, взобравшись на плоты, убедился в факте. Но теперь я могу кое-что и открыть из того, о чем начальство не знало. Леса то я, действительно, приплавил столько, сколько взял в Курье, только добрая треть его была ворованная. Свой-то растеряли на порогах, но, чтобы лагерю не было убытка, а нам неприятностей, так мы в пути «добавили» к плотам бревна леспромхоза, обсохшие около Илыча... А плотогонам было строго-настрого приказано: «Чтоб ни звука, не то пойдете на лесзаг под конвоем!».

Но на этот раз предстоял еще больший риск,—провести осенний сплав, признанный всеми лесными трестами невозможным. Перебрасываясь скупыми словами со стариком, я зорко смотрел за руслом, записывая все нужные замечания, — где и какие камни и пороги и как их обойти.

Из скупых слов старика я узнал, что в прошлом году в Мамылях, — как он рассказывал, — колхоз выплатил на трудодень только 350 граммов ячменя и 40 копеек деньгами, да и в этом году ждут не больше того. Вот за эти-то жалкие граммы и копейки он и меряет шестом 25 километров в каждый конец.

Могли ли мы, — вольный и заключенный, — завидовать друг другу? Режим материально и духовно уравнял обоих: каждый из нас получал от власти ровно столько, чтобы существовать для работы и мыслить только о существовании. Сбылось таки пророчество Достоевского: «Все будут рабы и в рабстве равны». Я рассмеялся.

— Ты чего? — повернулся ко мне старик.

— Так. Пришла на память басня, в которой битый небитого везет, а тут, кажется, наоборот: небитый битого... или оба битых... Тьфу! Совсем запутался...

Не поняв намека, дед отвернулся и еще усерднее заработал шестом.

К полудню мы были в Якше, старинной полурусской, полузырянской деревушке из восьми домов. Тут были: почта, телефон, телеграф, управление заповедника, метеорологическая станция, контора государственного лесозаготовительного пункта и, конечно, кооператив со спиртом.

Однако, где же лес? Вершинин обещал к моему приезду пригнать его в плотах к Якше, а тут ни одного бревнышка.

В ожидании плотов я слоняюсь от одного дома к другому. Всюду меня уже знают и всюду рады свежему человеку. Ведь, тут такая скучища, что сдохнуть можно! В сравнении с Якшей наш Судострой совсем столица. Не мудрено, что все тут пьют по поводу и без оного, было б на что.

От скуки и для пользы дела я зарываюсь в пожелтевшие гидрометеорологические записи за последние тридцать лет об уровне Печоры у Якши, выводя из них закономерность подъема воды, чтобы приблизительно установить день сплава. Плыть сейчас было бы сумасшествием. Река совсем обмелела. По записям выходит, будто между 4 и 7 октября самое удобное время пуститься в путь. С этих дней Печора почти ежегодно идет на прибыль, а значит, сесть на мель или порог не столь опасно. Вот-вот должны пойти осенние теплые дожди, которые растопят уральский снег и принесут оттуда потоки воды. Но беда, коль пропущу этот момент и не успею доплыть до верфи. Вода пойдет на убыль и все пропало, обсохнет, замерзнет и погибнет лес. Начнется следствие, вспомнят, что осенний сплав на Печоре запрещен. Заведет Филомонов дело и влепит мне новый срок.

Пока подходит лес, я провожу время в беседах с Игнатом, прожившим в Якше всю жизнь. Это он тридцать лет изо дня в день вымерял уровень Печоры, занося его в свой журнал. Когда-то Игнат получал за это двадцать золотых рублей в месяц, а ныне советская власть отвалила ему целых девяносто бумажных. А Игнат не только кормит и одевает на эти деньги семью, но и, как сознательный гражданин, уплачивает профсоюзные взносы, подписывается на заем и вносит отчисления на МОПР.

— Но как же, Игнат, ты сводишь концы с концами?

— Да уж вот так и свожу, привык. Не бросать же насиженного места!? Тут родился, тут и помру. Свой дом, своя мебель. Куда с ними тащиться? Вон и огород мне дали. Пойдем, посмотришь.

Огород у Игната, как на выставке. И весь-то с четверть гектара, а все есть в нем: ячмень, и рожь, и конопля, и овощи разные, и даже помидоры краснеют.

— Вот с него и живу. Деньги на одежонку, а харчи свои. Стерпелся.

— И так всю жизнь?

— Были у меня и богатые дни, давно — тому уж двадцать лет. Тогда, ведь, на Печору с моря ничего не завозили, как сейчас, а все шло через Якшу. В Якше купцы каждую зиму строили десяток барж. Навезут зимником муки, чаю, сахару, конфет, мануфактуры, водки, пороху, дроби. Погрузят все на баржи и плывут вниз, до самой Цильмы*). У каждой деревни на барже базары. В те времена я тоже с купцом плавал, приказчиком. За три месяца сто двадцать рублей отваливал, а гостинцы и водка — не в счет. Эх, весело было! Охотники тащут нам пушнину, а мы им товары, — бери, что любо. У иного мало пушнины, — проболел ли, либо зверя не было, — и тот пустой не уходит. Запишет хозяин в книжку, а мне крикнет: «Дай ему на полсотни, что захочет. Будущей весной рассчитается». Просто было, совсем не то, что ныне. Сейчас сначала сдай пушнину, да еще сдай не меньше, чем приказано по плану, а потом уж тебе и «отоварят»,—сдал на сто рублей, а получи на семьдесят. Зря говорят, что мы спаивали охотников, мы только раз в году торговали водкой, а теперь ее кооперация возит круглый год и на санях, и на лодках. Тогда мне и огород не был нужен, хозяин всем обеспечивал. Клаша, — позвал Игнат дочку, — принеси-ка нам свежей брусники.

Скромная, опрятно одетая девушка тихо поставила блюдо брусники и застенчиво прислонилась к двери, потупив глаза. Я с любопытством взглянул на нее.

— Сколько вам лет? — спросил я.

Девушка закраснелась и посмотрела на отца, будто не решаясь вступить в беседу с посторонним мужчиной.

— Восемнадцатый пошел, — ответил за нее отец.

— Отчего она сама не скажет?

— Стесняется, не привыкла. Все около матери. Людей не видит, вот и дичится.

— Однако, она, видать, хорошая помощница в семье. Вон, какие у нее сильные и загорелые руки. Что, Клаша, скучно тут? Не тянет в город?

Клаша совсем смутилась и спрятала лицо в отворенную дверь.

— Она у нас и понятия не имеет, что такое город. Вот только разве по книжкам. Я и сам-то, пожалуй, уже десяток лет, как в Чердыни **) не бывал.

— Поплывемте со мной, Клаша, в Покчу? Посмотрите электричество, послушаете радио, кино покажем. А какие женихи там первый сорт, московские! Заслушаетесь, как

*) Усть-Цильма — большая деревня в низовьях Печоры, центр оленеводов и замшевого производства.

**) Чердынь — ближайший город Пермской области, откуда раньше шла вся торговля с Печорой. Оттуда и приезжали в Якшу купцы. Находится в нескольких десятках километров на юг от Якши, в бассейне Волги.

начнуть играть на бутылках да на бочках. Вы знаете, что такое джаз-банд?

Это уже было свыше ее сил! Такого разговора таежной девушке и ночью не снилось. Неловко прикрыв лицо руками, она метнулась за дверь, оставив в глазах воспоминание о коричневых от загара, но стройных и упругих ножках.

— Вот и застыдили ее, она теперь не войдет сюда. Уж такая боязливая к людям, а в лес ходит одна. Прошлую зиму набила шестьдесят белок.

Я сравнил Клашу с нашими судостроевскими примадоннами из Интуриста *) и Наркоматов. Да за одну такую жену я не взял бы целого гарема тех!.. Вот она где, нетронутая Россия, знающая большевизм только снаружи! А сколько таких рассеяно по медвежьим углам этой медвежьей страны!

Оставив свой рюкзак у Игната, я прямиком через лес пошел к Вершинину. Уже 29 сентября, а плотов все нет и нет... Над Уралом висят тучи. Надо ждать воды, а у берега всего одна плитка, в 50 бревен.

Впервые за восемь лет я снова вижу телеграфные столбы, связывающие Якшу с Чердынью, Соликамском и Пермью. Этот тракт Якша-Чердынь — последний барьер для беглецов. Махнуть разве? Тысячи целковых на первое время хватит, но глупая честность толкает меня с дороги в Чердынь на тропинку в Курью. Опять в жертву совести приносится молодость, а может быть, и вся жизнь. «Подвести Ухлина? Он же отвечает за мой пропуск! Подвести родственников в России, о которых НКВД имеет уже все справки? Эх, уж коли тонуть, так одному, не дело тянуть за собой других!».

И снова тоскливо на душе. Не радуют ни роскошный сосновый бор, ни белые грибы, обильно усыпавшие путь.

Прошла еще целая неделя, пока Вершинин пригнал, наконец, в Якшу лес. Да и то не тысячу кубов, как обещал, а только семьсот пятьдесят. Ладно, обойдусь и этим! Что дали, то и возьму. За это уж не мне, а ему будут хвост крутить. Мое дело — сплавить, и шабаш!

Я хожу с Вершининым по командировке, отбирая плотогонов. Впрочем, не плотогонов, а просто людей. Какие сплавщики из ленинградских урок? Одно горе. Краденое сплавить могут, а вот лес... Но где же взять лучших? Лесзаг не биржа труда. Тут почти все с «Шарашкиной фабрики» — кто не работал или воровал на верфи, всех сюда спровадили.

Продукты на лесзаге пока были, но насчет одежды не спрашивайте. Из 400 заключенных на 50 человек ежедневно

*) Интурист — организация по обслуживанию иностранных туристов. Добрая половина переводчиков Интуриста сидит в концлагерях по обвинению или по подозрению в шпионаже.

составлялись акты «простоев по разутости и раздетости». Отберут таких после развода, и начинается трагикомедия с переодеваниями.

— Пронин! — приказывает комендант, — снимай фуфайку, отдай Гусеву.

— А я в чем останусь?

— В чем есть. Все равно, босой, а на Гусеве ботинки. Впрочем, можешь взять его ботинки. Тогда Гусев останется в бараке, а тебя в лес. Выбирай...

Дилемма была простая. Пронин раздумывал недолго: сбрасывал фуфайку и шел в барак.

Таким «сталинским методом» «одевали» еще три десятка людей и посылали их в лес, а остальные, в нижнем белье и зимних шапках, «кантовались» на нарах. Это называлось «мобилизацией внутренних рессурсов». Так выполнялась вторая пятилетка в четыре года...

С грехом пополам я набрал четырнадцать сплавщиков. Одна молодежь, одни урки, только трое прошлый раз плыли со мной, а остальные совсем новички. Не мне управлять таким народом! Это не кожвинские спецпереселенцы, которые за масло и сахар полезли бы в ледяную воду. На этих нужна еще и авторитетная глотка, а в этом я слабоват. Но выкрутился.

Опять товарищ Сталин явил пример; вспомнил, что поджилки трясутся не перед ним, а перед Ягодой и Морозом... и я разыскивал себе двух блатарей — бандитов, которым дозарезу хотелось попасть в Покчу. Там у них остались «возлюбленные».

— Хорошо. Поплывем, только условие: вы обязаны всю эту хевру держать в ежовых рукавицах. Потребуется в воду, пусть в воду прыгают, не дожидаясь вторичного приказа. Будет тяжело, на свой счет литровку поставлю, но лес должен быть на верфи весь, до одного бревнышка!! Одним словом, я приказываю вам, с вас спрашиваю, а уж вы их заставляете. Но без мордобитий! — предупредил я.

— Все будет в порядке, Михал Михалыч! Ты лишь мигни — по сухому плоты потащат. Хевра нас знает... Только выручи из лесзага!

Я еще раз осматриваю свою «команду». Боже, какие типы! Вот бы их да пустить одних по печорским деревням!.. Однако, все же люди. Не сегодня-завтра пойдет снег, а они полуразуты. Кто в рваных ботинках, кто в таких же резиновых тапочках, как и я. Лишь оба «помощника» одеты щеголевато — в широких брюках, в хромовых сапогах и новых фуфайках и бушлатах. Эти не простудятся.

— А тут что у тебя?! — удивился я, заметив у щуплого шкета *) до отказа набитый мешок, — откуда столько барахла?

---

*) Уголовный жаргон. Шкет — начинающий мелкий жулик.

— Оставь его, Михал Михалыч! — вмешиваются «помощники», в мешке наши одеяла. Не ночевать же под бушлатом!

Бандиты — народ солидный. Им по штату не положено самим таскать барахло. Есть мелкие сявки, они и носят!.. Я промолчал. В чужой монастырь со своим уставом не суйся!

Взглянув на свинцовое небо, поеживаясь от холодного и сырого осеннего ветра, я зашел в контору и написал радиограмму.

«Покча Судострой Ухлину.

Седьмого октября возвращаюсь. Принял четырнадцать плотогонов семьсот пятьдесят кубов леса. Ожидайте двадцатого. Лес доставлю, людям готовьте места лазарете. Плывем тапочках рваных фуфайках склады Вершинина пусты. Розанов».

Все, чем мог нас снабдить Вершинин — это котлом для каши, лучшими на лесзаге продуктами и лодкой.

Целый день «команда» мастерила шалаши, таскала на них мох, дерн и сухой валежник для костров. Каждая тройка получила плот в 150 кубометров, а на каждые два плота — одного «бригадира» — бандита.

— Мне за всеми не уследить, — собрав «команду», обратился я к ней. Подгорков и Семкин ваши бригадиры, их приказ — мой приказ. Дорогой держать «полтинники» открытыми. Поспим после. Ночи длинные. Застрянет кто, сейчас же всем причаливать к берегу и помогать. Держитесь за мной гуськом, если не хотите купаться в Печоре. Где я проплыву, проплывете и вы. Разинете зепалы *) — на камни сядете. Будете стараться — каждому по стакану водки в Ильиче и Троицко-Печорском. Не думайте, что от Мороза, — из своего кармана! Не вздумайте об том трепаться на верфи. Кто заслужит, — вернется на лесзаг с деньгами и без конвоя. Премию буду выплачивать в пути сам, деньги при мне. Сколько выпьете водки на обратном пути, меня не интересует. В пути вместе, на верфи врозь. Кто станет филонить, тот без пересадки сойдет с плота в изолятор. Пусть потом не ропщет. Тут есть братва, которая со мной проводила летний сплав. Она знает, что я на своем слове тверд. Что заслужите, то и получите. Будете слушаться?

— Будем, Михал Михалыч! Не подкачаем! — заголосила «команда».

Отправив ребят на заготовку запасных виц **), я опять наклонился над водомерным столбом. О, совсем хорошо! За каждый час прибывает по два сантиметра. По сравне-

*) Зепало — рот.

**) Вицы — витые прутья, которыми связываются бревна.

нию с 27 сентября, уровень сегодня выше на девяносто сантиметров. Пройдем пороги!

— Товарищ Розанов, — раздался голос с почты. — К телефону, Вершинин с Курьи.

— Что нового, Борис Александрович?

— Пришла радиограмма от Ухлина. Слушай, что тебя в ней касается. Вот.. «передайте Розанову, что я категорически запрещаю ему употреблять по эфиру выражения, подобные примененным в его последней рации». Понял?

— Разумется. Это насчет подготовки лазарета. Он прав, но и я тоже. Сообщи ему, что, вместо седьмого, отплываю восьмого. Теперь, кажется, воды хватит. Прощай, Борис, привет супруге!

— Так не забудь же рассказать Ухлину всю правду о лесзаге. Он тебе верит.

— Нет, нет, не забуду! Всего!

Утром, с красным флагом на моем «командирском» плоту, мы отчалили в дальний путь. Под дерном в шалаше я спрятал магическое средство продвижения плотов — четыре литра спирта. Не пожалел собственных «командировочных». Игра стоила свеч. Либо докажу, что сплав возможен, либо...

— Эй, ты, раззява! Смотри, куда тебя сносит, трам-тарарам!.. Слева, слева отталкивайся! Сильнее! Хвост, хвост-то заносит. Оттягивай его, сукин сын!..

По Печоре на пять километров вниз и на пять вверх разносились мои вопли, уснащенные ядреными словечками. Без отборного мата лес с таким народом не плыл. В этом меня уже убедил летний сплав. На третьи сутки я совсем осип от крика, но зато самые опасные пороги остались позади.

Раза три плоты садились на подводные камни и крутились на них, как жук на иголке, пока, наконец, «бригадиры» не загоняли сплавщиков в Печору. Стоя вместе со мной по брюхо в холодной воде, они натуживались по-настоящему, и плот медленно сползал с камней, потеряв несколько бревен.

А нудный осенний дождь лил, не переставая. Вода прибывала с каждым часом. Мокрые плотогоны танцовали у костров. Ветер и дождь пробирали до костей. Старые бушлаты и тапочки согревали только в теории.

Уже темно. По команде — «прибиваться на ночлежку к правому берегу!» — ребята собрались на моем плоту, проглатывая у костра ужин, который я сам приготовил. Каша выходила знаменитая. Ни в одном лагере никогда такой не кормили. Не жалел в нее ни масла, ни сахару. К стахановской норме прикупил в Мамылях и Якше по 5 килограммов масла и сахара. Подстрелянных дорогой зайцев ребята сами варили в котелках, а зайцев по берегу шаталось доста-

точно. Набив желудки горячей кашей и сладким чаем, съев добрый кусок мяса, ребята на час согревались и веселели.

Но сон у берега был плохой. Шалаши протекали костры тухли. С плотов разносился тяжелый кашель. Людей губила не работа багром, а осень и тапочки. Только три человека отдыхали от дневного холода. То были «бригадиры» и я, принятый ими в компанию, под их ватные одеяла. Немножко мучила совесть, что вот, мол, я в тепле, а двенадцать остальных час дремлют, час сушатся. Но... я же в Советском Союзе, где равенство и братство! Никто мне не делал замечания. Всем это кажется нормальным. Так поступают все, почему же мне быть исключением?

Слава Богу, кончились дожди! Проглянуло солнце, зато поднялся столь жуткий северный ветер, что, пожалуй, не стоило и радоваться. Хорошо еще, что мы уже выплыли на среднюю Печору, к Илычу. До верфи осталось только шестьдесят километров открытого широкого плеса, без камней и порогов. Главные трудности преодолели.

— Причаливай на дневку! Переждем ветер.

— На дневку?! Ура!

«Команда» повеселела. Председатель Усть-Илычского сельского совета отвел пустую баню, где сплавщики, натопив ее до предела, прогревали свои кости. Расположившись сам, как «начальник», у знакомого зырянина, предупреждаю бригадиров:

— Своей судьбой отвечаете за каждую курицу и каждый горшок молока. Чтоб от председателя не было ни одной жалобы! Кажется, кормлю до отвала. Могут отложить воровство до другого раза.

Страх перед «бригадирами» был сильнее профессиональной страсти проверять чужое добро. Ночь прошла спокойно.

Вот за поворотом реки показалось Троицко-Печорское. Еще тридцать километров — и дома!

Ветер с низовьев колол, как иголками, замедляя ход плотов. Наступили морозы. Мокрые бревна обледенели, и люди уж не раз падали с них в студенную воду. Резиновые подошвы тапочек скользили по бревнам, как по льду.

Ноги от холода и огня у костров приняли болезненно-красный цвет и опухли. У многих высыпали фурункулы. Двух била лихорадка, и они лезли в самый огонь, прожигая брюки и бушлаты. От мокрых багров руки потрескались и кровоточили. С утра — прямо невозможно держать багор. Подсохшие за ночь раны при попытке сжать багор пальцами трескались, вызывая адскую боль. А тут еще этот леденящий ветер и обжигающие брызги воды! Кашель не давал сомкнуть глаз. Только у самого огня удавалось вздремнуть на самое короткое время. От дыма и бессоницы глаза слезились. Мы были на пороге полного физического истоще-

ния. Осенний сплав без сапог, плащей и одеял, без запасной ватной одежды, без канатов и якорей делал свое дело.

Еще пять таких дней, и все до одного слягут. Даже я, при своей жилистости, чувствовал неимоверную усталость и болезненную ломоту во всем теле.

— Что хочешь делай, начальничек, больше не могу. Ссаживай и передавай стрелку. Все одно, подыхать, так уж лучше в тепле! Будь проклят этот лес! Зачем я напросился, сидел бы в лесзаге!..

— Выдумал тоже: «Ссаживай», — уговариваю Огурцова. — Осталось двадцать километров. Подумай — двадцать! Завтра к вечеру будем в тепле. Две недели терпел, а под носом верфи, вдруг осекся. Никому не сладко, знаю. Посмотри-ка сюда, — раскрыл я грудь, на которой уж появились красные пятна свежих нарывов, — видишь? Хочешь, на спину взгляни — и там повысыпали. А все ж, брат, начатое дело надо кончить. Мы все плывем добровольно. Каждого предупреждал — «рискуешь»!

Я завожу Огурцова в шалаш и наливаю из последней литровки полстакана.

— Пей, согреет, не будь бабой, крепись. Завтра на верфи всем выхлопочу пятидневный отдых. Отлежишься в бараке и все забудешь.

Двадцать второго октября с обледеневшим флагом, скорченные холодом, мы, наконец, зачалили плоты у верфи.

Инспектор КВЧ Топорков что-то кричит с берега насчет победы над стихией, о славных стахановцах и о новых именах, которые он впишет в «Почетную книгу Судостроевцев».

Но сердца наши молчат.

— В барак! К теплу! Протянуться на нарах! — вот о чем думал каждый.

Четверо прямо с плотов побрели в лазарет, а остальным на утро доктор дал освобождение от работ сразу на пять дней.

* * *

Возможность летнего и осеннего сплава была доказана. Высокое начальство утвердилось в мысли, что «раз один сплавил, то сплавят и другие». Вершинину приказали спустить еще тысячу пятьсот кубов. Он послушался, и.. лес погиб, — обсох и замерз в пути. В последующие годы все попытки сплава тоже кончались авариями.

Плоты либо разбивались о камни и застревали у берегов, либо проплывали мимо верфи, а чаще замерзали дорогой во льду.

Посадят весной или осенью в Курье на плоты людей, дадут багры. «Готово, — скажут, — давай, отчаливай»! Поплыли. «Аврал»! — кричат через двое суток на лесобирже

Судостроя. «Аврал! Плоты проносит!». — Выедут две-три лодки, покрутятся, повертятся у плотов и обратно к берегу, захватив с собой плотогонов. Ну, разве мыслимо пятидесятиметровым канатом удержать на середине полноводной Печоры сто кубов леса? А цепей, тросов и тяжелых якорей нет. Так плоды труда четырехсот лесорубов Курьи и уплывали в море, либо гибли в кустах.

А летом, вообще, с такими «сплавщиками» одни слезы для лагерного начальства. Доплывут урки до первых порогов, разобьют плоты на камнях и, довольные, бредут бережком обратно, проверяя погреба и сундуки в зырянских хатах.

Да и чего ради стали бы сплавщики так стараться и мучиться, как со мной? Водкой их больше не угощали, кормили по норме, а не доотвала, да и плыли они без «бригадиров» — блатарей.

Так сплавленная мною за оба раза тысяча кубов повлекла за собою гибель в последующие годы десятков тысяч кубометров. Едва ли стоило за это вносить наши имена в «Почетную книгу судостроевцев».

Конечно, не ради «интересов государства», или страсти к сплаву, мучался я на проклятых плотах. На то была совсем иная причина. Уполномоченный 3 отдела вел следствие против Ухлина и Вершинина, стараясь обвинить их в том, что они открыли лесзаг «Курья» в районе, откуда, якобы, невозможен сплав леса на верфь. Надо было во что бы то ни стало опровергнуть обвинение. Я рискнул. Карты уполномоченного были биты.

Глава 14

Лагерник - полпред

— Собирайтесь, Михаил Михайлович, в Сыктывкар. Висим на нитке. Лес рубить запрещают. Фураж и техника на исходе. Да, что говорить — сами знаете.

— Отпустит ли уполномоченный 3-го отдела? Он, ведь, на меня косо смотрит.

— Все уже устроено. Я разговаривал с Филимоновым.

— Значит, он подпишет мой пропуск?

— Да .Выезжайте завтра утром. Готовьте необходимые документы, бумаги, возьмите аванс.

Не чувствуя под собой ног, я вышел из кабинета начальника Судостроя Ухлина. Будто меня внезапно вызвали в «Стол освобождения» и сказали: «Распишитесь и отправляйтесь на все четыре стороны». Сердцу тесно, ноги все куда-то просятся. Еще бы, пожить вольно в каком ни на есть, но столичном городе, оторваться на длительный срок от лагерной жизни! Поселиться в гостинице, пойти в кино, рестораны. Да еще в положении заключенного! После семи то лет Соловков и Печоры!.. Этого не опишешь — это прочувствовать надо! На какой-то срок стану будто вольным гражданином. Что я говорю! Вольный боится концлагеря, а мне, ведь, его страшиться нечего.

В заднем кармане, на случай встреч с НКВД и милицией, я имею специальный пропуск, по которому

> «заключенный Розанов, осужденный тройкой П. П, ОГПУ по 58-й статье на срок 10 лет, по служебным делам имеет право бесконвойного движения от Покчи до Сыктывкара и обратно, сроком до 1 марта 1937 года».

Для всех других я снабжен командировочным удостоверением:

> «Предъявитель сего, представитель Судостроя Ухтпечлага НКВД Розанов М. М. командируется в гор. Сыктывкар для разрешения производственных и хозяйственных вопросов Судостроя в правительственных органах Коми-республики».

Чувствуете? — Представитель! Где тут сказано, что я заключенный? А, может, я член Всесоюзной Коммунистической партии, да к тому же — кадровый служащий НКВД? Ну-ка, суньтесь! На моем лице не написано, что я концлагерник, да вдобавок политический.

На квартиру к отъезжающему начальству (стало быть, ко мне) уже послан лагерный портной, чтобы вычистить и выгладить костюм. Представитель обязан выглядеть представительно!.. Известно исстари: по одежке встречают...

— Что вы нам очки втираете!! — воскликнут некоторые читатели, — «костюм» у заключенного!.. Знаем, полосатый, как зебра, арестантский комбинезон.

— Ничего подобного! Таких нет и не было. Полосатые комбинезоны пока что принесли бы одни убытки НКВД. Одетого в гражданское обмундирование заключенного еще можно убеждать в том, что «труд и для него есть дело чести и славы», но попробуйте убеждать, натянув на него тюремный комбинезон! — даже большевистский язык не повернется! Может быть, прогрессирующая по пути коммунизма советская власть и дойдет до этого, но в те годы заключенные концлагерей снабжались тем же обмундированием и обувью, что и вольное рабочее население. Вначале, когда советская власть была еще бедна, — с 1929 по 1932 год, — ГПУ одевало концлагерников в Соловецких лагерях так, что любо посмотреть: — ботинки и сапоги кожаные, на спиртовой подошве, от «Скорохода», брюки и гимнастерки — зеленые, военного покроя, бушлат — из солдатского сукна, все от Ленинградодежды. Потом советская власть, разбогатевшая на первой пятилетке, заскупилась. И материал пошел хуже, и носить его заставляли, дондеже не свалится.

Каждый лагерник был вправе носить собственную одежду. В 1935 и 1936 годах таким лагерникам даже выплачивали за это до 2 рублей в месяц. Власти это было выгодно! Ежовых рукавиц у нее хватает, а вот с одежонкой туго. Пусть же арестанты, по возможности, свою таскают, утешаясь тем, что в СССР нет пока полосатых тюремных халатов с номером и бубновым тузом, — их отлично заменяет всепроникающий надзор и сыскная гибкость НКВД.

* * *

Вот и столица. Не Москва, но и не деревня. Тридцать тысяч жителей. Центр культуры и цивилизации. Театр, два кино, четыре пассажирских машины, два городских автобуса, магазины и аптека.

На весь город только одна гостиница — «Дом Крестьянина», в которой не только крестьянина, но и колхозника не увидишь. Таков уж стиль эпохи — не всякой вывеске верь. Гостиница до отказа набита приезжим начальством из районов и Москвы.

— И вы думаете, что я на улице стану ждать, когда освободится номер?

— Вам нет нужды доходить до этой крайности, — отвечает заведующий. — Идите в представительство Ухтпечлага — оно вас устроит.

«Дудки! — думаю я. — На чорта мне сдалось представительство Ухтпечлага! Я сам представитель, — без них обойдусь. Пойду-ка я к защитнику «права, свободы и справедливости», — в управление НКВД по Коми-республики. Что я теряю? Ничего. Вольному в НКВД зайти страшно, а мне хоть бы хны! Во-первых, я уже арестован, во-вторых, я им не подведомствен, в-третьих, их задача помогать. хозяйственной деятельности лагерей, чей хлеб они едят.

На берегу Вычегды, почти напротив пристани, протянулось коричневое двухэтажное каменное старинное здание. Кажется, будто и решетки на окнах поставлены еще в прошлом веке. На всем здании печать какой-то молчаливой угрюмости. Тот же, что и всюду в городе, досчатый тротуар, но он пуст. Народ, видно, предпочитает делать крюк. Под вывеской «Комендатура Обл. НКВД по Коми - республике» широкая стеклянная дверь и двое часовых.

— Вы к кому? — встречает меня на лестнице военный без знаков различия.

— Хочу говорить с комендантом.

— По какому вопросу?

— Содействовать мне в получении номера в гостинице.

— Кто вы такой?

— Представитель Судостроя Ухтпечлага. У нас ряд важных вопросов в местных наркоматах, и я командирован, чтобы ускорить их разрешение.

Военный подводит меня к небольшому окошечку.

— Товарищ комендант, до вас!

Я вторично отвечаю на те же самые вопросы.

— Трудно с гостиницей. Теперь предпочитают устраиваться частным путем у городских жителей. Попробовали бы, а?

— Я не вправе этого делать. Уполномоченный 3-го отдела предупредил, чтобы я не вступал в сношения с местным населением. Я же заключенный. Вот мой пропуск. К тому же, служебные бумаги лагеря приравниваются к секретным документам, и за пропажу их я отвечаю в уголовном порядке.

Взгляд коменданта скользнул по моему толстому портфелю и перешел на пропуск. Воцарилось минутное молчание. Комендант «мыслил» . . .

— Лида, соедини меня с заведующим «Домом Крестьянина» . . . Так . . . Кто? К вам через полчаса придет представитель Судостроя Розанов. Обеспечьте ему номер . . . Знаю, что заняты Переведите в общий номер . . . У вас три одиночных номера. В одном зам. наркома? Так. В другом инспектор Край НКВД. Так. Кто в третьем? Инспектор из Всекопромсоюза? Вот его и переведите в общий номер. А Роза-

нов должен жить один. Никого к нему не поселять. Поняли, а?

Конечно, заведующий понял! Попробовал бы он не понять коменданта НКВД по Коми-республике!..

*

Сегодня в президиуме ЦИК-а рассматривается один из вопросов Судостроя — о передаче ему в эксплоатацию 20.000 гектаров лесной площади в верховьях Печоры. В споре по этому вопросу уже разругались на Печоре Леспромхоз и Райисполком, с одной стороны, Райком и Судострой, с другой: в самом Сыктывкаре я к этому заседанию заручился словесной поддержкой второго секретаря Обкома ВКП Булычева и заместителя председателя ЦИК-а Хрипова.

В зале заседаний ЦИК-а весь цвет республики: наркомы, прокурор, начальник НКВД, руководители трестов и... и я.

— По четвертому вопросу слово имеет представитель Судостроя товарищ Розанов. Время — 5 минут.

.. Таково — резюмирую я — положение. Тут только два выхода: либо здесь сейчас же передать нам эту площадь, как сырьевую базу, либо отказать, чтобы мы добились того же в Москве. Там нас поддержат два наркомата— водный и лесной. Мнение их я сейчас выскажу. Но было бы напрасно ..

— Товарищ Розанов, время истекает! — возглашает председатель ЦИК-а, пододвигая на всякий случай звонок.

Признаю. Однако, я должен убедить в справедливости наших притязаний и уважаемого товарища Макеева. Как председатель треста «Комилес», он при каждом случае старается вставлять нам палки в колеса. И здесь, и в Обкоме, и в Москве. Выслушать меня в «Комилесе» он отказался, так я хочу переубедить его здесь. Ведомственный подход к вопросу не делает чести...

Дзинь-дзинь-дзинь, — звенит звонок. — Кончено! Вопрос ясен. Кто за проект резолюции? Голосуют только члены правительства! Раз-два-три-семь. Против? Один-два... Два. Следующий вопрос — подготовка к навигации...

Через час телеграф уже передавал в Покчу текст постановления ЦИК-а. Итак, третье поручение тоже выполнено. Значит, не зря ем лагерный хлеб! Но было бы наивно думать, будто все вопросы разрешаются с такой опереточной легкостью. Прежде чем отпечатать проект резолюции, я пять дней бегал по всяким «государственным мужам» Коми-республики, уговаривая их, убеждая, доказывая или, как говорят на казенном языке, — «уточнял, увязывал, согласовывал» — переставляя фразы и запятые с одного места на другое, лишь бы подписались под сутью дела: «передать лесные массивы Судострою».

На одних действовала подпись секретаря Обкома под нашим притязанием на лес, другие соглашались со мной потому, что вопрос близко их не касался, а отвязаться от меня было трудно.

* * *

Каких только ведомств не наплодилось от супружества советской власти с большевизмом! Вот, например, «Уполкомзаг» — Уполномоченный Комитета Заготовок при Совнаркоме СССР. Он — хозяин всех продовольственных и фуражных резервов страны. Чиновники комитета в областях и республиках не подчинены местной власти и оттого чувствуют себя как бы князьками.

Пришлось пошуметь и в этом ведомстве. В начале марта приходит телеграмма:

— «Добейтесь наряда отпуска Судострою двухсот тонн сена соседних районов противном случае консостав выйдет строя программа срывается Ухлин».

В Наркомвнуторге, уже знакомый плановик фуражного сектора, разводит руками:

— Рад помочь, да не могу. И сено есть, но его забронировал Уполкомзаг.

— Для кого?

— В резерв будущего года.

— А у нас сейчас лошади дохнут...

— Все равно! Без наряда Уполкомзага даже председатель ЦИК-а не вправе подписать приказ об отпуске сена.

— А могли бы вы дать мне официальную справку, что сено имеется и что никто на него не претендует?

— Отчего ж нет?

Вооруженый справкой за подписью Наркомторга, я через час уже наседаю на Уполкомзага Алибаеву.

— К сожалению, в мои функции не входит спасать ваших лошадей. Где вы были раньше?

— Повторяю: мы обмануты Троицко-Печорским райисполкомом. Вместо обещанных 300 тонн сена, он выдал только 100.

— Меня это не касается. Разбирайтесь на месте.

— Ваш очень разумный совет может пригодиться мне, но, к сожалению, не лошадям. Пока мы будем разбираться, кто прав, кто виноват, они все передохнут.

— Подохнут — под суд пойдете.

— Кто?

— Вы! Судострой! Кто персонально, меня не интересует.

— При этой крайности и для вас на скамье подсудимых найдется уголок. Мы немножко подвинемся...

— Вы разговариваете недопустимым тоном. Это — дерзости!

— Я говорю то, что обязан сказать. За свои слова я отвечу перед законом. Лошади принадлежат мне в той же мере, как и вам. Они государственные, советские. Состоят на балансе ГУЛАГ-а НКВД... Сено, гниющее в соседних районах, принадлежит Судострою в той же мере, как и другим, нуждающимся в фураже предприятиям Коми-республики. И вот нашлось должностное лицо, — я не говорю — ведомство, — которому сено не нужно, но на котором оно, однако, сидит... Если вы меня не понимаете, то, думаю, меня лучше поймет прокурор республики, к которому я сейчас и пойду.

— Что вы так горячитесь! Кто вам отказал в сене? Я только сказала, что вы опоздали со своей заявкой!

— Я очень хорошо понял...

— ... Сено вы получить можете, но это теперь зависит не от меня.

— От кого же? Кто ж, наконец, хозяин гниющего сена?

— Уполкомзаг в Москве. Обратитесь туда.

— Спасибо! Затеется переписка, а тем временем лошади и подохнут. Знаю!.. Я уж лучше к прокурору пойду...

— Не волнуйтесь! Садитесь, мы сейчас вместе составим телеграмму, и дня через два уже будет ответ. Верьте мне.

Алибаева, очевидно, перетрусила и подписала-таки телеграмму в таком духе, как мне было нужно.

На третий день приносят в гостиницу ответ:

«Сыктывкар Уполкомзаг Алибаевой
Копии: ЦИК Агееву
Представителю Судостроя Розанову.
Где вы были раньше? Выдайте наряд Судострою двести тонн. Молотов».

Ого, до кого дошло! Сам председатель Совнаркома и Уполкомзаг СССР телеграфирует мне! Вот здорово! Спасибо, Вячеслав Михайлович! Неровен час, угодишь на Печору, — выручим.

— Ну, как, товарищ Алибаева, нравится вам ответ Молотова? — спрашиваю я — «Где вы были раньше?» — ехидно повторяю я.

Уполкомзаг молчит и нажимает на карандаш, выписывая наряд.

Выполнено и это задание Судостроя! Воистину, нет крепостей, которых не могли бы взять большевики!

Отправив наряд, я подумал: «А какую пользу принесет вся эта волынка? Уже пятнадцатое марта. Еще месяц, и дороги станут. Чтобы перевезти двести тонн за сто километров, нужно сделать восемьсот рейсов, каждый продолжительностью в неделю. Это значит, нужно поставить на перевозку двести лошадей, когда их у Судостроя всего-то двести двадцать! А на чем же возить лес и продовольствие?.. Впрочем, меня это не касается. Я теперь могу рассуждать,

как Алибаева. Свое дело сделал — сено достал. Пусть теперь болит голова о лошадях у кого-нибудь другого на Судостроe... Я поступил чисто по-большевистски — свалил с себя ответственность на других. А на кого будут те сваливать падеж лошадей, меня не касается.

* * *

Сегодня в кино «сам» смакует на экране проект лучшей в мире конституции. Я жду, что вот-вот зрители захлопают и возопят: «Спасибо, товарищ Сталин, наш отец, благодетель, гений и прочее и прочее! Но... ничего не произошло. Народ безмолвствовал и грыз семячки. Ждали, когда начнется фильм, — кино-комедия «Закройщик из Торжка». На нее и были куплены билеты! А Сталину, за его конституцию, еще раньше отхлопано, на специальных митингах.

Вот что происходит, когда масса «не организована». А, между тем, для Коми-Зырянской народности большевики все-таки, кое-что сделали. В Сыктывкаре (прежде он именовался Усть-Сысольском) провел часть своей ссылки Джугашвили. Пожаловаться на условия ссылки он не мог: одной рукой, без большой опаски, строчил погромные статьи, другой ласкал юную зыряночку. Кавказская кровь и на Севере не охладела. Историки когда-нибудь повеселят читателей более пикантными подробностями жизни «вождя» в Усть-Сысольске, а я отказался от предложенного знакомства со сталинским потомством.

— Напрасно, Михаил Михайлович! Он интересный мужчина. Пьет, как большинство зырян, запоем, и за каждым стаканом ругает папашу.

— А папаша знает?

— Знает, да молчит. Быть отцом народа ему, очевидно, приятнее, чем быть отцом незаконнорожденного и непочтительного сына-алкоголика.

— М-да! В семье не без урода!

— Вы это про кого?

— Так, вообще...

*

Время незаметно летело. Скоро назад в лагерь. Все причины для продления командировки исчерпаны. Наступила уже настоящая весна. Вычегда тронулась, унося в Белое море обычную дань — десятки тысяч незаконченных сплоткой бревен...

Сегодня меня неожиданно посетил мой патрон—Ухлин. Он едет в Ленинград в отпуск.

— Не понимаю, почему Мороз разрешил вам отпуск! За этой добротой что-нибудь да кроется.

— Вы постоянно все переоцениваете, Михаил Михайлович! Я третий год не был в отпуску. Прибавьте к этому

еще 3 года моего заключения. Уже седьмой год, как я из Ленинграда. Там жена, дочка. Десять раз просил отпуск и все отказывали. В конце концов, разрешили. Что ж тут особенного?

— А то, что вам позволили в самые критические дни покинуть Судострой. Это и наводит меня на раздумье. У большевиков по-морскому — капитан покидает судно последним. Вы же списываетесь на берег... А сейчас повсюду аварии, не только на Судостроe.

— Уж не думаете ли вы, что разгром право-троцкистского блока отзовется на нас?

— Определенно! Уже второй месяц я ощущаю какую-то нервозность в наркоматах. Внешне все идет, будто бы, по-старому, но внутри что-то перестраивается. Прежде меня всегда без очереди принимал заместитель председателя ЦИК-а Хрипов. Мы с ним и про дела беседовали, и шутили, как равные. Конечно, он понимал, что я заключенный. Как-то он даже заметил мне: «Поехали бы с этим вопросом в Москву (дело шло об отчуждении колхозной земли Судострою), в Кремле частенько слушают доклады заключенных специалистов. Ваш ГУЛАГ НКВД все может...». А теперь Александр Иванович, видно, боится говорить со мной с глазу на глаз. Вхожу в порядке очереди, в кабинете обязательно торчит технический секретарь ЦИК-а. Да, кстати: Макеева — председателя Комилеса, уже нет в Сыктывкаре. Главный наш противник уехал. Вчера еще он был председателем Ураллеса. У него в Наркомлесе были крепкие связи. Но сегодня и о нем сказали: «Посажен, как враг народа». Официально еще ничего не известно, а весь Комилес уже знает. За Макеевым потянут других.

— Мы-то тут при чем?!

— Макеев, может быть, тоже не при чем! Нужно — взяли да посадили. А мы кто — святые? Семьдесят процентов выполнения программы! За это орденов не дают. У Комилеса такое же выполнение плана.

— Вы несете чушь, Михаил Михайлович. Мы виновны! Как я мог строить баржи без пакли, болтов и гвоздей, от кого зависит доставка технических материалов? От нас?

— От управления лагеря — от Мороза. Понимаю. Вот он нас и посадит, чтобы себя обелить.

— Никогда этому не поверю. С Яковым Моисеевичем я работаю седьмой год. Суров — не спорю, однако, зря под суд не отдаст. Сам работает по двадцать часов, но и от нас того же требует.

— Скажите, Анатолий Николаевич, положа руку на сердце, если бы Мороз завез нам технику на все 52 баржи, могли бы мы их построить?

Ухлин как-то неуверенно ответил:

— Конечно!

Вы сказали то, чего не думаете. Мы не могли выполнить программу — не было леса. Лес заготовляем мы, значит, мы и виноваты. Вы забыли августовскую телеграмму Мороза: «В случае невыполнения программы вынужден буду передать дело следственным органам». Будьте покойны: это слово он сдержит, а потому, Анатолий Николаевич, послушайтесь совета — останьтесь в Ленинграде, не возвращайтесь. Лучше превратитесь там в Николая Анатольевича... Быть беде! Мы уж тут без вас как-нибудь выкрутимся.

— Чудак! У вас больное воображение. Ничего не случится. Мороз знает, что я работал честно.

— Я сказал, что думал. Дальше — как сами знаете. Ну, за счастливый путь!

Мы вышли из гостинницы к автобусу, доставлявшему пассажиров на ближайшую железнодорожную станцию Мураши — за 450 километров от «столицы»!.. (Этот тракт тоже построили заключенные).

Навстречу, разбрасывая потоки грязи и гремя цепями, шел транспорт автомашин, груженных паклей, болтами, железом, смолой.

— А здорово Мороз нажимает на Москву! — улыбается Ухлин. — Только поздно. Мы получим эту технику лишь в июле. С первыми пароходами. Она застрянет на полпути в Чибью, дальше машины итти не смогут.

Тогда незачем сейчас гонять их за 800 километров от Мурашей до Чибью. В июле мы и без Мороза получим эту технику морем из Архангельска. И обойдется она в сто раз дешевле.

— Мороза цена не интересует. Ему важно, чтобы техника, при всех трудностях бездорожья, все-таки, двигалась к Судострою. Кто упрекнет его в бездеятельности? Смотрите, сколько идет машин! И по какой дороге! В самую ростепель! Вот что делает сильная воля настоящего руководителя-большевика. Другой бы опустил руки перед такими трудностями, а Мороз, наоборот, —крепче закручивает гайку. За это мы, инженеры, и уважаем его.

— Ну, из кабинета гайки закручивать — наука нехитрая. Приказывать и требовать — самое легкое дело. На это не нужно ни ума, ни знаний. Лишь бы чувствовали страх перед тем, кто распоряжается. А как не дрожать перед Морозом, когда ему даже 3-й отдел подчинен. Отнимите у Мороза право арестовывать и отдавать под суд вольнонаемных, сажать в изолятор и гнать на лесозаготовки непослушных специалистов из лагерников, — тогда вы увидите Мороза без ореола величия — таким, каков он есть на самом деле.

— Вы забыли, видно, что Мороз из ничего создал Ухтпечлаг. Кто построил эти нефтепромыслы на Ухте? Мороз. А что сделали раньше нефтепромышленники? Покопались, покрутились и в Баку вернулись.

— И сделали, скажу вам, разумно. Не могли же они рассчитывать на даровую рабсилу, как сейчас Мороз? Нобели добывали нефть не в интересах трудящихся, а в своих собственных. К ним сюда и за десятку никто бы не пришел работать. То был капитализм. Мороз и мы живем при социализме. Страна принадлежит трудящимся. Нефть нужна им. Оттого и гонят этих самых трудящихся десятками тысяч туда, откуда ушли капиталисты. Раньше рабочих на Север привлекали длинным рублем, а теперь гонят толстым дубьем. Прежде строй трепетал перед трудом, теперь труд трепещет в лапах строя. Вот какова диалектика, Анатолий Николаевич!

— Я вам запрещаю продолжать подобный разговор. Что с вами? На Судострое вы вели себя иначе. Кто это вас «просветил» в Сыктывкаре?

— Жизнь. Не сразу, а шаг за шагом. На Судострое я с вами беседовал только как подчиненный экономист-лагерник. Сейчас я разговариваю с инженером Анатолием Николавичем, который больше уже не вернется на Судострой.

— Но я вернусь. Я дал слово Морозу.

— Мороз проживет и без вас. Я вам никогда не давал плохих советов — послушайтесь и на этот раз!

— Вы, право, чудак! Кто и в чем меня может упрекнуть, если даже я сам не чувствую за собой ни малейшей вины. Все, что мог — я сделал.

— Времена, когда внутренние убеждения имели цену, канули в Лету, Анатолий Николаевич. Вас не спросят, чувствуете ли вы себя в чем-либо грешным. В папках Филимонова на вас, наверно, кляуз собрано уже достаточно.

— Объективная правда сильнее кляуз. Я верю в нее. Ждите через две недели. Смотрите, на Судострое держите язык за зубами.

— Да. Прощайте!

— До свиданья!

*

Через неделю, распрощавшись со всем, «что сердцу мило», я покинул Сыктывкар, увозя на Печору, вместе с приятными воспоминаниями, какое-то щемящее чувство растущей опасности.

Первого мая, одолев глинистый и вязкий Тиманский кряж — водораздел Двины и Печоры — я снова очутился в знакомом Троицко-Печорском. Тут еще пахло зимой. Холодное дыхание близкого Урала отгоняло напиравшую весну. Весенний ветер вырывал из вмерзших в лед вешек последние былинки соломы. Вехи отслужили свой срок. По широким забережьям уже промышляли утки, отощавшие за долгий путь. Нет-нет, да и разнесется мощный треск лопающегося льда. Зимнее платье для весенней Печоры стало узким

—вот и трещит по всем швам. То тут, то там идут подвижки льда. Метровые толщи, встретив на пути изгиб или узкое русло, лезут на берега, срезая, ломая, обдирая кусты и деревья. Одна на другую взбираются, теснятся и рушатся льдины, создавая ледяные заторы и косы. А сзади напирают новые километровые поля. Местами, особенно при заторах, на берегах образуются толщи льда, высотою до пяти метров. Так до самого июля и белеют эти ледяные шапки где-нибудь в кустарнике, в тридцати — ста метрах от воды. Подъедешь весной к ним на лодке и невольно наполнишься чувством преклонения перед силой, способной в минуту совершить эту гигантскую работу — перед силой стихии.

Пока я с высокого берега любуюсь величественной картиной рождения весны на Печоре, пароход под боком, в затоне, уже набирает пары, готовясь вместе со льдом покинуть зимнюю стоянку. Четвертого мая, провожая взглядом последние проплывшие льдины, схожу на берег Покчи с тяжелым предчувствием какой-то беды.

Иллюзия свободы кончилась. Тяжелая реальность давила со всех сторон, угнетая волю.

И здесь, как в Сыктывкаре, за внешней картиной чувствовалось что-то новое, неуловимое и тревожное. То вскользь кем-нибудь брошенный намек, то резко, не к месту, произнесенное слово подогревали мое нервное состояние. Вереница заложенных барж, тянувшаяся вдоль берега, вставала в утреннем тумане каким-то грозным призраком. Верфь сидела без техники и без леса. Люди копошились на случайных работах: очищали берег от толстого слоя строительного мусора, перебирали уже десять раз сортированные остатки бревен, выискивая мало-мальски пригодный материал. Судострой пришел к логическому концу безрассудного «руководства сверху». Что посеял ГУЛАГ, то и уродилось — прорывы, прорывы и прорывы.

— Нет, Виталий Григорьевич, — твердо отрезал я старшему инженеру Маслехе, — уговоры бесполезны. Я в контрольно-плановую часть не возвращусь. Можете загнать меня. куда угодно: в лес, на конопатку, на выкатку бревен — все равно, мое слово останется твердым. Эти планы мне осточертели. Вечно планируем тысячи тонн, а строим сотни. Пятый год одна и та же волынка.

— Так кто же вас винит в этом?! Мало ли причин невыполнения плана? Они ни от меня, ни от вас не зависят.

— Прежде всего, я сам себя виню за то, что сижу и порчу бумагу, жонглируя цифрами. И это называется «работа старшего экономиста». Она ничего не дает ни уму, ни сердцу. Год выдержал — больше не могу. Отпустите душу на покаяние!

— Не впадайте в панику, Михаил Михайлович! Пока вы были в Сыктывкаре, мы кое-чего добились. Наша прог-

рамма на эти месяцы значительно снижена. То, что мы должны теперь строить, это не так-то уж много, если дадут материалы.

— Зато и строят сейчас в четыре раза меньше! Раньше хотя было из чего, а теперь? Ни леса, ни гвоздей, ни болтов.

Маслеха зачесал голову — признак лихорадочной мозговой деятельности.

— Знаете что, вам нужно месяц, другой отдохнуть. На курорт или в дом отдыха я вас послать не могу — самого не пускают. Но кое-что есть на примете — зачислю вас в штат проектного бюро старшим сметчиком. Там никто не станет дергать. Отдохнете, а потом поговорим. Согласны?

Поблагодарив Маслеху, я пошел на квартиру. Жил я вместе с начальником базы Судостроя Гришиным, симпатичным старичком. Он уже давно кончил срок и третий год служил, как вольнонаемный, опасаясь ехать «на волю». Хотя и существовал приказ ГУЛАГ-а, запрещающий общение вольных с заключенными, но на Судострое его не очень придерживались. Наш домик, площадью в двенадцать квадратных метров, стоял на берегу Печоры, около базы и вдали от рабочих бараков. Всякие лагерные распорядки нас не касались. И теперь я шел на квартиру с намерением в тишине слегка вздремнуть.

Глава 15

Лагерная академия

НОЧНОЙ ВИЗИТ

В железной печке весело потрескивают сухие щепки. Прислушиваясь к храпу Владимира Александровича, я потягиваюсь в мягкой постели из оленьих шкур. Тепло, светло, уютно! Выключаю свет и погружаюсь в спокойный сон.

... Тук — тук-тук...

Кого это ночью чорт принес?

— Владимир Александрович, стучат!

— Слышу! Сходи — ты моложе.

— Вот, чтоб им ни дна ни покрышки! Кто там?

— Комендант Судостроя и начальник ВОХР-а.

Я многозначительно оглянулся на Владимира Александровича.

— Извините за поздний визит, но долг службы обязывает нас к этому, — проговорил Михайлов, начальник ВОХР-а, вынимая из портфеля какую-то бумагу. — Заключенный Розанов, будьте любезны, прочтите.

Чувствуя что-то неладное, я развертываю бумагу и читаю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уполномоченного 3-й части Ухтпечлага НКВД при Судострое от 8. 5. 37

На основании имеющихся материалов, устанавливается, что заключенный Розанов М. М., осужденный по статье 58 на срок 10 лет, будучи старшим экономистом Контрольно-плановой части Судостроя:

а) вошел на Судостроe во вредительскую оранизацию, с целью срыва программы баржестроения;

б) составлял планы, не обеспеченные рабсилой и материалами;

в) занимался бесцельными переброскими рабсилы с объекта на объект и создавал ее простои;

г) вел антисоветские разговоры и выступал перед заключенными, говоря о нереальности плана;

а потому, на основании вышеизложенного, привлекается к ответственности по статье 58, пункт 7.

Мера пресечения на период следствия: содержание в следственном изоляторе по первой категории (без вывода на работу).

Подписал: Уполномоченный 3 части **Филимонов**

Утверждаю: Начальник 3 отдела Ухтпечлага **Черноиванов**

— Прочли?

— Да.

— Распишитесь вот тут. Теперь покажите ваши вещи... Нет, вы, товарищ Гришин, оставайтесь в постели. Комендант ,проверьте чемодан заключенного Розанова. Все бумаги оттуда изъять. Сейчас мы составим акт на изъятую переписку. Сколько листов? Пятьдесят три? Вам придется следовать за нами.

— Да, я это очень хорошо понял. Благодарю!.. Владимир Александрович, мое имущество в твоем владении. Не забывай передачами. Нет уж, одеяло с подушкой я возьму. Знаю, как это «только на ночь»... Меня всего лишь на минутку пригласили, а вот уж восьмой год парюсь.

Итак, теперь я арестант в квадрате: арестованный арестант! А еще говорят, что жизнь бесцветна и тосклива!..

В КЛОПОВНИКЕ

Вот и переехал на новую квартиру!.. Бр-р-р!.. Нет, определенно не нравится! Никаких удобств: поломанные нары, остатки стола и дырявая-предырявая железная печка. Только одно утешает — въехал один. Для такой «важной птицы» отсюда какую-то мелкую сошку только что перевели в общую камеру. В печке еще тлеет зола.

За дверью щелкнул засов. Третий раз в жизни.

Я оглядываю невольное пристанище. Прежде, проходя мимо в контору, я не раз слышал отсюда возгласы забубенной шпаны: — «Михаил Михайлович, передай махорки, будь человеком! Подзашел на неделю!». Ну, как не вытащить из кармана пачки махорки парню, с которым на пару, босые плыли сотни километров на обледеневших плотах! Шпана, непроходимое ворье, но вместе пили, ели, спали и прыгали в ледяную воду, снимая застрявшие на порогах плоты. Сейчас они там, — «на воле», а я здесь. Судьба играет нами... особенно в лагере.

Видно, мне теперь придется взывать сквозь решетку проходящим знакомым:

— Черти, не забывайте! С утра не дымил!

Клоповник, именуемый изолятором, был построен еще осенью 1935 года, до моего приезда. Строили его наспех, по лагерному методу «тяп-ляп», лишь бы сразу не развалился. Изоляторы в концлагерях на строительных командировках всегда сооружались в первую очередь и на курьих ножках. Люди еще спят под открытым небом или в продув-

ных палатках, а изолятор уже готов. Без него не могло быть никакой дисциплины. Пока нет изолятора, большая часть уголовников всячески отлынивает от работ. Царит повальное воровство и открытый грабеж. Страдает и местное население, если оно невдалеке от лагеря, и свои заключенные. Только изолятор вносит некоторое умиротворение. Одного за другим тащат в изолятор «блатарей» — атаманов лагерных шаек разбойников. Отсюда их группами переотправляют в центральные изоляторы лагеря, а там не разгуляешься.

Изолятор, конечно, не искореняет воровства. Оно остается, только мельчает; зато открытые грабежи и бандитский террор прекращаются. «Колхозники» облегченно переводят дух и по свойственной русскому мужику натуре начинают «окулачиваться» и «обрастать»: заведут кружки, запасные портянки, сколотят дощатые сундуки. Иные до того осмелеют, что, уходя на работу, даже котелки оставляют в бараке. Когда же мокрая обувь ночью сушится возле печки, а не на усталых ногах или в изголовье — это главный признак мира и порядка на командировке. Тогда на командировке говорят: — «Не жизнь, а малина!..».

Изолятор Судостроя тоже выполнил свое назначение. Никому не улыбалось попасть в это решето. Зимой его не натопишь — продувает снизу, сверху и с боков, летом — полчища комаров и мошкары не дают сомкнуть глаз. А клопы!.. И как они ухитряются зимовать в таком холодильнике!?

Хорошо, что догадался взять полушубок и не одно, а два одеяла. Не могу же я день и ночь шуровать печку! Да и кто даст такую уйму топлива! Знаю эту норму: восемь килограммов сырых древесных отбросов на печку в изолятор. Не очень-то растопишься!

Пока я исследую провалы в двухъярусных нарах и обозреваю, где лучше устроиться —внизу иль наверху — изолятор проснулся.

— Эй, кого там привели в первую камеру?

— Розанов. Знаете такого?

— Да ну! Еще бы? Что такое, Михаил Михалыч?

— Ничего такого. Обычное. С каждым может быть. А это кто там интересуется?

— Козлович. Конопатчик. Третий день тут. Я не один, нас трое из борисенковой бригады.

— Что-нибудь нашкодили?

— Какое там! Какие ж мы шкоды?

— Так за что же?

— Баржа сто сорок третья после пуска дала течь. А мы на ней днище выхаживали, проверяли. Филимонов говорит — вредительски работали. Будто мы выходку с целью плохо сделали. Сегодня только размяк. Вместо следственного дела, припаял нам по десять суток.

— Довольны?..

— Еще бы! Теперь нас и силой не загонят под баржу на выходку. Гнулись, гнулись под ней, а за это вредителями обзывают. Разве каждый сантиметр успеешь за два дня проверить? А в днище-то, почитай- шестьсот квадратных метров! Лучше на лесную биржу пойдем. С баланами работать спокойнее — не привяжутся. А вас за что?

— Пока еще не знаю. Пришли, забрали, посадили — вот и весь сказ. Буду ждать. Объяснят.

Из соседних камер посыпались всевозможные предположения.

Поддержав еще с полчаса межкамерную дискуссию, я залез на верхние нары, расстелил полушубок и с головой укрылся обоими одеялами.

С реки донесся гудок парохода. Удастся ли мне снова полежать когда-нибудь в теплой каюте, на мягкой койке? Эх, ты, судьба, судьба!

«СОБАКА» — СТАРЫЙ СОЛОВЧАНИН

На четвертый день в смежную камеру привели какого-то буйного урку. Колотит в дверь, ревет в окно на всю Печору. Прямо, как белены объелся.

— Да успокойся же, наконец, чорт полосатый!—кричу я соседу.

— Кто я им, «колхозник» что ли? — отвечает тот. — Комендант! Комендант! Комендант, сука тупорылая!!! Веди сейчас же к Филимонову, а не то двери вышибу. За что посадили?!

Из комендантской рубки появляется долговязый, неповоротливый Бурылин:

— Чего расходился? Будешь шуметь — свяжу. Пойдешь, когда Филимонов позовет.

— Вы, суки, сами посадили меня, без Филимонова. Я найду на вас управу. Веди, говорю! Где Танька?

— Простись с Танькой, отгулялись. Отправили ее на этап в Кедровый Бор. Кусалась, стерва, да мы ее связали и снесли на пароход, — с нескрываемым злорадством говорит комендант.

— Ах, вы...! — и полилась на коменданта отполированная ругань, столь артистическая, что ни один издатель, кроме заборного, не взялся бы пропечатать ее. Вслед затем послышался треск разламываемых нар. Изолятор притих, прислушиваясь к ударам и треску.

— Брешете, поведете к Филимонову! Я вам за Таньку кишки на рукав намотаю, ноги повыдергиваю!

Вооружившись накатником от разрушенных нар, сосед начал таранить дверь. Хилая внутренняя стена изолятора заходила ходуном. Дверь то скрипела, то трещала.

— Крак! — послышался звук выбитой из двери доски. Дальше «работа» пошла легче. Слышалось только грозное

сопенье и удары. Наконец, сосед выскочил из камеры в коридор. Полдела сделано! Осталось выбить вторую дверь — из коридора наружу. Удары сыпались за ударами. Но наружная дверь оказалась куда прочнее. Раньше и ее не раз выбивали, но умудренная опытом комендатура сделала эту дверь по всем правилам тюремной техники: двойную, на шпонках и крестовинах из восьмисантиметровых досок, повсюду скрепленных болтами, костылями и скобами. Дверь стонала, но не поддавалась. Звуки ударов далеко разносились по верфи, собирая любопытных.

— Вы чего буркалы вылупили? — грозно обратился к кучке лагерников показавшийся комендант. — А ну, марш по своим местам!

Народ, приученный смиряться под грозными окриками начальства, вмиг рассеялся.

Комендант не спеша подошел к изолятору, постоял с минутку, докуривая папиросу, и, прислушиваясь к слабеющим ударам, хладнокровно спросил:

— Кончил что ли? Выдохся? Сейчас открою. Пойдем к Филимонову.

Послышался лязг тяжелого замка, железная накладина со звоном упала, и дверь открылась.

— Ну, выходи! Только не вздумай бежать! Со мной шутки плохи.

На улицу вышел детина лет двадцати. Белокурые волосы его были взлохмачены. По лицу бежал пот от напряженной «работы». Позади, слегка прихрамывая, в валенках, с палкой спокойно шел комендант.

— Откуда этот вояка? При мне его на Судострое не было.

— Он только второй месяц у нас, — отозвался чей-то голос. — Со своей халявой пришел. Кажется, с рудника Иджид-Кырта. Отчаянная голова. У него и прозвище-то подходящее — «Собака».

— «Собака»? Знакомое прозвище. А как его фамилия.

— Томашевский.

— Ага! Как же, известный тип. Помню его еще мальчишкой. Шесть лет назад он был на Соловецком острове в колонии малолетних преступников. Тогда ему лет четырнадцать было, не больше. Из молодых, да ранний. Все Соловки знали «Собаку». Еще бы не знать его! Он, ведь, там одному из комендантов нос укусил, за это и прозвали его «Собакой»... Ну, конечно, из-за бабы!.. Чем-то кончится его беседа с Филимоновым?

— Известно, чем. Выпустят. Пообещает работать, вот и простит уполномоченный. Это не мы с вами...

Я замолк, воскрешая в памяти один из эпизодов соловецкой жизни, связанный с Томашевским.

Как-то летом 1932 года, в самый разгар кратковременного лагерного либерализма, соловецкая культурно-просве-

тительная часть придумала такой пропагандный трюк. Во дворе соловецкого кремля (монастыря), у стен Успенского собора, было выставлено три гроба. Настоящих: черных, с каймой, на ножках и с приподнятой крышкой. За каждым гробом стоял большой деревянный крест с крупно выведенной надписью: — «Здесь похоронен злостный отказчик от работы», и дальше шла его фамилия. Первых двух отказчиков совсем забыл, и вот третьего, Томашевского, помню, как сейчас. В самих гробах лежали «трудовые обязательства» «покойников», в которых они клеймили позором свое прошлое и клялись впредь честно работать и примерно вести себя.

Гробы простояли недолго. Они исчезли через две недели так же внезапно, как и появились. Оказалось, новорожденные ударники снова ударились в грабежи, воровство и отказы от работы. Горбатого исправит могила... только не пропагандная.

Кто-то из вольнонаемных сфотографировал гробы. И вскоре, говорят, иностранные газеты печатали эти снимки с подписью: «Для устрашения заключенных на Соловках, ОГПУ выставило трупы расстрелянных отказчиков от работы»... Нет, ОГПУ так топорно не работает! У него дело поставлено куда более тонко. Художественно.

Вскоре на Соловках был отдан строжайший приказ, воспрещающий кому бы то ни было из вольнонаемного состава иметь на острове фотоаппарат. Даже начальник военной охраны Соловков, и тот перестал носить на ремне «Лейку» — ее взяли на хранение в ИСЧ.

Через час Томашевский вернулся от Филимонова.

— Ну, как? — спрашиваем.

— В порядке. Купил. Со следующим этапом еду в Кедровый. Только нужно до этого дня поработать. Схожу к Шарыгину. Пусть возьмет вить паклю. Работа теплая — у печки. Как-нибудь перекантуюсь до отъезда.

— И за дверь тебе ничего не было?

— Ха! Я же свои права требовал. Сволочи!

— А не боишься ты, расстреляют тебя когда-нибудь за такие художества?

— Меня?! Еще пуля не отлита!

— Слушай, «Собака»! — когда это ты воскрес?

— То-есть как это воскрес? Когда ж я подыхал?

— А на Соловках в 32-м году. Разве забыл? Не стоял ли во дворе Кремля твой гроб?

Черствый голос Томашевского размяк.

— Ты, значит, тоже соловчанин? Где ты там был? В какой роте? На какой работе? А «Цыгана» помнишь? Шлепнули в тридцать третьем. «Чубчика» знаешь? Да он вместе со мной в колонии был! Который в тридцать втором из подвала ИСЧ бежал. Зарезал свою маруху. На остров Вайгач отправили. Добавили три года.

Томашевский кусками бросал мне истории знаменитостей соловецкого уголовного мира. В нем он вырос, им он воспитан. Дальше этого мира его интересы не простирались. И он искренне верил, что все эти истории с «Чубчиками» и «Цыганами» всех страшно волнуют.

— Кстати, — продолжал Томашевский, — махорка-то у тебя есть? Моя рассыпалась. Коменданты карман разодрали, когда сюда тащили.

Я пересыпал по бумажке через щель горсть махорки.

К вечеру «Собака» — Томашевский уже гулял по верфи. И каждый день, проходя мимо, он кричал:

Сейчас для тебя оставил еще пачку махорки в комендатуре. Вчерашнюю-то получил? А как насчет жратвы? Завтра мясных консервов подброшу. Пока я тут, не забуду.

Даже этот головорез, думаю я, ценит старых соловчан. Мало нас уцелело! За пять лет встречаю только третьего человека из Соловецкого концлагеря и первого — с острова. Тысячи соловчан позатерялись, по другим лагерям, как иголки в сене. А, ведь, нашего брата было там сто двадцать тысяч!

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В НЕСЧАСТЬЕ

Окно моей камеры в изоляторе, густо перевитое колючей проволокой, выходило прямо на Печору. Я видел баржи и рабочих, занятых сборкой деталей. В каких-нибудь двадцати метрах вдоль берега проходила дорога от базы в лагерь. Вон пошел прораб Степа Дударчук, а за ним плетется косой Лунев, бригадир кузнечно-болторезной мастерской. Появился Маслеха и, не дойдя до изолятора, свернул круто влево, скрывшись за откосом берега. И, странное дело, проходя мимо, все знакомые повертывают головы к Печоре, хотя там, кроме воды, ничего нет. Неужели они не знают? Проверю, так ли это.

Я отхожу от решетки, спускаюсь на пол и наблюдаю за дорогой через многочисленные и широкие щели в стене. Мох, проложенный, вместо пакли, между бревен, давно выковырнут моими предшественниками и сквозь щели врывается холодный, сырой ветер.

Вон опять явился Маслеха. На этот раз он пристально смотрит в мое окно. К нему подошел рукраб гражданского строительства Шарыгин. Что-то обсуждая, оба то и дело бросают взгляды на изолятор. Я оставляю тайный пункт наблюдения и подхожу к окну. Да, сомнений быть не может: на реке что-то произошло... Оба — и Маслеха, и Шарыгин — впились в Печору, потом, повернувшись к изолятору спиной, быстро пошли прочь... А Печора попрежнему безучастно несла свои воды.

Располагая временем, я множил наблюдения, и, в конце концов, с несомненностью установил такую закономерность: когда я у решетки, все знакомые и друзья рассматри-

вают Печору, торопливо продолжая путь. Когда же меня не видно, все они глазеют на изолятор, замедляя ход и останавливаясь. Значит, делаю я вывод, всем известно, где я, но все боятся обменяться со мной не только словом, но даже взглядом. А кто знает, нет ли среди них таких, которых не сегодня-завтра ожидает соседняя камера?

Один Гришин, проходя мимо, перебрасывается со мною незначительными фразами, больше по желудочному вопросу — хватает ли передач?

— Спасибо, старина! Мой аппетит несколько спал.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Сегодня — 20 мая, впервые вызвали на допрос. Я иду вдоль линии молчаливых барж, провожаемый сочувствующими взглядами рабочих и бригадиров.

Филимоновское гнездо стояло на изгибе высокого берега Печоры. Когда-то я любил забрести в этот уголок, откуда на юг открывалась безлюдная даль Печоры. Здесь, на сухой песчаной почве, среди сосен и черники, высилось двухэтажное, лучшее на Судострое, здание уполномоченного 3-й части. Верх занимал сам Филимонов с женой, а внизу, в нескольких комнатах, помещалась его контора, кухня и квартира двух сотрудников. Все под рукой. В крохотной передней в любой сезон дрожали вызванные посетители, мучаясь вопросами: «За что? Кто донес? Как обернется дело? Чем кончится?».

Опытная следственная лиса знает, что чем дольше продержать вызванного перед дверью, тем робче и неувереннее будут звучать его ответы. Следователю, жаждущему «закатать» человека, этого только и нужно. Запутавшись в лабиринте приготовленных было на все случаи ответов, несчастный начинает лепетать что-то невнятное. Из этого лепета и возгласов следователь записывает только те выражения, которые облегчают обвинение. Рыбка сама лезет в сети... А если в этот момент такого робкого пескаря оглушить грозным окриком, то он совсем потеряет дар трезвой ориентировки и, подписывая протокол допроса, пропустит мимо ушей все эти каверзы следователя.

Наученный горьким опытом, я не думаю о допросе, а прилежно считаю ряды досок и бревен в комнате, определяя, сколько на них потребовалось древесины.

Прошел час, пока его милость надавила кнопку — знак дежурному сотруднику, чтобы ввести меня.

В кабинете топилась железная печка. Приятная ровная теплота, по которой я уже соскучился в дырявом изоляторе, действует успокаивающе.

Филимонов сидит за столом, сортируя какие-то бумаги и, видимо, не замечая меня.

— Розанов по вашему вызову здесь, гражданин уполномоченный!

Филимонов медленно подымает голову над столом, всматривается, будто изучая меня, и, сквозь ехидный смешок, бросает мне:

— Ну, вот и попались!..

— В чем?

— Разве не читали моего постановления?

— Оно совершенно беспредметно — без указания фактов.

— Не беспокойтесь, у нас и фактов хватает. Вот они!— с чувством довольства проговорил уполномоченный, положив руку на толстую папку. — Мы за вами давно наблюдаем.

— Что же так поздно арестовали, если располагали фактами?

— Это уж мои соображения. А вот теперь — самое время.

— Конечно! В Москве открыли вредителей, и на Судостроое тоже, за компанию, да?.. Только наличие бумаг еще не есть наличие фактов.

— Ну, мне тут философию не разводите! Переливать из пустого в порожнее вы можете — это я давно заметил. Мне ниток не намотаете!.. Садитесь!

Филимонов обмакнул перо в чернильницу и взял лист допроса. Полились анкетные вопросы: социальное положение и происхождение, когда, где и почему судился ,какие должности занимал в лагере, где и каких имею родственников и тому подобное.

Удовлетворив любопытство закона, уполномоченный пододвинул второй чистый лист и написал на нем:

Вопрос первый: «Признаете ли себя виновным в предъявленных вам обвинениях?».

— Пишите: Нет, не признаю.

— «Что вы можете показать по существу обвинения?». Филимонов ставит второй вопрос и приготавливается слушать, откинувшись на спинку кресла.

— Вы хотите знать, какими доводами я отклоняю обвинение?

— Да.

— Но вы, вижу, намерены слушать меня, а не писать.

— Я запишу потом, а вы подпишете.

— Нет, гражданин уполномоченный, так дело не пойдет. У меня в этой области есть некоторый печальный опыт. Прежде я был наивен и покладист, подписав на свою шею мои показания в редакции следствия. Еще раз делать ошибку я не намерен.

— Но я тоже не намерен писать все, что вам заблагорассудится говорить. Я интересуюсь существом дела, а вы мне станете воду лить.

— Не вижу в этом надобности. Я не менее вас заинте-

ресован именно существом дела, которое привело меня вновь в положение подследственного.

— Но это вам не поможет.

— То-есть?! — удивился я. — Если вы предвзято подходите к вопросу о моей вине, тогда зачем обременяете себя этим трудом? Вы можете просто наказать меня.

— Вас накажет суд. Мое дело — провести следствие.

Я облегченно вздохнул. «Ага, — думаю, — станут судить. Значит, более или менее по закону. Это мне на руку. С ГПУ разговаривать было труднее», — и бодро сказал Филимонову:

— В таком случае я облегчу вашу работу... Разрешите диктовать?

Филимонов склонил голову и приготовил перо.

— По первому пункту обвинения — о вхождении во вредительскую контрреволюционную организацию, — начал я. — Ни в какую подобную организацию я не входил и о существовании ее на Судострое впервые узнал из постановления о моем аресте. По пункту второму — о нереальном планировании. Планирование проводилось в точном соответствии с директивами ГУЛАГ-а, Управления лагеря и начальника Судостроя. Плановый объем работ определялся не мною, а правительственным заданием и директивными контрольными цифрами сверху, изменять которые я не имею права. При этих условиях я могу нести ответственность только за технические расчеты плана, но не за планируемый объем продукции. Вследствие систематического недостатка рабгужсилы и материалов, наши планы становились нереальными, но вина в этом лежит не на мне и не на Судострое, а на тех организациях, которые обязаны были создать Судострою материальную и людскую базу для выполнения программы. На это обстоятельство я постоянно указывал Управлению лагеря в месячных отчетах. Кроме того, дважды — в июле и ноябре 1936 года — мною были поданы докладные записки уполномоченному 3 части на Судострое гражданину Филимонову, который оставил их без ответа. Я докладывал о том, что:

а) задание Правительства по баржестроению находится в глубоком прорыве;

б) программа не обеспечивается людской и материальной базой;

в) об этом факте знает Управление лагеря, и что

г) в этих условиях планы становятся нереальными.

Копии этих докладных, изъятых у меня при обыске 8 мая, прошу приобщить к делу.

Перо Филимонова нервно прыгало по бумаге. Видимо, его совсем не приводило в восторг то, что я диктовал. Когда же я упомянул о докладных записках, Филимонов отложил перо и, хмуро взглянув на меня, промолвил:

— Вы думаете на этом выскочить?

— Выскакивают из ямы. Скажите почему, получив мои докладные записки, вы не вызвали меня для беседы?

— Это мое дело. А почему вы, зная причины срыва задания партии и правительства, не писали товарищу Сталину?

— Что?! — изумился я. — Сталину?! Только этого нехватало! Заключенный и обращается к Сталину! Нет, это, знаете, уж слишком! И через кого я могу обратиться к нему? Только через вас и только с жалобой на ваше молчание. Я заключенный и делаю то, что мне приказывают. У меня только обязанности и никаких прав.

— О, этого вы мне не говорите! Вы пользовались большим авторитетом на Судострое.

— Авторитет и права — понятия различные. Можно иметь права, не имея авторитета, и наоборот. С каких пор авторитет стал уголовно-наказуемым деянием?..

Филимонов, сообразив, что сказал чушь, угрюмо взялся за перо.

— ... По третьему пункту... ни с кем и никогда на Судострое я в политические беседы не вступал.

— Вот видите, гражданин уполномоченный: совсем не так много и более конкретно, чем ваше обвинение. Осталось добавить только стереотипную фразу: «по существу обвинения больше добавить ничего не имею».

— Нет, вы добавите! Вы много знаете, только скрываете. Вы умный вредитель, но я вас разоблачу.

— Благодарю за комплимент о моих умственных способностях, но что я вредитель — чистая ложь. Никто этого не докажет!

— Посмотрим! Расскажите теперь, в каких близких отношениях вы были с бывшим начальником Судостроя Ухлиным.

— Почему бывшим? Он снят?! — с деланным изумлением спросил я.

— Не притворяйтесь! Скоро и он очутится под одною с вами крышей.

«Так вот оно что! Ухлин — тоже!» — подумал я.

— Записывайте, — говорю, — пожалуйста: в близких отношениях с Ухлиным не состоял. Больше того, между нами часто были размолвки. Я настаивал на более резком тоне наших обращений за помощью в Управление лагеря, а Ухлин считал мою редакцию радиограммы на имя Мороза нетактичной. Кроме того, в 1934 году Ухлин снял меня на общие работы за отказ стать прорабом баржестроения в Кожве. Экономистом Судостроя я был назначен не Ухлиным, а бывшим начальником Судостроя Авксентьевским, с ведома Управления лагеря.

— В присутствии старшего бухгалтера Гомонова и вашем Ухлин в июле прошлого года высказал сожаление по

поводу расстрела вождей троцкизма. Повторите слова, которые он сказал.

— Возможно, Ухлин что- то сказал по поводу расстрелов, но сейчас я этого припомнить не могу. Во всяком случае, Ухлин не оказывал поддержки троцкистам и не допускал их, в соответствии с директивами ГУЛАГ-а, на административно-хозяйственные должности.

Поставив еще несколько вопросов, с моей точки зрения пустяковых, а по мнению Филимонова, наверно, очень важных, он устало промычал:

— Ваше отпирательство ни к чему не приведет. Все вскроем!

— Нечего вскрывать! Если вы намерены искать причины срыва программы, то ищите их выше, а не на Судострое. Но этот труд вам не по плечу!..

— Уж не считаете ли вы виновным Мороза?

— Я не называю имен, не мое дело лезть в высокие сферы.

Отложив исписанные листы, Филимонов встал, прошелся несколько раз по комнате, что-то обдумывая, поправил дрова в печке и, подавляя зевоту (шел уже одиннадцатый час), нажал кнопку:

— Отведите Розанова! — приказал он вошедшему сотруднику.

СМЕЙСЯ, ПАЯЦ

Ободренный довольно миролюбивым ходом дела, я спокойно вернулся обратно. Значит, размышлял я, обойдется без рукоприкладства. С чего бы это? Всюду за углами шепчут: «Нынче следователи считают от первого ребра до девятого. Лупят по чем придется». При таком методе «чистосердечное признание» наступает быстрее.

Время было, действительно, горячее. Вся страна трепетала в «Ежовых рукавицах». От Негорелова до Гродекова, от Батума до Мурманска вскрывали, выкорчевывали и выжигали каленым железом всякие гнезда, зародышей и последышей. Опять развелись капиталистические бациллы в коммунистическом организме!..

Богатые крестины устраивались для только что рожденной самой передовой и самой демократической в мире конституции!.. В утеху счастливому папаше трепали и разрывали на части советских зайцев. Шла очередная чистка страны. Уж сколько раз мыли, чистили, скоблили советское и партийное тело щетками НКВД — нет, опять завшивело. По всем закоулкам страны ищут паразитов. Дошла очередь и до лагерей. Вот и меня потащили в филимоновскую баню!

Разве у Филимонова не поднимется на меня рука? За этим тусклым и холодным взглядом, под этим лицом без улыбки нет ни жалости, ни чувства. Работа чекиста вытра-

вила все эмоции, заменив их тупой ненавистью ко всем и всему.

До Судостроя Филимонов служил следователем архангельского краевого НКВД и, говорят, для закалки «чекистской воли» выполнял обязанности «исполнителя», то-есть, попросту говоря, добровольно расстреливал приговоренных тройкой ПП ОГПУ Северного края. Оттого, знать, по ночам его и мучили кошмары, о которых рассказывали в лагере уборщики из жулья, обслуживающие мрачный дом уполномоченного. Нет, он не задумается чем попадется съездить по скулам упрямого подследственного! Что для него заключенные? Рабочий скот. Нет, хуже! О скотине Филимонов заботится. Он уже дважды сажал в изолятор заведующего транспортом за плохое содержание лошадей, а вот за людей... Прошлым летом начальник культвоспитчасти Федоров, бывший партийный пропагандист, позвонил при мне к нему: «Александр Михайлович, несчастье случилось! Еременко купал свою лошадь в Печоре и утонул. Я думаю организовать показательные похороны. Еременко наш лагкор и активист». — «А лошадь?» — «Тоже утонула, может, знаете — «Резвая». Филимонов чертыхнулся: «Такую сильную лошадь!.. Вот мерзавец! Был бы жив!»...

Нет, не буква закона и не нравственные достоинства сдерживают Филимонова. Он убежден в вескости собранного против меня обвинительного материала и не видит нужды выбивать его кулаком. Слишком уж «солидно» заведено дело: папка обличительного материала, длинные показания, постановление об аресте, утвержденное самим Черноивановым. Да, каша заварена в большом котле! Накормят доотвала!

Но пока что не зачем вешать голову. Склонишь ее — скорей по шее заедут. На покорную шею все черти лезут. Еще повоюем, гражданин уполномоченный! Это Ухлину обидно. Он человек вольный, и вдруг — за решеткой. А у меня впереди чуть не три года первого срока.

Так, успокаивая себя, я отгонял тоскливое настроение.

СРЕДИ ПОДОНКОВ

Замок моей камеры тихо звякнул, щеколда упала, и в дверях показался комендант.

— Михаил Михайлович, собирайтесь с вещами! Пойдете в новый изолятор. Филимонов приказал вас немедленно перевести. Нужно место.

— Для кого?

— Только молчите... — Комендант нагнулся и шепнул: для Ухлина. Сейчас его привезли на пароходе.

Сдержал-таки свое слово перед Морозом, вернулся в Ухтпечлаг. Какая наивность!

Я быстро свернул свои пожитки и через двадцать минут уже устроился на новых нарах.

Этот второй изолятор был куда вместительнее и солиднее первого. В центре раскорчеванной от леса площадки стояли друг против друга два барака: один новый, площадью метров в сто, другой, поменьше, старый, перевезенный с закрытой лесной командировки. Территория изолятора обнесена частью колючей проволокой, частью забором из горбылей. По углам — восьмиметровые вышки, откуда постовые ВОХР-а то и дело лениво покрикивали: «Отойди от забора! Стрелять буду!».

В изолятор было напихано больше ста штрафников: кто за отказы от работ, кто за побег, кто за воровство. По утрам эту «гоп-компанию», под присмотром стрелков ВОХР-а выгоняли на выкатку и сортировку леса или на разгрузку барж. Возвращаясь с барж, штрафники проносили в изолятор муку, крупу, рыбу, словом, полный ассортимент прибывших продуктов. За голенище сапог специалисты по этой части запихивали по восьми селедок. Муку и крупу несли в карманах. Однако, таких счастливых дней выпадало мало. Гришин, заведующий разгрузкой барж, чаще обходился без штрафников, приглашая вместо них за аккордную сверхурочную оплату строительные бригады с верфи. С этими забот было меньше. Ящики и бочки не падали с трапов, мешки не разрывались, и потому не требовалось составлять фиктивных актов на недостачу. Получив от Гришина по ведру супа и по паре буханок хлеба, бригады без шума и гвалта шли спать. То были «колхозники» . . .

Свежие работящие лагерники, хлебнув горя от вынужденного общения с уголовниками, наивно восклицают:

— Какое легкомысленное наше начальство! Как не придет ему в голову простая мысль — отделить нас! На одних командировках была бы «отрицаловка», на других—мы. Поверьте, работа пошла бы успешнее!

Столь же наивно в первые годы рассуждал и я. Но лагерный опыт рассеял туман идеализма. Встречи и беседы со многими бывшими работниками ГПУ и лагерной администрации открыли мне глаза.

Нет, наше лагерное начальство совсем не легкомысленно! Легкомысленны мы, если верим, что, заключенные в лагерь, мы для власти больше не враги, а рабы. Рабами мы были и за оградой лагеря. У нас давно уже отнято право по собственному усмотрению распоряжаться своими мускулами и временем, не говоря уже о языке.

В колхозе выгоняет на работу стук бригадира в окно!

Фабричных поднимает гудок и подстегивает закон о тюрьме за прогулы. А в лагере нарядчик и дежурный комендант бегают по баракам и во всю глотку орут:

— «Подъем! Подъем!!! Получайте завтрак. Через полчаса строиться на развод. Смотрите, не опоздайте!».

И хотелось бы еще погреться, свернувшись комочком на жестких нарах, под рваным бушлатом, да где уж там!

Припишут отказ или подрыв трудовой дисциплины, состав акт, а уполномоченный наложит резолюцию. «На две недели в изолятор, а по отбытии срока перевести на штрафную командировку» — вот в такой изолятор. Нет, уж лучше с охами и вздохами подняться и накрутить на теплые ноги холодные, мокрые портянки. Эх, лучше бы работал в колхозе!..

Как видите, колхознику, рабочему и заключенному указана одна и та же цель: «В поте лица своего добывать хлеб свой». Хлеб стал целью жизни, а не средством к ней. И каждого из них к этой цели гонит страх. Одного — страх лишиться своего домика, другого — страх тюрьмы, третьего, арестанта, — страх попасть в клоаку человеческих отбросов, в уголовную среду, где к тяготам каторжной работы прибавляются нравственные страдания.

Арестант с 58-й статьей — за контрреволюцию, остается для НКВД не только рабом, но и врагом, и не только в лагере, но и после него — на всю жизнь.

А с врагами у НКВД разговор особый. Враг обязан не только работать, но и страдать. Работает вся страна. Труд для врага еще не наказание и не месть, а долг. Нужны особые условия, в которых контрреволюционер постоянно мучился бы, воспитывая в себе абсолютную безропотность и рабское послушание.

И вот с этой целью осужденных по 58-й статье содержат в лагере вместе с уголовниками, прикрывая истинные причины словесной шелухой.

«Вы, г р а ж д а н е з а к л ю ч е н н ы е, — ораторствует перед «контриками» воспитатель, — обязаны повлиять на уголовников, так сказать растворить их в своей трудовой среде. Каждый лишний человек, включенный в социалистическую стройку, ускоряет и усиливает наши победы и нашу мощь. Труд на благо социализма — святое и почетное дело. Вы это знаете и без меня. Вас учить труду не надо. Он вам привычен. Отказ от работы граничил бы с тягчайшим преступлением. Но эти несчастные из уголовников не знают сладостей созидания новой жизни. Включая их в ваши бригады и размещая их в ваших бараках, НКВД оказывает вам большое доверие в деле трудового перевоспитания отсталых социально-близких масс. Надеюсь, вы не предпримите попыток воспитать в сердцах уголовников вражду к существующему строю. Подобные действия — я подчеркиваю это! — рассматриваются соответствующими органами как вылазка классового врага, с вытекающими отсюда мерами пресечения. Считаю вопрос ясным. Преть не будем. Я думаю, никто не станет возражать против резолюции, которую я сейчас зачту... Кто против? Принята единогласно! Собрание считаю закрытым».

Воспитатель свертывает тезисы и резолюции, торопясь на другое ЗАКРЫТОЕ собрание уголовников.

«Товарищи лагерники! — уже почти вкрадчивым голосом обращается к уркам воспитатель: — Вы плоть от плоти, кровь от крови трудящихся. Не ваша вина, что вы стали на преступный путь. Вы несете на себе проклятое наследство капитализма. Но советская власть и партия не допустят вашей гибели в омуте преступности. Они спасут вас и передадут вас полноценными членами в трудовое общество. Ваш честный труд принесет вам светлое будущее. Но среди присутствующих я вижу и несознательных товарищей, которые с пренебрежением относятся к работе и этим льют воду на мельницу классового врага. Труд, как сказал наш гениальный вождь тов. Сталин, есть дело чести, славы, доблести и геройства. Но руководство понимает, какие трудности стоят на пути вашего перевоспитания. Нужно много и упорно работать над человеческим материалом. Это тоже золотые слова нашего мудрого вождя. Сегодня мы делаем первый шаг в этом направлении. Мы включаем вас в рабочие бригады и переводим в общие бараки. Вам будет совестно сидеть сложа руки тогда, когда другие работают... Почему смеетесь? Прошу сознательно подойти к делу! Вопрос серьезный. И еще прошу, чтобы в общих бараках вели себя прилично. Не ругайтесь там, не играйте в карты и не присваивайте чужих вещей. Докажите этим контрикам, что вы полны пролетарского самосознания и классовой бдительности».

«А выписки из ларька будут?»—вопрошает чей то голос.

«Конечно, товарищи! По этой части я сам принимаю перед вами трудовое обязательство. Не подведете на работе, не забуду вас выписками. Я сам свой, бывший рецидивист... Только в новой среде — предупреждаю товарищи! — не теряйте политической бдительности. Классовый враг не спит. Он всюду точит зубы. В случае что заметите, прямо ко мне. Мы вырвем язву каленым железом!..».

«Не вырвем, а выжгем!» — поправляет докладчика один из урок.

«Совершенно правильно! Выжгем язву! Товарищ, подметивший неточность моего выражения, очевидно, политически грамотный. Я прошу его помочь мне в этой большой работе по перевоспитанию .Предлагаю в заключение послать от нас приветственную телеграмму товарищу Якову Моисеевичу Морозу, трижды орденоносному начальнику нашего лагеря. Вы знаете, что он для нас, как отец родной. Согласны?».

«Согласны!» — раздаются голоса, и вслед за тем из карманов извлекаются замусоленные самодельные карты... Прерванный из-за собрания «стосс» продолжается. Воспитатель, облокотившись на стол, тоже заражается азартом игроков.

Через два дня социально-близких смешали с социально-опасными. Началось влияние первых на вторых и вторых на первых. Поплыло из бараков к местному населению, в

обмен на водку, продукты и деньги, лагерное и домашнее обмундирование, исчезли из под голов посылки от голодных жен и матерей. На час укрывшийся от лагеря в книгу политический грубо сталкивался со скамьи у стола. «Ну, расселся! Тут тебе не читальня, а лагерь», — хозяйским тоном говорит урка, тасуя карты: — «Потом дочтешь... когда срок кончишь».

В воздухе рабочего барака висит густой мат и специфический лагерный жаргон. Русская речь понемногу забывается, уступая место советской, грубой и циничной. Тон задают урки, а все прочие — политические, служебные и бытовые — либо молчат, либо поддакивают, подыгрываясь под него. Тягостные мысли о семье прерываются взрывом ругани поспоривших игроков. «Колхозники» инстинктивно ощупывают рукой изголовье: «Целы ли ботинки? Пропадут — мне отвечать!..». Проигравшиеся смачно, прихлопывая в ладоши, распевают:

«Я свою да милую
Да из могилы вырою,
Вырою, обмою,
Положу с собою.
Эх, да-ри-ра-ри-ра-ра
Ра-ра-ра-ри-ра...».

Кислый воздух, напоенный махоркой и вонью потных портянок, так же отвратителен, как эта циничная, аморальная шайка за столом и в углу. В тусклом свете закопченого фонаря, снятого для картежников, медленно колышатся фантастические тени. Еще острее переживаются воспоминания о семье. Сквозь мучительные вздохи слышится: «Господи! И таких впереди еще два года! Нет, не выдержать!..».

Мало кто пытается поднять голос протеста против гегемонии уголовников. Один на тысячу. Рыцарски честные и смелые редко доходят до лагеря. Настоящих политических, которых раньше царизм ссылал на три-пять лет в Сибирь на поселение, ГПУ не рискует оставлять в живых.

Организованные, поддерживающие друг друга и свои «традиции» уголовники, как вихрь, налетают на случайного смельчака:

— Что?! Хочешь устанавливать свои порядки?! Заткнись, не то, контра змеиная, полезешь на стенку клопов давить!..

Обычно, в ответ слышится лепет: «Да я что? Я ничего... Я так только, просил...». А кто прямо и резко повторяет свое возмущение, того бьют до потери сознания, ему — в науку, другим — в пример... Неделя, много — две недели изолятора за «драку» и ворье гордо возвращается на старые нары, уверенное, что больше смельчаков не найдется.

Так укрепляется абсолютная безропотность и рабское повиновение. Сначала перед уголовниками, потом, на воле, перед властью из-за страха вновь очутиться в этом аду. Просто и доходчиво. Без пропаганды и агитации. Быстрое и убедительное перевоспитание социально-опасных... чужими руками. Не так туманно, как в научных трудах о диктатуре. Тут диктатура чувствуется на каждом шагу. Меньшинство давит большинство. Зло торжествует над добром. Все, все это видят, и все молчат!.. Сила кулака и организованная злоба глушат всякие аргументы. Чувство мести над связанными политическими противниками утоляет свою жажду. Оставляя лагерь, «перевоспитанный» уносит и разносит затаенный панический страх перед режимом. Единицам облегчается управление сотнями.

И с такими людьми надо было выполнять «почетную правительственную программу баржестроения!»... Да они охотнее разрушают, чем строят!

— Что? Топор взять?! — возмущенно удивляется рецидивист. — Детали подгонять и подтесывать?! Плотничать?.. Баржи строить? Нашел дурака! Иди к »«колхозникам» — те построят. Баржи меня не трогают и я их не хочу тревожить. Пусть стоят!.. — ответствует он на уговоры нарядчика и воспитателя.

Единственный вид работы, где эта публика с грехом и туфтой пополам вытягивает норму выработки, выкатка и погрузка леса, разборка бараков и переноска тяжестей.

— Вот это еще куда ни шло! Только, чтоб норма была подходящая. До двенадцати часов поработаем, и чтоб — шабаш. Наше дело — поднять и бросить. Пойдем, что ли, братва, на погрузку крепежника?

Презрение к труду доходит до степени какого-то фанатизма. Рабы желудка по своей натуре, они, тем не менее, идут на муки голода, лишь бы днем, когда другие на производстве, валяться на нарах.

— От работы кони дохнут! Не уговаривай! Лучше кашки не доложь, но работой не тревожь...

Каких только фокусов-покусов не изобретало лагерное начальство! И с одной стороны подойдет, и с другой, — нет, ничто не помогает! Нигде не уколупнешь. Не действуют ни таска, ни ласка. Кремневые ребята!..

Их ветром валит с ног от штрафного пайка, однако, твердо стоят на своем: — «Не пойдем!». Держат упрямых отказчиков в изоляторе два, три, четыре месяца, полгода, держат до тех пор, пока не доведут их до состояния «доходяг» и «догорай-веников». Бредут они, как тени, шатаясь от слабости, худые, бледные и оборванные до предела «На одной ноге, — говорят, — у него лапоть, а на другой консервная банка! Совсем дошел до социализма!». Жутко и жалко смотреть на таких.

У «доходяг» и «догорай-веников» свой жизненный круговорот: от изолятора в больницу, из больницы в изолятор, пока окончательно не «загнутся». И взгляд у таких какой-то скотский. Мутный, тупой, безжизненный и бесчувственный. Точь-в-точь, как у того здоровенного цыгана, которого я накрыл в 1938 году в лесу под Чибью за необычайной трапезой: он поджаривал и с причавкиванием пожирал своего мертвого товарища по побегу, обрезая ножичком его бедра. Прошли годы, а я будто сейчас помню эту обросшую черной щетиной землистую морду и этот взгляд, в котором не было ничего человеческого. Людоеда вскоре осудили на десять лет, но изолятор под Чибью, куда его перевели, решил иначе: «Смерть паразиту!». В одну из ночей, под дикий вой и песни уголовников его задушили. Только утром, при проверке, нашли под нарами грузное тело с посиневшим лицом и кровоподтеками на шее от душивших его рук. Следователи так и не нашли убийц. Вся камера сохранила тайну жуткой ночи.

К счастью, я попал в приличную камеру. Главный изолятор состоял из четырех камер. В первой, большой, жили уголовники, подававшие надежду на исправление. Тут была рабочая команда. Во второй, соседней, такого же размера, содержался самый сброд — эти «догорай-веники» и беглецы со всего Ухтпечлага, выловленные оперативниками в районе верхней Печоры. В третьей, наполовину меньшей, отсиживались за какие-то дела две молодых уголовницы — Нюшка и Дашка. Вокруг камеры вечно слонялись блатные, перебрасываясь с девушками острыми, если их так можно назвать, словечками. Четвертая камера, — моя, — была того же размера, что и у девушек — не больше 18 квадратных метров. Я оказался по счету двадцать шестым. Три человека на два квадратных метра! Вот это называется — уплотнили!.. Со всех четырех сторон стояли сплошные двухъярусные нары. Только в середине, против двери, оставалось свободное пятно. Ни встать, ни сесть! Даже на полу, под нарами, — и там все места были заняты. Богатый урожай собрал Филимонов. Большинство ожидало нового суда или постановления НКВД за всякие провинности в лагере: одни обвинялись в контрреволюционной агитации, другие — в расхищении лагерного имущества. Пять человек ожидали отправки на этап, к месту жительства, где им, вдогонку за первым, еще не отбытым сроком, НКВД готовил второй, более увесистый. Были и уголовники, но такие, которые сами боялись выйти из этой камеры и зайти в общие. Над ними висел приговор уголовного мира: «Уничтожить!». Они нарушили законы своей среды: донесли уполномоченному НКВД о готовящихся побегах, кражах и убийствах, либо не заплатили карточного долга, попав в презираемый разряд «заигранных». Таких мог безнаказанно бить любой «догорай-веник». Сюда же приводили на короткий срок бригадиров,

десятников и лагерную обслугу («придурков») — за туфту, плохое качество работы, за пьянство, за лагерную любовь...

ДВА МЕТОДА, ДВЕ ЦЕЛИ

Уполномоченный НКВД осуществил-таки свой проект — построил большой изолятор. Он еще в прошлом году носился с этой мыслью, но каждый раз получал от Ухлина один и тот же ответ:

— Нет рабочей силы, Александр Михайлович!

Вместо изолятора, мы построили клуб. Да не какой-нибудь захудалый, для отчетности КВЧ, а лучший во всем Ухтпечлаге. По вечерам там гремел любительский джаз из двадцати лагерников. Вчерашний чемпион СССР по лыжам, Коля Алферов, пристроенный чертежником к Маслехе, извлекал, говорят, музыкальные звуки из разнокалиберных обрезков баржевого железа. Брат начальника МУР'а (Московского Уголовного Розыска) Борис Вовк тарабанил в лагерные тарелки.

Каждое воскресенье в клубе либо банкет, либо какой-нибудь «слет передовиков». Для души — музыка и танцы с серпантином, для желудка — гуляш и кусочек сладкого пирога из продуктов, купленных сверх плана у районных организаций, а для Мороза, Бермана и Ежова — пара трескучих резолюций насчет «выполнить и перевыполнить». Никто не забыт!..

Два старых московских юриста дежурили в клубе, обложенные томами всяческих «законов СССР». Десятки лагерников толпились тут, подогревая свои надежды на пересмотр их дел. Никому не возбранялось жаловаться. Бумага все терпит... даже новую «Конституцию», по которой каждый, якобы, находится под защитой закона. Пусть веруют в нее! Отнять надежду на пересмотр дела и на досрочное освобождение было бы так же подло, как подтолкнуть падающего. Приговоренный к смерти, и тот ожидает какого-то чуда. Вера в чудо поддерживает меркнущий огонь жизни. «А может!.. А вдруг!..».

Вокруг рабочих бараков разбиты клумбы и гряды с цветами. Никто бы не подумал, что тут концентрационный лагерь. Нет ни вышек для охраны, ни колючей проволоки, ни частокола. Прямо к окнам бараков подходила Урало-Печорская тайга. Иди, куда хочешь, — никто не остановит. После работы каждый мог удить рыбу в Печоре или пойти в лес за грибами и ягодами, чтоб обмануть желудок.

Лишь где-то вдали, за три километра по обе стороны от Судостроя, через тайгу была пробита просека, а на деревьях висели дощечки: «Территория Судостроя Ухтпечлага НКВД. Вход посторонним воспрещен».

А где же бандиты? Танцуют в клубе фокстроты? Удят рыбу? «Ишачат» на баржах?

Как же, — перевоспитаешь их!

И все же бандитизм на Судострое выведен. Но не филимоновским методом — временным переселением в изолятор. От него легче не было. Бандиты через две - три недели возвращались бы в бараки, снова терроризируя работающих лагерников. Ухлин применил другой способ. Простой и верный. Попавшиеся на кражах, грабежах или на хулиганстве запирались во временный изолятор, а оттуда, без пересадки, отправлялись на лесзаг Судостроя «Курья», за 250 километров. А там уже с ними расправлялся Борис Вершинин, начальник лесозаготовок .У него было для этого несколько командировок с усиленным режимом. Там петушиться было негде и не перед кем: кругом такой же отрицательный элемент, оборванный и злой. Страх перед ласзагом оказался сильнее страха перед изолятором. Бандиты, застрявшие на Судострое, присмирели. Люди перевели дух. Конечно, без краж не обходилось. Нельзя же полтысячи воров переплавить ласзагу! Но главного добились: бандитов и воров больше не боялись, а только остерегались .Из двух зол это было меньшим.

Однако, Филимонова эта система не удовлетворяла. Он сам, вернее 3 отдел, хотел быть постоянно карающей рукой. Теперь он стал, наконец, царь и бог Судостроя В угоду ему заместитель Ухлина за две недели построил этот изолятор и спешно огораживает рабочие бараки верфи сплошным четырехметровым частоколом с вышками для часовых. Так началась ликвидация последствий нашего «вредительства» на Судострое . . .

* * *

Никто не тревожил моего покоя. Я без опаски заходил в среднюю, самую отвратительную камеру, наблюдая картежную игру главарей изолятора. Рассевшись по-восточному на полу в одних подштанниках, они на подушке, вместо стола, резались в излюбленный «стосс» или «буру», окруженные кольцом проигравшегося жулья.

— «Кролик»! — обращается один из игроков, вынимая кисет, — сверни цыгарку. Оставишь докурить.

У блатарей — так называют крупное жулье, задающее тон в уголовной среде — считается «барством» докурить цыгарку из собственной бумаги и махорки, насыпанной в мишурно - разукрашенный ленточками и вышивками кисет.

Всей этой разношерстной преступной оравой управляла небольшая клика блатарей, всего из пяти — шести человек. Среди общей оборваной массы мелкой сявки, блатари выделялись уверенной, я бы сказал, нахальной походкой и медленным, увесистым тоном голоса человека, привыкшего повелевать. Блатарь в «фарте» — с деньгами, всегда в начищенных сапогах с короткими голенищами, наполовину скрытыми под широченными брюками, заправленными в них.

Никто, кроме блатарей, не смеет носить в изоляторе жилета, или, как его называют в лагере, — «правилки». «Правилка» — символ высокого ранга уголовника, облеченного властью «качать права», то-есть, безнаказанно свертывать скулы мелкому жулью за всякие погрешности против кастовой морали. «Правилка», обнаруженная на новичке, тотчас срывается с плеч и рвется на части.

В нашем изоляторе блатари устроились, как хозяева. Они заняли пустующую отгороженную одиночку, развесив там всякие немыслимые картины местных порнографических «живописцев» и, нагромоздив на нарах горы подушек, бушлатов и рваных одеял, неизвестно когда и у кого украденных. Моя подушка, очевидно, тоже попала сюда. Ее украли у меня на второй же день, и так незаметно, что я хватился только вечером ее.

— Абдул! — говорю я главному блатарю и «судье» уголовников Шарафутдинову, зайдя на утро в его конуру, — это что же такое? Где ж слово жулья? Вчера у меня украли подушку, сегодня стащат ботинки, завтра — пиджак... Кажется, я тут никому соли не насыпал...

— Кто взял? —прервал меня Абдул.

— Откуда я знаю. Спрашивал. Все молчат.

— Эй, вы, хевра нелетающая! — крикнул Абдул, высунувшись из конуры.

Камера моментально стихла. Дисциплина прямо сталинская!..

— Кто посмеет что-нибудь взять у Михайла Михайловича, будет иметь разговор со мной. Я ему дам жизни!.. Поняли? Повторять не буду!

Гробовая тишина, продолжавшая царить в этом вертепе, достаточно говорила о страхе, который уголовники чувствовали перед своим маленьким вождем. Страх кулака управлял и в изоляторе.

С того дня у меня не было краж. Махорка, луковицы, каша лежали на койке, но никто к ним не прикасался, хотя из нашей камеры ежедневно что-нибудь да пропадало.

* * *

Уснул изолятор. Второй час ночи. Свалившиеся на печку портянки медленно тлеют, пропитывая тошную вонь терпкой гарью. То чахоточный кашель, то чей-то скрип зубов порою нарушают удушливую тишину.

Опять заскребли «крысы». Методично, тихо, но упорно. Уж которую полночь часами скребут за стеной.

— Посвети! — как из могилы едва слышится шопот за перегородкой. — Дай-кось твой нож, мой обломился.

И снова легкий скрип.

За стенкой, под нарами рабочей камеры, «крысы» прорезают к нам проход.

— Попробуем! — доносится снизу.

Перерезанное в пазу бревно тихо отодвигается.

— Нет, не пролезть. Начинай второе бревно.

— Обожди! — шепчет другой. — Дай удочку. Может, что достанем.

В щель просовывается длинный прут с привязанным и загнутым на конце гвоздем.

«Рыбаки» елозят прутом по полу, стараясь что-нибудь им нащупать и зацепить. Слышен шелест. Что-то «клюнуло», но в темноте ничего не разберешь. «Удочка» втягивается обратно с «рыбкой».

— Ботинок. Целый. Ищи второй.

А утром шум, «гвалт». Где мои ботинки? Кто захапал портянки? Через десятое ухо узнают — уплыли в соседнюю камеру.

Никто вслух не рассказал, как было дело. Суровы законы уголовников, велик страх перед ними и бездеятельно лагерное начальство.

На следующую ночь «крысы» прогрызли и второе бревно. По полу ужами неслышно вползли несколько урок. Шарят в изголовьях, снимают развешенный хлам, стаскивают накинутые на тела бушлаты, и у каждого из них в руках наготове нож. Но нет в нем нужды — от страха беспробудным сном спят двадцать пять человек.

Скрылись «рыбаки». На место поставлены бревна. Утром — развод, а пятерым не во что обуться. В соседнюю камеру прилетел комендант со стрелками. Все перетрусили, взломали полы, но... но все оказалось тщетным. Прислали плотников. Скобами, болтами, костылями, накладными толстыми брусьями закрепили они вырезанные бревна.

Камера вздохнула. Но через неделю, методично и тихо, с прежним упорством, «скребли» крысы. Люди лежали в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к скрипу ножей, приучаясь к будущей вольной жизни — терпеть и молчать...

БРАКОДЕЛЫ НА ВЫУЧКЕ

Бракоделам на Судострое прикрутили хвосты. Бухгалтерия стегала их штрафами, а начальство — изолятором. Каждый вечер комендант приводил новых бракоделов. Кому три, кому пять, кому десяток суток. Приходили с табаком, в целом лагерном обмундировании, уходили с пустыми карманами, облаченные в такие лохмотья, что и больно и смешно смотреть. Как только закрывалась за новенькими дверь, в камере воцарялась тревожная тишина. Власть коменданта осталась за дверью, вступал в права закон уголовников.

Два — три «блатаря» подходили к смущенным тишиной новичкам:

— С барж?

— Да.

— За что?

— За слабую конопатку.

— А ты?

— Плотник. Подводная доска у меня лопнула на изгибе. Сучков на ней...

— Не оправдывайся! Разбирайся с начальством. Нас это не касается. Деньги есть?

— Нету. Только два рубля.

— А ну, стой спокойно! Да, не бойся — не дрожи! Мы только проверим, не обманываешь ли.

И начинался обыск. По всем правилам. Выворачивались карманы, ощупывались складки, снимались чулки, портянки. Тонко знали дело, — на ять!.. Беда, коль найдут зашитые в подкладку червонцы. Таких оплеух навешают, что все щеки будут полыхать. Однако, бьют без остервенения, культурно. Не кулаком на отмашь, а пятерней с полуразмаху. Не вздумай защищаться или кричать — так отчешут, что и не поднимешься.

Вокруг новичков собирается кольцо уголовников. Глаза по-волчьи жадно следят за обыском.

— Хорек, ты голенище-то ощупай! Забыл. Под стельку посмотри, они и туда затыривают.

Первая сцена — обыск — закончена. Начинается вторая.

— А у тебя бушлат-то хороший! — выступает один из кольца. — Давно получил?

— В мае.

— Ишь, как бережешь! Ни одной дырки. Может, хочешь сменяться на мой?

Новичек боязливо оглядывается. Кольцо стало еще уже.

— Я что, я не против... Только, ведь, бушлат-то твой рваный.

— Зато нигде не прожжен. Я в лесу не работал. А что местами порван, так это полбеды. У тебя, поди, в бараке нитки остались. Вернешься — починишь. Ну-ка, дай сюда бушлат, примерю...

За каких-нибудь десять минут все «обменено», вплоть до кальсон и рукавиц. По-честному. Отдал брюки, получи брюки...

Шпана садится за карты. Опять есть чем вдарить по банку!..

Забытые новички, поддерживая падающие брюки без пуговиц, пробираются меж нар, высматривая свободный угол, и в конце концов заползают под нары. Больше «обмена» не предвидится. Первый страх прошел. Зубы целы, скулы не свернуты...

Качество баржестроения улучшалось. Страх изолятора заставлял конопатчика сильнее бить колотушкой, а плотника — осторожнее гнуть подводную доску. Минуты обыска и

обмена, ночевка под нарами, ругань и драки в изоляторе запоминались на всю жизнь. Хороший метод! Продуманный. До костей пробирает! А Ухлин, чудак, носился с каким-то здоровым моральным духом лагерника! Посидел бы сейчас со мной у щелки да посмотрел бы в соседнюю камеру на крещение новичков... Вот где рождается борьба за качество продукции! Без резолюций и выспренних слов. Тишком. Именно тут, за стенкой, руками уголовников, НКВД обеспечивает качество работ на Судострое, оставаясь само в стороне.

А мы-то развешивали «черные доски бракоделов»! На благородных чувствах играли! Вот как надо было. По-большевистски! На воле и то с бракоделами не цацкаются, а тут лагерь, заключенные. Пусть этот способ гнусен, но он действен: чувство страха перед суровым наказанием за брак доведено до бригадира и рабочего. Перед каждым маячит призрак изолятора. Моральные средства убеждения оказались бессильны. Изолятор убеждал лучше...

У ИСТОКОВ «ДЕЛА»

Восьмого июля Филимонов, наконец, вспомнил обо мне.

— Ну, что? Настаиваете на первом показании или одумались?

— Мне одумываться нечего. Я изложил то, в чем убежден и что в полной мере соответствует истине.

— А Ухлин сознался — многозначительно промолвил уполномоченный.

— Это его дело. Если он считает себя в чем-то виновным, он может под этим подписываться. Я себя виновным не признаю ни по одному из пунктов обвинения.

— А вот я вас переведу в среднюю камеру, к уркам, там скорее одумаетесь. Они вам покажут! — угрожающе проговорил Филимонов.

— Вы так полагаете? Ошибаетесь, гражданин уполномоченный. Я каждый день хожу к ним в среднюю камеру. Вы, очевидно, забыли, что в прошлом году я с такой компанией дважды провел сплав.

— Да, вы правы. Жалко!.. Надо бы вас проучить! Ну, ладно. Не сознаетесь — ваше дело. От суда все равно не уйдете. Вот, подпишите эту бумажку.

> «Мне, Розанову М. М. — читаю я, — обвиняемому по статье 58 п. 7, сего числа объявлено об окончании следствия, а также о том, что по ознакомлении с обвинительным материалом я могу приобщить к делу мои дополнительные показания, в чем и расписуюсь. 8 июля 1937 г.».

— Значит, обвинение остается в прежней редакции?

Филимонов утвердительно кивнул головой и, вызвав сотрудника, распорядился:

— Отведите Розанова в четвертую комнату. Дайте ему для просмотра материалы дела 1, 2 и 3. Наблюдайте, чтобы он не похитил уличающих его документов.

Итак, наконец-то я у истоков обвинения! Чего-чего только не вшито в эти три толстущие папки! Незаконченные, без итогов, варианты плановых расчетов давно измененной программы лесозаготовок. Объяснительная записка к отчету за февраль месяц, без таблиц, без подписей. Обоснование дефицита фуражного баланса. Ага! вот первый документ: — «Контрольные цифры к плану Судостроя на 3 квартал 1936 года». Больше никаких планов и отчетов нет. Значит, этот план — единственное «вещественное доказательство». Я делаю отметку, на листке бумаги: «... не план, а только контрольные цифры, составлялись по директивам и при непосредственном участии начальника планового отдела Ухтпечлага Бениамина Семеновича Барзама, о чем в объяснительной записке, на странице второй, имеется указание».

С каждой перевернутой страницей картина «дела» становилась яснее. Итак, в «организации» нас трое: Ухлин, Маслеха и я. Ухлина обвиняли в идейном и организационном вредительстве и срыве программы, старшего инженера Маслеху — в скверном качестве барж, а меня в нереальности планов. Для пущей важности нам приклеили «вредительскую группировку», обосновывая ее свидетельскими показаниями о том, что мы не критиковали на собраниях друг друга, что подолгу беседовали и даже — о, ужас! — изредка встречались один с другим на квартирах, не говоря уж о таком явно «криминальном» факте, что только мы втроем с 1932 года руководили Судостроем... Каким законом, интересно знать, расценивается, как политическая группировка, посещение подчиненным арестантом своего вольнонаемного начальника по делам службы?

Я бегло делаю заметки, перелистывая страницы.

... Ага! Матвеев, начальник снабжения, в роли свидетеля обвинения. Почитаем! «Вопрос: Можете ли Вы дать политическую характеристику начальника Контрольно-Плановой части Розанова?

Ответ: Наблюдая за Розановым в течение года я убедился, что он ярый противник советской власти, но так как Розанов очень хитер и скрытен, то конкретных фактов его антисоветской деятельности я не знаю»...

Протокол опроса от 8 мая. Это был тот день, когда я, вернувшись из Сыктывкара, с глазу на глаз обвинил Матвеева в том, что он, стараясь выслужиться перед НКВД, приводил Филимонова на базу для проверки служебных посылок, которые я отправлял из Сыктывкара на имя Ухлина и Гришина. В посылках были электрические лампочки, инструменты, лекарства, семена трав и цветов и книги для лагерной библиотеки. Ничего «крамольного»! Теперь мне ясно, почему в тот день Матвеев, под ударами моих резких

фраз, ежился, мигая и, опуская глаза, пытался свалить вину за цензуру посылок на Гришина. Передо мной встал образ этого изысканно-вежливого джентльмена с вечной улыбкой, обнажавшей ряд золотых зубов. Манерами он не отличался от других, знакомых мне по лагерям, бывших офицеров, но те сумели сохранить внутреннее благородство, а у этого...

Как хорошо, что я постоянно его остерегался! Чем докажу теперь, что я не «ярый противник советской власти», если я осужден за контрреволюцию и побег за-границу? Мне не поверит никто, а вот Матвееву... Ах, стой! Да... логично... политически верно!.. Рука ускоренно пишет, торопясь за мыслями: «По непонятным мне соображениям, следователь обращается за моей политической аттестацией к осужденному за контрреволюцию Матвееву, игнорируя работающих на Судострое и знающих меня вольнонаемных и членов партии. Настаиваю на очной ставке с Матвеевым и на допросе следующих лиц...».

Вот показания старшего бухгалтера Гомонова. Эк, сколько накрутил! Одна, другая... шестая... десять страниц показаний! Видно, «ценный» свидетель! Во всем винит Ухлина: за растраты и хищения на 90.000 рублей, за перерасход продовольственных фондов, за недостачу кормов, за превышение плановой стоимости барж. Желчь так и сквозит в каждой строке. Прорвалась. Нашла выход. Долго он ее копил. С августа прошлого года, когда Ухлин при мне показал ему на дверь и крикнул: «Вон! Вы мне вредите в выполнении программы».

— Ну, это мы еще посмотрим, кто вредитель, — вы или я! — бросил с порога Гомонов.

А весь сыр-бор загорелся из-за превышения лагерных лимитов расхода продовольствия на лагерное население. Вместо 630 граммов хлеба, у нас расходовалось 720 граммов, вместо 18 граммов жиров — 26, вместо 14 граммов сахара — 23. Если придерживаться этих лимитов, то надо было открывать новый лазарет для истощенных и ожидать общего резкого падения производительности труда. К чести Ухлина, надо сказать, что он предпочел пойти на перерасход продовольствия, чем на истощение лагерников. Гомонову, эгоисту и бюрократу, было все равно: мрут ли люди, или нет, лишь бы соблюдались законные нормы довольствия. Но все его попытки воздействовать на Ухлина остались безрезультатными. Ухлин был не только умен, — он был упрям и своенравен.

— Как вы можете, Михаил Михайлович, — обратился ко мне Ухлин после ухода Гомонова, — называть эту конторскую мразь Федей?

— Привычка, Анатолий Николаевич, привычка!.. Я с ним, как Черчилль с Литвиновым. Он много мнит о себе, а таких скорее уломаешь лаской, чем таской.

— Может быть, вы и правы,—задумчиво произнес Ухлин, — но я бы такой игры долго не выдержал. У вас крепкие нервы. А вот мои — вы это видели сейчас — расшатались. Не могу сдержаться.

— Я тоже не железный. И меня прорывает. Однажды, — это было при Авксентьевском, когда вы находились в командировке в Чибью, — я с ним так поругался, что вся бухгалтерия притихла. Гомонов — вы знаете — любит плодить свой аппарат. Ну, я и пожаловался Авксентьевскому. Тот его вызвал и давай гонять. Гомонов хотел что-то возразить командарму, а тот как крикнет: «Молчать! Здесь я начальник, и я приказываю! — Думаете, Авксентьевский чурбан? Не разбирается в калькуляциях? Что вы мне тут подсунули? Баржа № 111 — себестоимость тонны 423 рубля, баржа № 112 — 98 руб. 50 коп., баржа № 113 — 263 рубля. Это что такое, спрашиваю я? Это книжные данные? Я допускаю разницу в отчетных ценах между баржами в десять, ну, в тридцать рублей, а у вас она скачет, как сумасшедшая, — со ста рублей до 423. И вы еще смеете настаивать на собственном счетном аппарате! Да я вас всех завтра пошлю на конопатку! Там научитесь калькуляции. Дальше носа и бумажки ничего не видите. Бумажный пачкун вы, а не бухгалтер!»

Позеленевший Гомонов поднялся со стула и только промолвил пару слов о документальном учете, как командарм стукнет кулаком по столу и давай его снова чесать, и давай да так, как он, бывало, чесал провинившихся командиров. Прокричит несколько слов и снова кулаком по столу. Часы,—те, знаете, золотые, именные от Совнаркома,—только подпрыгивают на столе. Минут десять Авксентьевский громил нашу бухгалтерию, все ее ляпсусы вспоминал. Гомонов аж потный выскочил из кабинета. Встретился со мной через полчаса в коридоре сумрачный, злой и, как змея, прошипел: — «Ты мне поплатишься за это. Пожалеешь да поздно!..»

Ухлин, прослушав тогда мой рассказ, тихо добавил:

— Держите с ним ухо востро. Лишнего не болтайте. Он филимоновский сексот.

— Откуда вы знаете это?

Ухлин улыбнулся.

— От своих сексотов... Завел одну пару. На всякий случай. От них и узнал, что Гомонов вечерами часто посещает Филимонова. Вот навязалась гадина — никак не столкнешь! Сегодня же он побежит стучать к Филимонову.

Весь этот эпизод я вспомнил, читая показания Гомонова. Гадина дождалась своего часа и жалила.

«Кто входил во вредительскую организацию?» — ставит в протоколе вопрос Филимонов, и Гомонов пишет: «Ухлин, Маслеха и Розанов. Об этом мне многие говорили. Розанов сознательно вводил путаницу в учет, чтобы воспрепятство-

вать бухгалтерскому контролю. Его планами никто не руководствовался. Образцы их прилагаю».

Вместо подлинных планов, Гомонов предъявил черновые расчеты. Он это знает не хуже меня, и все же ... какое старание угодить следователю! Ни дать, ни взять — второй Матвеев. Оба бывшие офицеры, оба вернулись из эмиграции и, в борьбе за существование, пытались верностью служить новому режиму. Пришел час, и они не миновали лагеря, продолжая и здесь выслуживаться и лебезить. Что скрыто за этой фразой: «Розанов препятствовал бухгалтерскому контролю»? Кто не был в СССР и в концлагере, тот не поймет ее смысла. Контроль — это средство окончательно затянуть петлю на шее арестантов. Строгий контроль, которого добивался Гомонов, истребил бы приписки, т. е. туфту, что обрекало заключенных на систематическое невыполнение норм, а, следовательно, на истощение. Гомонову поручили затягивать эту петлю, а я, в меру своих прав и дерзости, ослаблял ее давление. По моему, это был акт человеческого отношения к ближнему, по мнению власти — преступление. Ах, до чего же доводит режим божьи создания! На царской каторге и в царское время Гомонов не мог бы упасть так низко, губя сотни товарищей по несчастью ради собственной шкуры. Сам дух того времени удерживал от подобного падения. Тогда презирали иуд, а ныне разводят их. Но что он получит за это? Ни свободы, ни орденов, ни уважения! В лучшем случае Гомонов только продлит свое положение колонизированного, а с ним право спать с женой в с в о е й комнатушке. Ах, гадина!

Кого только не допрашивал Филимонов! Всех начальников частей, всех прорабов и техников, бухгалтеров и мастеров, бригадиров и комендантов. Тут строчка, там строчка, смотришь, кое-что и набежало.

Планы не выполнялись, потому что были нереальные, лошади дохли от того, что, вместо сена, жевали мерзлую березу, баржи выпускали скверные: из сырого леса, без болтов и пакли; они протекали и требовали немедленного капитального ремонта и доделок; стоимость продукции, из-за бесхозяйственности, превысила плановую и причинила Ухтпечлагу восемьсот тысяч рублей убытка. Ежели махнуть рукой на все это, станет еще хуже. Партия учит, что безответственность — мать расхлябанности. Под суд виновных, им — наказание, другим — пример! Кого же? Конечно, начальника Судостроя — за плохое руководство, старшего инженера — за плохое качество, а старшего экономиста — за планирование. Всем сестрам по серьгам!

Из двадцати начальников частей и цехов Судостроя тринадцать осужденных за контрреволюцию и пять бывших заключенных. Больше половины начальников «вредители», «шпионы» и «террористы». Каких еще доказательств потре-

бует советское правосудие? Кто осмелится сказать, что только на этих людях и держится производство?

Бдительность сквозит в любом листе показаний. Каждый болт, забитый каким-нибудь растяпой не в ту дыру, взывает о каре на наши головы. Нет, это не пародия, не смейтесь! Бригадир болтовых работ Храпченко подписал свое показание, а в нем стоит: «... Ухлин и Маслеха мало уделяли внимания качеству крепления, не проводили контроля за ним и посылали на крепежные работы необученных лагерников, в результате чего были случаи, когда в дыры, просверленные для девятнадцатимиллиметровых болтов забивались шестнадцатимиллиметровые, как, например, на барже № 141». Сегодня следователь забыл, что этот бригадир сам отбывает срок за участие в восстаниях на Украине и что, по логике вещей, не начальник Судостроя и старший инженер, а именно бригадир обязан смотреть и отвечать за каждую дыру. Филимонову нынче важнее, чтобы кто-то и в чем-то обвинил тех, на кого пал жребий. До бригадиров он доберется после. Только дайте ему дух перевести после нас!

Говорят — великое узнается в мелочах. Не так же ли там, в Москве, стряпают большие дела, как наше? Только более опытные повара, знающие где добавить перцу, где жареного лука, а где полить острым соусом. Напрактиковались! И тухлая говядина сходит за телятину. Народу, ведь кухню не показывают!

Филимонов — повар попроще. Для лагерной кухни, тут и селедочные головки сойдут. Все слопают. Никто не пискнет — пересолено, мол, и воняет. Оттого он так и уверен в себе.

На Ухлине, Маслехе и Розанове свет клином не сошелся. Не с таких головы катятся, а дело себе идет: государство крепнет, и народ молча ишачит. Политика «секим-башки» (или, официально — чистки) глубоко продумана и обоснована. Тут одной пулей десяток зайцев ложат. Вычистят трех, а приобретают тридцать, вольно или невольно втянутых в сферу следствия. У многих из них трясутся потом поджилки: «А вдруг власть переменится!.. Отомстят!... Ей-Богу! Нет, уж, пусть лучше остается большевизм! Да здравствует мудрая политика!..» Чем больше люди грызутся и клевещут друг на друга, тем легче управлять ими. К тому же, чистка создает отдушину для резервов, накопившихся в отделах кадров партийных организаций. Один, партийный, изучил специальность, другого надо повысить за «услуги», третий — «свой парень» — пригодится, как бдительное око... Наконец, новые люди — более надежные и послушные. Эти уж примутся работать не только за совесть, но и за страх. Совесть не всегда в ладах с генеральной линией, а страх — он ей брат родной.

Конечно, чистка в лагерях — это специфическая чистка. На месте одного арестанта поставят другого. На место одно-

го вольнонаемного, отбывшего срок, пришлют такого же второго. Партийцев нехватает даже в столицах, не то что в лагерях. Тем не менее, чистка разносит бациллы розни и среди лагерных работников. Усиливается недоверие друг к другу, взаимное подсиживание и доносы. Физическая и семейная трагедия дополняется трагедией нравственной. Пробуешь укрыться и духовно отдохнуть в работе, так и тут настигает бич бдительности .Каждый час, каждую минуту жди удара. Где, когда он грянет, — никто не знает. Вот сейчас, параллельно с нами, идет под суд все руководство нашего лесзага «Курья». Одиннадцать заключенных — специалистов и с ними вольнонаемный начальник Борис Вершинин, тоже таскавший серый бушлат, определенно получат «довески» за то, что не выполнили плана лесозаготовок. А как его выполнить, когда Вершинину преподнесли отбросы со всего Ухтпечлага! Как мог он вывезти лес на катища, когда лошади едва держались на ногах, питаясь, вместо овса, пареной березой? Как мог он сплавить лес, когда не было ни одного рабочего сплавщика, и никто не знал особенностей сплава по неисследованной Печоре?

Так нет же, обошли эти вопросы! Все дело состряпали под другим соусом: Вершинин неоднократно выпивал, а потому халатно руководил лесзагом, заведующий транспортом довел лошадей до падежа, во-время не отыскав в окрестностях лесзага неиспользованных сеноучастков (хотя их и не было). Один прораб ночевал у местных крестьян, другой допустил срыв ста кубометров бревен (потому что не было снастей), бухгалтер Петрушенко принял к проводке фиктивный акт на недостачу трех пар бродовых сапог и так далее, в том же духе. Под всех подкопались! А люди не только находились в отчаянных условиях, но и честно работали в них. Пусть Петрушенко из трех пар сапог одну присвоил и, может быть, выпил на нее. Ну, посади его в изолятор на неделю, сними, наконец, с должности, но не прибавляй ему срока! За пару сапог — три года жизни. Не дорого ль берете, товарищи носители правосудия? Впрочем, у вас цены без запроса, твердые: три-пять-десять, три-пять-десять... Плачешь, а платишь!..

Я уже хотел было закрыть папку, как под глаза подвернулась фамилия Дьякова. Старая, помятая, датированная декабрем тридцать пятого года бумажка гласила:

Начальнику 3 части НКВД при Судострое
от заключенного Дьякова.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Считаю долгом бывшего члена партии доложить вам, что организация производства и внутреннего распорядка на Судострое заставляет предполагать наличие злой воли, в результате чего планы срываются и производительность падает. Ухлин только проходит по про-

изводству, не вникая в детали и не слушая советов. На мою жалобу о плохом качестве приготовления пищи он грубо ответил: «Скажите спасибо и за такое питание». Ухлин, вообще, не любит, когда те к нему обращаются с жалобами по различным вопросам. Так советский руководитель не поступает. О чем и собщаю. Дьяков.

Ага! Знакомая птица. Ухлин рассказывал. Дьяков — бывший второй секретарь ЦК компартии Белоруссии, осужденный НКВД за троцкизм. Как раз перед моим приездом на Судострой, он, с группой троцкистов проводил голодовку, требуя особых, улучшенных условий содержания для них, как политических заключенных. В тот период голодали почти все троцкисты во всем Ухтпечлаге.

Разумеется, из этого ничего не вышло. Плетью обуха не перешибешь. По секретной инструкции ГУЛАГ'а троцкисты подлежали особо строгому лагерному режиму. Их предписывалось содержать на отдельных командировках или в специальных бараках, под особым надзором, использовать только на производстве и не допускать к административной и хозяйственной работе. Москва рассматривала троцкистов, как врагов в квадрате, а они вон что задумали! «Политические!..» Преимущество перед другими!.. Нет, это не царские времена!..

НКВД знает только две категории заключенных: социально-близких и социально-опасных. Слово «политический преступник» уже вычеркнуто из советского обихода. Оно заменено более кратким и крепким словом «враг». А с врагами, как всем известно, не цацкаются, а расправляются. Врагов не уговаривают и не перевоспитывают, а истребляют и загоняют в могилы.

На «политического преступника» нельзя натравить народ, а на врага можно. Первый имеет идею, убеждение, а второй — ненависть. Нельзя же, на самом деле, крикнуть с трибуны:

«Товарищи! Дьяков проводит идею, отличную от идеи товарища Сталина. Расстрелять Дьякова или загнать его на каторгу!»

Видите, звучит как-то не того. Не демократично... Идея, убеждение, и вдруг — пуля, каторга. Другое дело — враг: «Товарищи! — крикнет оратор: враг народа Дьяков делает свое мерзкое дело, затрудняя победный ход социализма. Враг должен быть уничтожен. Требуем беспощадной расправы с ним». Вот тут уже каждое лыко в строку.

А Дьяков требует каких-то преимуществ! Сам же полгода назад вопил с трибуны: «Враг стал изворотлив и коварен, прикрываясь всевозможными личинами. Никакой жалости к врагу!» Поздно вспомнил о «политических» Дьяков. На запрос Ухлина начальник 3 отдела Ухтпечлага кратко отрадировал: «Пусть голодают. Никаких изменений режима быть не может. Черноиванов».

Через неделю, в конце декабря, по новому приказу из Чибью, голодающих погрузили на сани и зимником — за 200 километров, в сорокаградусный мороз, повезли в центральный изолятор лагеря. Это было единственное «преимущество», которого добились троцкисты.

Я не знал Дьякова, но было так противно читать его донос! Как низко падают великие! Второй вождь Белоруссии, и вдруг — мелкий стукач, настолько мелкий, что даже Филимонов, вопреки правилам, вклеил его донос в дело, а не спрятал в секретный шкаф вместе с доносами Гомонова, Матвеева, Саакьяна и других. Они фигурируют в деле, как свидетели обвинения, а Дьяков просто, как стукач. Сегодня сам Дьяков пытается стать «информатором», как официально называют сексотов, чтобы вернуть доверие в преданности делу Ленина-Сталина. Он забыл, что, хотя врага используют для черной работы, но клейма с него не снимают.

Нет, на этом коньке Дьякову не выехать из Ухтпечлага.

Облегченно вздохнув, я закрыл последний том дела и принялся за дополнительные показания.

Я разложил по столу выписки из показаний и документов. Мозг лихорадочно работал, взгляд перебегал по разложенным выпискам и заметкам. Да... Так... Выйдет убедительно и понятно. Что-ж, начнем!

. . . . . .

... Вот уже отложена сороковая страница. Осталось опровергнуть последний пункт — о моих разговорах с заключенными. Пишу:

«В предъявленных мне материалах следствия нет подтверждений этого обвинения, кроме одного (Васильев, от 28 апреля), в котором сказано, якобы я в речи на слете ударников и стахановцев в клубе Судостроя 8 ноября назвал план нереальным. Во-первых, экономист, составивший план, должен быть идиотом, чтобы выступить и заявить: «Я составил нереальный план». Во-вторых, уполномоченный 3 части Филимонов, также выступивший на слете с речью после меня, дал бы мне соответствующий ответ и немедленно привлек к ответственности. Наоборот, Филимонов сам участвовал в аплодисментах, покрывших мою речь. В-третьих, прошу приобщить к делу официальный протокол слета, как объективный и юридический документ, хранящийся в делах культурно-воспитательной части. В четвертых, между первым и четвертым пунктами обвинений явное противоречие. С одной стороны, нереальность планов расценивается, как преступление, с другой — оценка их, как нереальных, тоже считается уголовным деянием. Выходит, будто выступать против преступления преступно...

Ну, кончено! Вот Филимонов-то взъестся! Тут ему только читать на два часа хватит.

— Семушкин, — зову я, — иди успокой начальство. Готово.

Но Филимонов пришел только через час. Он все еще допрашивает Ухлина.

— Кончили? Ого! И вы думаете, что суд станет читать этот роман?

— Тогда это не суд, а комиссия по утверждению заранее приготовленного приговора.

— Не выдумывайте! Суд вынесет приговор сам. Я все делаю в соответствии с законом.

— Вижу. По форме все правильно... Признателен.

Я приложил руку к груди, наклонив голову.

— Поражаюсь вам, Розанов! Где это вы так наточили свой язык? У китайцев, что ли?

— Везде понемногу. А главное — на Севере. Нужда научила. Вот вы злитесь, когда со мной разговариваете, а другие, наоборот, довольны, смеются. Им весело, и мне приятно. Я и вам хотел бы доставить это удовольствие.

— Вижу!..

— Но не чувствуете. У вас иная профессия. Как меня Филимонов с гримасой пренебрежения прошелся взглядом по первой странице и молча вышел.

Нет, определенно к нему у меня нет ненависти. Он делает свое дело. Приказали угробить нас, вот и гробит. Так же, как я: приказали мне планировать тридцать тысяч тонн барж, я и планировал. Иначе не мог. И он иначе не может. Меня за отказ планировать посадили бы в изолятор, а его за объективное и глубокое следствие — взашей из партии и с должности. Мы оба проводим директивы сверху. Но его служба несет слезы и кровь, а моя — расширение бумажной промышленности.

А что я планировал, как и все, — это бесспорно. Попробовал бы теперь Глушков запланировать пятьсот тонн, вместо приказанных двух тысяч, — живо очутился бы в изоляторе. Нет, правда за меня.

. . Наконец, Филимонов опять показался в дверях:

— Я вам не позволяю, — закричал он на ходу, — ревизовать материалы следствия! Кто следователь — вы или я? Что вы тут пишете?

— Только правду, как вы приказывали...

— «Правду!..» Все остальные дураки, только Розанов умный! Ему, видите ли, мало свидетельских показаний! «Следствие поверхностно!..» «Подайте факты, сделайте экспертизу!..» Я здесь следователь, а не вы! Не указывайте мне, как вести дело! Материал против вас вполне конкретный и веский...

— Да. Потянет не меньше трех килограммов!..

— На суде узнаете, сколько он потянет!.. Напрасно трудились! Суд не интересуется вашими рассуждениями. У него достаточно других материалов.

— Тогда для чего же вы дали мне право на дополнительные показания? Порвите их! . .

— Право дано законом, но вы им злоупотребляете. Вместо настоящих показаний, вы занялись критикой следствия.

— К сожалению я не юрист и не знаю, что такое настоящие и ненастоящие показания. Но я вижу незаслуженную петлю над моей головой и против нее,как умел,выставил свою защиту. Вы верите Гомонову и Матвееву...

— Я никому не верю! Ни вам, ни им!—вспыльчиво прервал уполномоченный - Савушкин! — крикнул он, - уведите Розанова. Он играет на моих нервах. «Пробрало! - поду мал я,возвращаясь в изолятор. Иш, как расходился! Как Юпитер!.. Значит в моих показаниях есть и крючки закона. Надо за них держаться крепче. Нет, не все еще потеряно!» — утешал я себя.

Так закончился период следствия, и началось томительное ожидание суда.

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!

Вскоре в наш изолятор перевели Ухлина, освободив для него женскую камеру, примыкавшую к моей. Днем, когда люди находились на работе, я взбирался на верхние нары и оттуда, через щель, беседовал с Ухлиным.

— Помните, Михаил Михайлович, ваше пророчество в Сыктывкаре? Сбылось... Теперь я буду вас во всем слушаться.

— Теперь поздно, Анатолий Николаевич! Гром грянул. .

— Пройдет! Ни Филимонов ни Черноиванов не могут без утверждения Мороза передать дело в суд. А Мороз такое дутое дело не подпишет. Тем более, что я ни одним словом не скомпрометировал его в моих показаниях.

— Напрасно. Покрывая его, вы принимаете все удары на себя

— Он поймет это, и...

— И, как Пилат, умоет руки ... — добавил я. — Ему это только и нужно. Поедет в Москву и скажет: «Ухлин с компанией сорвали правительственное задание. Это установлено судом. Вот приговор».

Но Ухлина все еще трудно было убедить в том, что Мороз ни на иоту не лучше других.

— А вот посмотрите — Мороз прикроет наше дело.

— Нет, я уж теперь не настолько легковерен. И за каким лысым чортом вы удерживали меня в этой проклятой плановой части! Будто не было других экономистов! Сколько раз просил вас — отпустите! Изволь вот теперь чужую кашу расхлебывать! Влепят, как пить дать, влепять! Дока нают! Не выйти из лагеря! Тут и закопают с биркой на ноге.

Получи, мол, орден за Судострой, обещанный Морозом! Эх, я шляпа, шляпа!

— Ну, вы-то чего хнычете! Да вас через месяц выпустят. Я читал материалы дела и ваши дополнительные показания. Вы тут решительно не при чем. За качество барж вас не обвиняют, а к планам ни одна экспертиза не придерется. Планировали столько, сколько приказывали. К тому же, вы заранее так застраховались, что с какой стороны ни подойти — везде вы правы. Я имею в виду те докладные записки Филимонову о планах, которые вы мне показывали. Они тоже находятся в деле. При таких веских документах скорее Филимонову влетит, чем вам. Бросьте и думать, что вас осудят!

— К сожалению, вы не прокурор, а тоже подсудимый. Прокурор подойдет к планам совсем с другой стороны. Для суда мы бывшие контрреволюционеры, обвиняемые в период чистки, и этим все предрешено. Нет, моя песенка спета! Терпел, ждал восемь лет, работал, как проклятый, везде, куда ни совали, и вот — дождался оценки!.. Вредитель в планировании!.. Вечный арестант! В лагере вырос, в лагере и сгнию! Не сломил первый срок, вторым угробят. «Выпустят, — говорите вы. — Что они «Истории партии» что ли не читали? Даже смешно думать — «выпустят!..» И пойдем мы козырем по Судострою: вы, Маслеха и я. «Смотрите, мол — ни в чем не запятнаны. Напрасно три месяца копался Филимонов!»

— Вы изливаете желчную иронию, а я искренне верю, что мы во всем правы.

— Во всем? Так прикажите, когда выпустят, разобрать этот изолятор и тюремную ограду вокруг бараков, прикажите вернуться к старому лагерному распорядку!..

— Что вы этим хотите сказать?

— То, что тут — политика большого веса. Настоящая игра ведется за кулисами, а все наше дело только красивая декорация на пустой сцене. Зрители не увидят постановки, но они ее почувствуют на своей спине.

— Что-то слишком витиевато. Нельзя ли пояснее?

— Скажу. Вы проводили одну линию, а Москве теперь нужна другая. Вот тут-то собака и зарыта.

— ?!

— Факт! Сколько раз вы говорили и нам, и на собраниях: «Судострой — мое детище. Я хочу, чтобы он был больше производством, чем лагерем, и чтобы люди чувствовали себя на нем больше членами производственного коллектива, чем заключенными, и, что, наконец, для вас здоровый моральный дух лагерника — основа успехов производства. Говорили вы это?

— Не только говорил, но и делал. Вы сами знаете, сколь часто на этой почве противодействовал мне Филимонов. Чего он только ни требовал! И подконвойных бригад

для тех, относительно которых есть специальные указания в приговоре, и конвоиров для возчиков и сплавщиков, и общего построения на работу, и зоны из колючей проволоки вокруг лагеря и барж. Ну, мало ль чего он хотел! Он ворчал и против ловли рыбы и сбора ягод заключенными. Я руководил по примеру Мороза. Однако, какое это имеет отношение к делу? Меня же за это не обвиняют.

— Формально — да, но фактически — это и есть настоящая игра за кулисами... — Будем откровенны, Анатолий Николаевич! Не мне одному вы жаловались на палки, которые походя ставил производству Филимонов. Вы разговаривали на эту тему даже с Гомоновым, Саакьяном и Матвеевым, и они теперь подают ее совсем с иной начинкой... Нет, оставьте ваш портфель! !Я сам запомнил из слова в слово, что показал Саакьян: «Ухлин, — сказал он, — предлагал мне вступить в организацию для борьбы с 3-й частью, в которой уже состоят Маслеха и Розанов». Тут, заметьте это, нет ни слова о Филимонове! Борьба с 3-й частью равносильна борьбе с органами НКВД...

—. Ну, знаете, — горячо воскликнул Ухлин, перебивая меня,—вы уж очень того, передергиваете. Только прохвосты могут придать политическую окраску моим личным разногласиям с Филимоновым.

— А вы еще полагаете, будто достаточно осталось честных людей?! Эх, Анатолий Николаевич! Вот эти-то прохвосты, направляемые Филимоновым, и создают такие мерзкие дела. На бумаге выйдет, что вы возражали не Филимонову, а тем секретным указаниям, на проведении которых он настаивал. С точки зрения судей и прокурора, — членов партии, вы этим сознательно и открыто противодействовали проведению нового лагерного режима.

— Противодействовал!.. Совсем не думал об этом! У меня была одна цель — выполнить правительственное задание. За колючей оградой, под охраной стрелков не то что двадцать одну, они не сделали бы и пятнадцати тысяч тонн! Какой из лагерника ударник, если у него под глазами часовой торчит? И при чем тут я? Сам Мороз недолюбливал тюремные условия в лагере. Они били по производству. И Мороза, и нас, начальников командировок, оценивают не по количеству подконвойных бригад и дозорных вышек, а по степени выполнения плана.

— Кто это так оценивает? Только производственные отделы ГУЛАГ'а, но не отделы, ведающие лагерным режимом. Филимонову нужны не баржи, а режим! Он отвечает за него, а не за программу!». В какой, скажите, инструкции разрешались заключенным фокстроты под джаз? Посмотрело бы Особое Совещание НКВД, как осужденные им за контрреволюцию к лагерным работам откалывают знойное танго на Судостроe! Для того ли сюда привозят?

— Вы временами хуже прокурора!.. Конечно, присылают на работы и для изоляции. Но, чтобы работа шла лучше, можно и повеселиться. Грех не большой. Мы все люди. В Чибью тоже танцовали.

— Оттанцовались! Прошло время! На Соловках, в 1925 и 26 годах, заключенным разрешали даже прогулки на лодке с оркестром по соловецким озерам. Едут, любуются живописными берегами и услаждают слух музыкой. Будто в Крыму!.. А на Святом озере, под Соловецким Кремлем, был такой каток с оркестром, что закачаешься! Думаете, от доброты сердца ОГПУ? Просто, ОГПУ требовались деньги, а на Соловках тогда отсиживались НЭП'маны, у которых на личном счете в лагере были тысячи рублей. Не этих бумажных, что сейчас, а первых, полноценных. Вот и сдирало с них ГПУ по сотне целковых с каждого за прогулку... Политику делаем не мы, а там, в Москве. Наше дело исполнять, что прикажут, а не выдумывать. Я не осуждаю вас за попытку скрасить серые дни заключенных, но должен сказать — то была политическая ошибка.

— Почему же, если это так, о ней во всем деле нет ни слова?

— С какой стати окружать вас ореолом мученика за лагерный либерализм? Куда лучше выдать вас за вредителя. Программу сорвали, баржи плохи, лошади дохнут, сырья нет, перспектив нет... А тут, к нашему несчастью, и чистка подоспела. Снеслось яичко к праздничку!.. Найдутся дураки, которые поверят, будто мы настоящие вредители, найдутся и умные, которые на нашем деле сделают гешефты— всякие там Саакьяны, Матвеевы, наблюдатель пароходства... да мало ли их! А под шумок о вредительстве Филимонов заведет на Судострое такой порядок, что шагу без приказа и бумажки не сделаешь... Тонн станет меньше, а стону и строгостей больше. За Филимоновым политика и закон, а за нами — лишь здравый смысл и человечность. Его козыри сильнее.

Ухлин извлекал из портфеля кипу радиограмм от Мороза и вновь пытался доказать полную абсурдность дела.

— Меня не убеждайте, Анатолий Николаевич! Я вам верю так же, как вы мне. Попробуйте убедить Филимонова и суд...

Вскоре кто-то донес о наших беседах, и Ухлина перевели в малый изолятор, к которому я подойти уже не мог — нас разделяло пятьдесят метров открытого пространства.

Я опять остался один со своими мыслями.

Только один Маслеха — член нашей «организации» — оставался за воротами изолятора. Без него не могли ни заложить новой баржи, ни сделать чертежей и расчетов .Он был единственный инженер судостроения. Но семью его из лагеря, все-таки, выбросили, а самого — расколонизировали, то-есть снова перевели на положение заключенного.

НА ВЫКАТКЕ ЛЕСА

В конце августа меня, наконец, перевели из первой во вторую категорию «с правом вывода на работу под конвоем». И вот я, бывший старший экономист Судостроя, на том же Судострое, с бригадой отпетых штрафников, гружу в баржи доски и крепежник, сортирую лес, выкатываю бревна.

За работой время летело быстрей. Меньше думалось. Чаще слышал слова ободрения при встречах со старыми судостроевцами.

Незаметно разразилась осень. С низовьев Печоры засвистел колкий ветер, с Урала побежали жирные, как мазут, облака, рассыпая вперемежку — снег и дождь. Гагары и гуси со звонким гоготаньем покидали Север, проплывая над бесчисленными лагерями, выросшими на их пути. Светлые полярные ночи прошли. На часах нет еще и пяти, а на дворе хоть глаза выколи. На всем Судострое только один наш изолятор пышно освещался. Из 140 штрафников двадцать целый день заготавливали «осветительный материал» — пни и остатки повала, стаскивая их в шесть больших куч, по три с каждой стороны изолятора. Двенадцать других штрафников, посменно, целую ночь жгли эти кучи, облегчая часовым на вышках надзор за арестантами. Бдительность не считалась с расходами. Три процента населения верфи, вместо производства, занимались «самоосвещением».

С рассветом, проглотив восемьдесят граммов сухой и безвкусной каши, мы покидали изолятор, охраняемые часовыми и собаками. Слава Богу, что не было часовых—собак!.. Как и вчера, поливал дождь. Прозябленное тело мечтало о тепле, но мы знали: будет только мокрая работа. Еще с вечера объявили приказ: «Бригаду Ярощука поставить на выкатку леса, обсохшего в Безымянной протоке». Каждое бревно — а их насчитывалось до двух тысяч — надо было баграми с мелководья подтащить к месту выкатки. Воды по щиколотку, а бревна в комлях по 60 — 70 сантиметров! Нука, сдвинь с места такую утонувшую в песке дуру! А надо ее тащить шестьдесят — восемьдесят, а то и сто метров.

Станем человек пять у бревна, воткнем багры —«Раз, два — взяли»! — а бревно ни с места. Будто приросло. Да и с чего бы оно шевельнулось, коли двое пыжатся, а трое только за багровища держатся, норовят на двух проехать... И зло подымается, и жалость берет. Ну, какая сила у Ленчика! Он три месяца высидел на штрафной горбушке. С трехсот граммов хлеба силы на наберешься, последнюю растеряешь! Сквозь дырявые ботинки, вместе с водой, течет песок и гравий, набиваясь в носки и под пятки. Мокрые ватные портки прилипли к ногам. Ледяная вода колет, как иголки. Суставы ноют. Пальцы рук стали будто чужие. Хочешь

сильнее схватить багровище — и не можешь: не слушаются окаянные пальцы. Дождь сменился мокрым снегом. В шинели и плаще продрогший на берегу стрелок еще ближе придвинулся к костру. И его пробирает осенняя зябь.

А нам нужно выработать паек. Пайка зря не дадут. Есть норма: четыре бревна. Хоть в лепешку расшибись, а сделай!

— Не унывай, братва! — ободряю я ребят, собравшихся покурить и погреться около костра. — На совесть не получается, так возьмем хитростью. Не только горбушку (рабочий паек), но и стахановский добавок получим!

— Не бреши! Еропланом что ли таскать думаешь? По сухому не поплывут!

— Сделаем, чтоб плыли по мокрому. Слушайте!

И я изложил свой проект. Протоку надо в трех местах перегородить плотинками из дерна. Вода поднимется до 30 - 40 сантиметров. А по центру фарватера прорoем канавку, по которой и проведем бревно за бревном.

Пошумела, погудела бригада — без этого не обходится, но согласилась. Уговорили десятника, чтобы он, пока мы строим плотинки, записывал, будто мы подтаскиваем по пяти бревен на человека. Это давало нам 125 процентов, а, значит, ударный котел.

Проект удался. С багра на багор, цепочкой растянувшись вдоль фарватера, кто босиком, кто в ботинках, гнали мы в запань бревно за бревном. Еще нет и часа, а в запань уж спущено двести бревен при норме в сто штук на всю бригаду в 25 человек.

— Перекурка! К костру! — орет бригадир на всю протоку.

— Пошли, братва, домой! Чего тут мерзнуть?! Там просушимся, — раздаются голоса. — Бригадир, скажи часовому, пусть строит и — айда!

— Что у вас «дома»-то, в изоляторе, жены что ли остались. Закройте плевательницы (рты)! Высидим тут до трех часов, а потом пойдем.

— Чего «высидим»? Чай, не куры!.. Не видишь, ноги, как у гусей, — красные. Тебе-то что —сухой, в воде не был, а мы...

— Заткнитесь, говорю! Каким местом думаете?.. Хотите, чтоб норму прибавили? Определенно прибавят, если в полдень домой придем. За четыре часа двести процентов стхватили! «Стахановцы»!.. Пришлют нормировщика, так отойдет нам малина. Скажет, что тут сплав, а не трелевка. Что ответим? И закатят норму в десять, а то и в пятнадцать бревен.

Ропот смолк. Довод оказался веским и понятным.

Повертываясь к веселому костру то передом, то задом, «братва» греет закоченевшие части тела. На воткнутых баграх, обвиваемые жаром и дымом, как знамена, колышутся повешенные для просушки брюки.

Конвоир безучастно сидит у своего костра, изредка посматривая на беспорточную бригаду.

— Гражданин стрелок, который час?

— Три.

— А ну, давай, собирайся! Кончай работу! — кричит Ярощук, хотя уже два часа все топчутся у костра: — Багры спрятать в кусты. Незачем таскать их взад и вперед.

Конвоир еще раз пересчитывает построившиеся пары. Все налицо:

— Пошли! Не растягиваться!

Рабочий день штрафной бригады окончен.

* * *

— «Махно» едет!.. — крикнули со двора.

Зазвенели котелки, затрещали нары. Люди опрометью бросились наружу, чтоб первыми стать в очередь.

Ворота изолятора раскрылись, пропустив подводу. Привезли обед.

В двух бочках плескался суп, в бачке лежали различной величины пайки хлеба, а на противне, лаская взор, — стахановские пирожки из ржаной муки, начиненные перемолотой с костями рыбой.

Комендант, опираясь на палку, вычитывает по спискам:

— Изюмову — стахановский... Сукашину — производственный... Орленко — штрафной...

Повар, не хуже циркача, жонглирует различными черпаками, на которым забыли выбить: «каждому по труду»...

— Ты, харя, что мне плеснул? Взгляни — одна вода. Задень снизу картошки!

— Не привязывайся! Всем даю одинаково.

— А Сашке Сухому почему снизу поддел? Приятели...

— Пошел, пошел! — цыкает комендант. — Людей задерживаешь! Отчаливай!

Но обиженный уже закусил удила. Завязалась перебранка. Раз!.. и котелок летит в повара, обдавая его супом.

— На, подавись! Курва буду, выпустят — полосну!..

Комендант, стиснув за шею хилого неврастеника, коленкой придает ему нужное направление — в барак.

У заваленки на корточках безусый «Чиркун» чавкает над котелком и, обтерев стенки его, обсасывает пальцы. Хлеба у Чиркуна нет. Он проиграл его и тут же, у подводы, отдал свой паек «Пузу».

— За добавком!..

Словно из горящей избы, выскакивают на двор люди. Сгрудились, прут на воз, вот-вот перевернут и телегу и лошадь.

— Мне!.. Мне!.. Я первым... Ишь, сколько осталось!..

Комендант, не растрачивая слов, распихивает ослабшие тела. Из кучи вырастает длинная очередь. Один другому

заглядывает в котелок: «Много ль, мол, дрюкнули?». Слышно, как черпак аж скребет днище.

Снова насели на телегу. Повар опрокидывает черпак в протянутые над головами котелки, обливая людей супом.

Трое изловчившись вцепились в бочку и, наклонив ее, подставляют котелки и кружки. Повар едва успел спрыгнуть с подводы.

.... Нет, это еще не все. Двое с головой залезли в самую бочку и шуруют по стенкам, собирая остатки картошки и бураков. Комендант безмолвствуя наблюдает, часовые на вышках ржут. «Прием пищи», как говорит начальство, заканчивается.

* * *

— Алло! Алло! Говорит радиоузел Судостроя! — несется из репродуктора знакомый голос инспектора КВЧ Феди Топоркова. — Слушайте производственную сводку за 12 октября. Бригада штрафников Ярощука продолжает удерживать первенство за лучшие показатели на Судострое. Сегодня она выполнила 175 процентов. Бригадиры строителей, слышите? Сто семьдесят пять! Почему вы тянетесь в хвосте? Почему вы не вдохновляете свои бригады на штурм производства так, как это делает Ярощук? Потому, что у вас нет подхода к рабочему-лагернику, нет подлинного желания вывести Судострой из прорыва. То, что сделал Ярощук с бригадой, можете сделать и вы, но...

И пошла критика, и пошла! Язык у Феди, что помело. Ему мало нужды, откуда и как взялись наши 175 процентов. Он человек вольный и за 250 рублей в месяц обязан ставить в пример стахановцев и с перцем пробирать рядовые бригады. Он это и делает. А откуда и как взялись наши проценты — это его не касается.

— Правильный воспитатель! — раздаются голоса, — защищает рабочих. Ты! — обращается один к Ярощуку, — слезай с полки, нечего, как коту, валяться. Надо о бригаде думать... Слышал, как Топорков хвалил нас? Составляй список и чеши к нему. Вчера в ларек масло с конфетами привезли. Должны и нам дрюкнуть... И на обмундирование список подай. Видишь — оборваны.

Дня через три Ярощука вызывают в КВЧ.

— Клюнуло! — радостно сообщает он. — Сорвал по две пачки махорки и по сто граммов конфет и масла. Собирайте деньги, завтра иду в ларек. Вот записка от начальника.

У большинства, кроме вшей и гнид, никакого капитала. Давно все проиграно до копейки. Трое сосут одного бычка. Но сердобольные товарищи спешат на выручку:

— Я за тебя, Пузо, уплачу. Только половину выписки мне! Идет? — спрашивает Костя Лещ.

— Лещ! И за меня! И за меня! Согласны из половины! — несутся голоса вшивой хевры.

Так половина выписки уходит в утробы тех, кто не работает и живет в изоляторе только картами.

Пока Ярощуку отвешивают в ларьке выписку, в изоляторе под нее уже идет азартная «Бура».

А ночью по камерам разносится надрывный с хрипотой кашель. Осенняя вода делает свое дело. Час работы уносит месяцы жизни.

Будь я уркой, никогда не пошел бы на эту сверхкаторжную «трелевку по мелководью». Никакими стахановскими пирожками не завлекли бы меня! И палки бы не испугался! Но... контрреволюционер и вредитель должен всюду работать. За то, что простится урке, с нас сдерут семь шкур: вечный изолятор, новый срок, а не то и шлепка.

Терпи и молчи! Иного выхода нет. Завтра опять, засучивши брюки, мерзнуть в ледяной воде. Хоть бы выдался теплый и сухой день, а то и снизу и сверху мокро и зябко.

Но день, как и вчера, приходит и уходит с конвоем и тучами, с руганью и дрожью.

... Наконец-то! Последний балан проплывает в запань. Впереди чисто. Все собрали. Завтра, Бог даст, пойдем на сухую работу.

Где там! Опять, приказ: «Бригаду Ярощука, закончившую сборку обмелевшей древесины, перевести на выкатку ее в штабели».

Снова в воду! Снова мученье! Ни дня передышки. Стою по колено в воде и заправляю бревна в веревки:

— Готово! Тащи!

Мокрый, скользкий балан срывается с лежней и всей тяжестью падает в воду, обдавая брызгами.

— Кто на очереди? Время сменить!

Полчаса в воде, полчаса у костра и снова в воду. И так целый день. Стоишь у самого огня и не чувствуешь его. Промерзло не только тело, но и кости. Красные икры и бедра покрылись мелкой сыпью. Длинными ногтями пальцев щиплю свое тело, изо всей мочи. До того, что ногти врезаются в мясо. Нет, ничего не чувствую. Даже кровь не течет. Все застыло.

Но через четверть часа накаленное тело начинает оживать. Пламя костра растопило кровь и согрело нервы. Уже невмоготу так близко стоять у огня. Как же я выдерживал его? Я ведь не грелся, а поджаривался!.. Пробую стать на то место, где был десять минут назад, но резкая боль ожога пружинит мускулы, и я отскакиваю от огня. Ура! Ожил!

— Михал Михалыч, давай на заправку! Твой черед!

— Эх, снова в воду! Снова мученье! Вступаю будто в расплавленное олово. Икры стягиваются и режут, словно в них впились сотни шмелей. Вот-вот ноги подкосятся. Хватаюсь за толстый балан и от боли застываю в оцепенении.

— Ты что? — слышу чей-то голос с берега.
— Так... смотрю, какой балан подавать первым.
— А!.. заправляй кряду. Зимой рассортируем!..

* * *

В один из таких дней, когда на реке уже появились забереги и мы обрезали голые ноги о тонкий лед, вдоль берега, по высокой круче медленно проезжал верхом Филимонов, одетый в кожаное пальто на меху и в валенках и с ним незнакомый НКВД-ист. Заметив меня в воде, Филимонов задержал лошадь.

— А, Розанов тут? Ну, как — нравится? — с ехидной улыбкой спросил уполномоченный.

— Еще бы!.. Я знаю, вы заботитесь обо мне...

— А что, холодна вода?

— Сойдите, попробуйте. Только без сапог. Тогда оцените...

Филимонов хлестнул лошадь и рысью поехал дальше.

— Его бы, чорта, загнать сюда! — раздались возгласы. — Ишь паразит! Барином разъезжает. Нацепил шпалер (револьвер) и еще измывается. Попадешь когда-нибудь к нам и ты!

— Ладно вам! Разговорились на берегу, а я тут в воде мерзни! Хватит. Тащите бревно, — заправлено!

ГРУППОВОЙ ОТКАЗ

За воротами изолятора партию штрафников поджидал конвой с собаками.

— Что ты там рассусоливаешь! — крикнул старший конвоир коменданту. — Выгоняй скорее. Не лето!

Ветер трепал вершины сосен. Мокрый снег превратил двор изолятора в какую то липкую замазку. Десятки пар рваных ботинок толкли это месиво.

— Товарищ комендант! Будь человеком, пошли на сухую работу. Посмотри на собак, и те продрогли.

— Не мое дело выбирать вам работу. Начальник пишет...

— Что начальник? — раздались голоса: — начальник вчера сам обещал...

— Обещал?! А вот его приказ — «всех направить на подгонку бревен к лесобирже»... Ну, нечего тянуть волынку! — возвысил голос комендант. — Куда назначены, туда и поведут. Бригада Ярощука, — выходи!..

Ветер еще сильнее завыл в вершинах деревьев. Снег сменился косым и колким дождем. Одна из собак жалобно взвизгнула.

— Не пойдем! — угрюмо отрезало несколько уголовников. — Пиши хоть тыщу отказов!.. Айда, братва, в барак!

За ними, но уже молча, вышли из строя еще человек тридцать. Оставшиеся не знали, на что решиться. Отказ — дело серьезное. Его могут так повернуть, что тебя и к стенке поставят — свинца хватает! Тем более, тут налицо самое тяжкое «преступление» — групповой отказ. Ни уполномоченный НКВД, ни суд не сочтут погоду смягчающим обстоятельством — закон чужд жалости. Для них указ ГУЛАГ-а о борьбе с отказами — основа всех юридическим норм.

— Так что же, пойдете или нет? — грозно спросил оставшихся комендант, потирая застывшие руки.

Тягостная минута молчания казалась бесконечной.

— Марш в барак! — приказал комендант. — Мое дело маленькое — доложу Филимонову, а он знает, как добиться дисциплины.

Строй совсем растаял. Осталось меньше десяти человек.

— А ну, сомкни ряды! — приказал комендант. — Конвой, принимай людей!

— Не могу. По инструкции положено десять человек на конвоира, а тут восемь...

Комендант, молча показав рукой оставшимся — «В барак!», — направился в землянку писать рапорт.

— Товарищ комендант! — раздались вдогонку ему голоса: — Так ты не забудь, что мы не отказчики... Конвой нас не принял... мы не виновны...

У читателя, наверное, вырвалось: «Какие малодушные! Струсили! Нет товарищеской спайки».

Да, они не были героями! Они, эти восемь, сидели по 58-ой статье и ждали второго суда в лагере за ту же «контрреволюцию». Не будь у меня со вчерашнего дня освобождения от работы по болезни, я был бы среди них девятым... Что ж, презирайте и меня, но судить — не ваше дело! Пусть судят те, кто прошел «перековку». Мы часто жалуемся на уголовников за то, что они отравляют жизнь политических. Но бывают моменты, за которые им можно простить многое. Уголовники не сказали ни одного обидного слова этим восьмерым. Они понимали, что одно дело — их отказ, другое — отказ политического, да еще за несколько дней до второго суда в лагере.

Через полгода в нашем изоляторе повторился групповой отказ. За час до этого случая к нам подошли два блатаря и сказали: — «А вы оставайтесь в строю — ваше положение особое. Мы понимаем...». Тут стало мне ясно, что и уголовникам не чужды порывы благородства.

* * *

В бараке было тепло, но оно не радовало и не согревало души. Группового отказа без тяжких последствий не бывает — это понимал каждый. Чем реже отказы, тем жестче приговор, чем они чаще, тем строже становится общий режим в

лагере. При групповых отказах, обычно, прежде всего ищут зачинщиков, чтобы придать делу окраску организованного сопротивления лагерному режиму. Я даже убежден, что многие уполномоченные НКВД радуются таким «острым» событиям, подобно садисту, когда замученная им жертва снова подает признаки жизни — можно еще раз насладиться ее хрипом и еще раз сжать пальцами теплое горло и чувствовать дрожь его конвульсий...

Едва ли каждый сознавал все это с полной отчетливостью. Слишком различные люди сидели в изоляторе — от митрополита-живоцерковца до одесского базарного «торбохвата», от шофера киевского ГПУ Егорова, отвозившего трупы расстрелянных в лесные ямы, до гуманного и образованного еврея-сиониста. Но несомненно одно: обстановка, созданная отказом, угнетала всех и каждый думал о том, на кого падет выбор Филимонова. Блатари, засунув руки в карманы, молча и быстро ходили из угла в угол. Жулье помельче забралось на нары, укрывшись с головою бушлатами и тоже по своему переживало эти тяжелые часы. Ни ругани, ни шума — затишье перед грозой. Уже подходило время обеда

— Филимонов идет! — послышалось из средней камеры, откуда была видна дорога к лагерю.

Мы прильнули к щелке. Да, идет!.. Раскрылись ворота и медленным спокойным шагом в изолятор направился Филимонов, в сопровождении своего помощника Карнаухова, начальника ВОХР-а Михайлова и коменданта.

Вот он вошел в среднюю камеру. Изолятор затаил дыхание, стараясь не пропустить ни одного звука. Но Филимонов молчал. Ни вопросов, ни ругани, будто он рассматривает игрушки в магазине.

— Смирно! — крикнул комендант, открывая нашу камеру.

Поднимая полы длинного желтого кожаного пальто, опушенного мехом, Филимонов переступил порог и остановился. Медленно повертывая шею, уполномоченный тупым, холодным взглядом ощупывал каждого. Вот он на миг задержался на мне. В глубине этих бесцветных глаз, казалось, пробежал какой то проблеск, а может, мне это почудилось. Подняв голову, Филимонов с той же методичностью осмотрел сидевших на верхних нарах. Никто не рискнул обратиться к нему с вопросом, никого и ни о чем не спросил Филимонов. Минута, ну много — две и уполномоченный тем же размеренным шагом вышел из камеры, наполнив каждого каким то холодным страхом.

— Паразит!.. — сплюнув с верхних нар, сказал один из урок.

— Режим. Это был режим! — тихо, словно подводя итог своим мыслям, прошептал мой сосед — сионист.

На утро, еще до развода, одного троцкиста и трех блатарей вызвали на этап. Два конвоира приняли их у ворот, тщательно обыскали и повели. Куда? — «На следствие в центральном порядке в тюрьму Ухтпечлага в Чибью, за триста километров» *). После мы о них ничего не слыхали. В феврале 1938 г. большинству остальных отказчиков суд добавил от 1 года до 10 лет нового срока.

Через час был развод. Так же летал мокрый снег и свистел осенний ветер, но никто не потребовал сухой работы — все пошли на подгонку бревен к запани.

«ВЫВОЗКА ВРУЧНУЮ»

Закончив вырубку леса, вмерзшего против пилорамы, мы принялись за вывозку тех бревен, что выкатывали в октябре. Нет, не на лошадях, а на себе! Когда-то, три — пять лет назад, эту работу, не мудрствуя лукаво, называли «вывозкой на людях». С тех пор политический нюх лагерного начальства несомненно возрос. «Вывозка на людях» отдавала каким-то неприкрытым рабством и отсталостью. В 1936 году пришел приказ из ГУЛАГ-а: в планах, радиограммах и при прочих надобностях этого выражения не употреблять, а заменить его «вывозкой вручную», при расстоянии свыше полкилометра и «трелевкой вручную» — на меньшую дистанцию. Начальство успокоилось, а заключенные, как возили, так и продолжали возить лес на себе.

Между прочим, техника нехитрая. На пятерых дают одни подсанки с высокой колодой посередине. На эту колоду грузят от трех до девяти бревен, в зависимости от размера леса, качества дороги и силы заключенных. Норма рассчитана так, чтобы с этим возом сделали восемь километров с грузом и восемь — порожнем.

С каждой стороны подсанок привязано по паре лямок, из простых веревок. Четверо запрягаются в лямки, надевая их через плечо, а пятый с дрючком подпирает сзади и выравнивает ход.

Лямка рывками давит грудь, ноги упираются в придорожный снег. От лямщиков, как от лошадей, клубится пар. На дворе 35 — 40 градусов мороза, а людям душно. Ватные бушлаты и шапки брошены на подсанки. Тянут в одних телогрейках. Сердце учащенно бьется. Щеки горят. Во рту сухо. На ходу зачерпывают пригоршни иглистого снега и на ходу же сосут, простужая зубы, горло, легкие. В бараке ночью от нудного кашля не сомкнуть глаз.

На Соловецком острове для вывозки на людях отбирали только самых здоровых — с первой категорией трудоспособности. За зиму половина лямщиков наживала порок

*) Дела в «центральном порядке» обычно заканчиваются расстрелом.

сердца и переводилась из первой в третью категорию трудоспособности, у многих открывались грудные болезни.

После Соловков, с 1932 года, я ни разу не слышал (а в Ухтпечлаге «вывозило вручную» до двух тысяч человек), чтобы лямщикам производили медицинский осмотр. Очевидно, нужда в нем отпала. Организм приспособился к лямке. Живуч советский человек! Возит без овса и сена! Обходится без конюшни, без конюха и хомута. На каждую лошадь положено в конюшне девять кубометров воздуха, а на лямщика в изоляторе только полтора. Чай, не лошадь: захочет — выйдет за дверь, наглотается воздуха.

Я подобрал себе хорошую «упряжку»: великана Николашвили, семнадцатилетнего робкого и молчаливого грузина, взятого в концлагерь прямо из школы за переписку какой-то прокламации, лесных инженеров и бухгалтера с нашего лесзага «Курья». Все ожидали суда. Грузин — за побег, а эти трое — за халатность и невыполнение моего «вредительского» плана.

Навалим семь бревен — около двух кубов — аж лямки трещат! Встречные зырянские лошаденки испуганно косятся и шевелят ушами: «Не для нас ли этот возище!? С ума сошли! Да нам и не сдвинуть его!». А мы кряхтим, но тащим. Нужно. Борьба за существование. Гришин уволился с Судостроя. Нет больше передач. А несознательные кишки с этим не считаются — бурчат. Своего требуют. Как, откуда — не спрашивают. Набей, и все! Спасибо, власть догадалась: за 100 процентов — восемьсот граммов, за 125 — кило, а за 150 еще и стахановский пирожок. Сколько потопаешь, столько и полопаешь!

Дорогу накатали до блеска. Перегруженные подсанки оставляли за собой зеркальный след. Плечи и ноги ныли, несмотря на туфту. А без нее хоть в петлю: и ста процентов не вытянешь, как ни пыжься. А с туфтой к трем часам пирожок заработан. О нас опять шумит по радио Топорков! Бригада Розанова ставится в пример всему Судострою...

Да, теперь я бригадир! Наши решили: «Отделимся от этой хевры из общей камеры. Пусть у них будет свой бригадир, а у нас свой. Розанов все нормы знает, где и как написать, да и десятники его слушаются. Ему и быть!».

Обязанности бригадира не ахти какие сложные. Наука тянуть лямку — нехитрая. Каждый разумеет. Была бы силенка. Ну, а рапортичку я уж накатаю так, что все будет в порядке: и волки сыты, и овцы целы. Восьмой год практикуюсь...

* * *

За вывозкой — выкопка вмерзших бревен, за нею снова выкатка леса и погрузка его в баржи...

А дни идут, и жизнь уходит. Опомнишься, в себя заглянешь — какая-то внутренняя пустота. А вокруг — злоба, мат, вонь и теснота .Ноют руки, ноют плечи и поясница. Совсем оскотинели! Дохожу!..

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ...

Однажды вечером комендант заходит в камеру:

— Михаил Михайлович, оденьтесь. Пойдете к Подшивалову.

— С конвоем?

— Нет, только со мной.

— Что такое? — раздумываю я дорогой. — Чего ради Подшивалов вызвал меня вечером на квартиру? Он же совсем мало знает меня. Да и я его не больше. Был он когда-то золотоискателем на Урале, в революцию работал в Чека, дослужился до поста начальника Сталинского ГПУ в Донбассе, а потом пошел вниз: сначала помощником начальника Темниковского концлагеря под Москвой, снабжавшего столицу дровами. Там, за обмен дров на строительные материалы с каким-то московским трестом, получил пятерку. В 1934 году был старшим стрелком на Судострое в Кожве, отбывая свой срок. Теперь вольный. Пьяница, матерщинник и насчет слабого пола тоже слабоват. Но из встреч с ним в Кожве я понял, что где-то в глубине сердца у него начался разлад человеческих чувств с профессиональной черствостью чекиста. Подшивалов старался уйти от действительности и часами, словно ради службы, без оружия бродил по лесу. Повстречайся ему в это время беглец, Подшивалов, ручаюсь, не задержал бы его.

Дневальный открыл нам дверь той самой рубки, где сначала жил Авксентьевский, потом Ухлин, Бутенин, а теперь живет Подшивалов.

— Ага! Михаил Михалыч, помните меня? Вы, комендант, можете итти домой. Я вам позвоню, когда притти.

— Гражданин начальник, Розанов — подконвойный и следственный. Я не могу.

— Знаю. У меня есть разрешение Филимонова.

— В таком случае все в порядке. До свидания! — комендант ушел.

— Дневальный! Ты тоже сматывайся в барак. Подложи дров и возьми себе три папиросы. Придешь в пять утра. Топай!

Подшивалов в совершенстве владел лагерным жаргоном и употреблял его как в разговорах с подчиненными, так и с начальством. Урки побаивались этого грузного дяди, но он подкупал их «родною речью».

Закрыв за дневальным двери, Подшивалов промолвил:

— Не люблю, когда чужие уши торчат. Через них и «там» все слышно ,— кивнул головой в сторону филимоновской резиденции.

— Ну, для вас это роли не играет. Подозревают...

— Знаю я их! — перебил Подшивалов. —Молчат, молчат, а потом за мягкое место и в конверт...

Я подивился образу мыслей человека, когда-то работавшего в Чека и ГПУ, но смолчал, ожидая, что будет дальше.

— Мы здесь вдвоем, и между нами все останется. Вчера я в изоляторе долго беседовал с Ухлиным. Мне все ясно. Жалко, что в этом деле помочь ничем не могу. А вы мне можете. Ухлин вас рекомендовал. У меня, знаете, душа не на месте. Опасаюсь, как бы тоже за шкирку не взяли. Дела на Судострое идут погано. Мороз жмет, а тонн нету. Ни леса, вообще, ни шиша нет. К тому ж, вы слыхали? — Бермана (начальника ГУЛАГ-а) тоже арестовали. Теперь Мороз потерял опору в Москве. Ведь, его жена и жена Бермана — сестры. Через них доберутся и до Мороза. Как бы не влопаться вместе с ним! Навязал же он мне этот проклятый Судострой! По этому-то делу я и вызвал вас. Помогите мне смотать здесь удочки. Вот бумаги, телеграммы... Голова у меня работает, но с писаниной я не в ладах.

Я углубился в чтение. Несомненно, морозовский корабль тонет, и крысы бегут. Нынче не в моде итти за другом на плаху...

Часа через два я читал Подшивалову набросок докладной записки Морозу, из которой выходило, что, с одной стороны, Подшивалов не виноват в прорыве Судостроя, а с другой — что его нельзя оставить на нем из-за резких несогласий с директивами Ухтпечлага.

— Морозу и обидно покажется, и укусить вас побоится. Вот и удовлетворит просьбу — переведет на другое место.

— Ловко обтяпал! — хвалит Подшивалов. — Выгорит мое дело — не забуду про тебя.

КОМЕДИЯ С ТРАГИЧЕСКИМ КОНЦОМ

Суд приехал! — пронеслось по изолятору.

По этому случаю нас еще больше уплотнили. Летом сидело 150 — 160 человек а теперь стало 240! В изолятор собрали всех, кто ожидал суда, но оставался «на общем положении», то-есть, жил в рабочих бараках на верфи или лесзаге.

Изолятор гудел, как рой шмелей.

Восьмого февраля, наконец, вызвали первых подсудимых. Начали с сявок — с мелкого жулья, за мелкие провинности, простые побеги и отказы от работ. Почти каждый возвращался с «довеском» — кому полгода, кому год, кому три. Приговоры пеклись, как блины. За полчаса ухитрялись выслушать свидетелей, подсудимого, покурить в совещательной комнате и выйти с просохшим уже приговором: два года... Суд тоже работал стахановскими темпами. За день провертывалось до двадцати дел. А суд приехал не простой, какой-нибудь народный или участковый. Верховный суд!

Выездная сессия специального отдела Верховного Суда Автономной Коми-республики! С прокурором Ухтпечлага Носаревым и с официальным бесплатным защитником-адвокатом! Прикатили на двух тройках, с двумя мешками обвинительных дел!

Рассчитавшись с мелюзгой, суд перешел к более крупным делам: групповым побегам, бандитизму, контрреволюционной агитации в лагере. Тут уж «довески» пошли солидные: кому три года, кому пять, а кому и все десять.

Приближался и наш час. Уже повели на суд руководство лесзага «Курья». Из одиннадцати подсудимых ни один не вышел сухим. Всех окрестили: кому «пришили» халатность, кому растраты, кому агитацию. Пробовали было бедняги ссылаться на вредительское руководство Судостроя — оно, мол, во всем виновно: поставило лесзаг в тяжелые условия и дало непосильный план. Нет, и это не помогло! Не за тем четыреста километров отмахал суд, чтобы оправдывать! Оправдать мог и Филимонов, прекратив дело! Не велик ущерб государству, если и невинных засудят. Все равно останутся работать на Судострое. А подстегнутая лошадь шибче бежит и прилежнее тянет!..

Наше дело, как и все «контрреволюционные преступления», суд рассматривал уже не в лагерном клубе на открытом заседании, на котором он «провертывал» простые уголовные проступки, в крохотной рубке, где раньше ютился Маслеха. На восемнадцати квадратных метрах разместилось трое судей, прокурор, адвокат, секретарь и подсудимые с конвоем. Немножко тесновато! Поэтому, когда торжественно возглашалось: «Суд удаляется на совещание», то в действительности суд оставался в рубке, а подсудимым показывали на дверь.

Воспоминания этих трех дней «процесса» встают как бы в тумане. Напряженное нервное состояние последних десяти месяцев разрядилось в какую-то бесчувственную апатию. Предрешенность дела убивала всякое желание активной защиты. Интересовал только один вопрос: сколько дадут и не заменят ли 58-ую статью на 116-ую — на служебную? Я сидел и клевал носом, как на докладе о задачах профсоюзного движения. А, ведь, тут шел вопрос о моей жизни! Быть или не быть? Дадут или не дадут? Конечно, не быть, конечно, дадут!..

— Подсудимый Розанов? — откуда-то глухо пробивается в сознание.

— А?.. Я здесь!

— Вы опять заснули?! Надо уважать суд!

Я силюсь побороть дремоту и луплю глаза то на прокурора, то на суд, то на свидетелей, вызываемых поодиночке из соседней рубки

Что слушать тут? Кого? Бригадиров, десятников? О чем? О плохо пригнанных зампах в шпангоутах? О слишком

тонко свитых прядях пакли? Какое это имеет ко мне отношение?

Как попугай, задаю каждому один и тот же вопрос:

— Что вы можете сказать о планировании? И в ответ слышу почти одно и то же:

— Ничего. Я производственник и в планах не разбираюсь.

И снова слипаются глаза, снова застилается туманом сознание.

В комнату вводят свидетеля защиты Ухлина худосочного Лунева, мастера кузнечного цеха. На вопросы Ухлина он тихим, робким голосом подтверждает, что за четыре года не помнит случая, чтобы Ухлин дал бесхозяйственное распоряжение или отказывал бригадирам в помощи советом и материалами.

— Наоборот! Благодаря Ухлину рационализированы способы...

— А кто вас назначил мастером? — прерывает его прокурор.

— Ухлин.

— За что вы осуждены?

— По подозрению в шпионаже, по статье 58, пункт 6 на 10 лет.

— «По подозрению»! — иронизирует прокурор и, повернувшись к судьям, продолжает: — Смотрите, каков «защитник» у подсудимого! Вместо того, чтобы этого Лунева, как шпиона, держать на физических работах, Ухлин устроил его мастером и в благодарность за это Лунев выставляет своего покровителя в розовом свете. Коварство врага мы знаем. Товарищ Сталин предупреждал...

Лунев боязливо оглядывается, хочет что-то сказать в свою или Ухлина защиту, но председатель торопливо бросает ему:

— Свидетель можете удалиться. Вопрос нам ясен.

Маслеха устами свидетелей пытается раскрыть ложь обвинения.

— Старший инженер во всем помогал нам — подтверждают суду свидетели... Он был душой производства..., не знаем, спал ли он вообще... на свои деньги покупал нам плотничные карандаши и метры... нашей бригаде отдал продуктовую карточку своей жены... Виталий Григорьевич изобрел...

— Здесь нет никаких Виталиев Григорьевичей,—вспыльчиво обрезает прокурор. — Перед нами подсудимый Маслеха, по вине которого Ухтпечлаг несет громадные убытки. Граждане судьи! Подсудимый, действительно, спал очень мало. Ему не давала покоя мысль, как бы навредить социалистическому строительству. Частности нам неизвестны, но итог деятельности Маслехи видел каждый из нас. Заказчик, Печорское пароходство, отказывается принимать его баржи.

Вот вам главный исходный пункт для политически-правильного суждения об истинных намерениях Маслехи..

Так проходил весь процесс.

Напрасно я оглядываюсь на каждого нового свидетеля. Тех, кто помогал создать этот процесс тех здесь нет. Из 52 свидетелей, вызванных на суд, явились только третьестепенные — из цехов и бригад.

Старший бухгалтер Гомонов уехал в командировку в Чибью, за 300 километров.

Инспектор снабжения Матвеев откомандирован на лесзаг «Курья», за 250 километров

Мой первый заместитель, экономист Глушков, кончил срок и уехал из лагеря.

Прораб Погарский теперь работает в Усть-Усе, за 600 километров.

Прорабы Дударчук и Шарыгин третьего дня отправлены в Троицко-Печорский затон, для контроля за ремонтом барж и вернется лишь через неделю.

Всех главных свидетелей обвинения разогнали. Пусть суд верит только этим трем толстым папкам клеветы и путаницы. Иных средств нет. Как хитро подстроил это Филимонов оставаясь сам в стороне!

Мою просьбу назначить экспертизу планов, вызвать свидетелем Барзама, ответственного за планирование во всем Ухтпечлаге, и затребовать протокол слета ударников, суд отклонил, «как несущественную для дела». На что же еще надеяться? Все предрешено! Везде сети и капканы! Не спасет и отличная характеристика, которую только что дал суду обо мне Подшивалов.

Указывая на меня пальцем, рыжый, веснущатый Носарев, прокурор Ухтпечлага, обращается к судьям:

«... Вот третий тип — Розанов. Поглядите, какой тихоня! Он ни за что не отвечает! Он и не думал вредить! Можно ли верить словам, когда каждый лист показаний изобличает его как врага? Он сознательно втирал очки советской власти, планируя фантастические цифры, чтобы скрыть за ними следы вредительства на Судострое. Под его нереальные планы правительство отпускало громадные суммы, загружая транспорт ненужной перевозкой в тайгу материалов, продовольствия и фуража. Розанов знал обо всем этом и, тем не менее, продолжал вредить. Он мог бы своевременно поставить в известность высшие инстанции о нереальности планов, а не страховать себя докладными записками уполномоченному 3 части. Я требую для подсудимого применения нового закона о борьбе с вредительством, а именно: 15 лет лишения свободы, с присовокуплением к первому сроку ...».

Я сжимаю руки в коленях. Отяжелевшая голова склоняется все ниже и ниже. Да, это конец! Так и будет. Пятнадцать лет! Сгнию в лагере! А, ведь, оставалось с небольшим

только два года. Прощай, мама! Не жди. Не плачь и не молись — камни не внемлют!

По пылающим щекам льются молчаливые слезы обиды. Третий раз в жизни изливается в слезах душа. Потонули все надежды. С этим грузом я уже не всплыву. Выбился из сил... А за что? За что?!.

Как уверенно несет прокурор свою обвинительную околесицу! Плюнуть бы сейчас в эту нахально-глупую, широкую харю! За что, подлец, губишь? Что я сделал государству? Где, какой закон нарушил, и если бы даже нарушил, то почему именно с целью вредительства? В других условиях все бы смеялись над этими дешевыми поклепами, а я... я плачу. «Правительство, — говорит он, — под его планы загружало транспорт». О, идиот! Разве в тайге растут болты, гвозди, стекло, кирпич и пакля?! Или я планировал завоз их вдвое больший, чем требовалось для барж, заказанных правительством? Почему ты не скажешь правды, что правительство дало непосильное задание, не обеспечив его материальной базой? При чем же здесь я, рядовой экономист, бесправный арестант?

Но язык мой нем. Я молча продолжаю глотать слезы обиды: К чему восставать? Чего добьюсь? Страна, весь народ безмолствуя слушает, видит и терпит ложь и обман. Какая цена одинокому воплю?

Где-то кто-то надумал, что сегодняшняя дорога к коммунизму недостаточно прочна. Вот спешно и устилают и утрамбовывают ее нашими телами! Какая подлая игра! И ее называют мудрой политикой!..

Из просохших глаз снова закапали слезы. То были слезы бессильной злобы за ограбленную молодость и безвинно отнимаемую жизнь в утеху какой-то «генеральной линии».

За спиной прокурора репродуктор не переставая кричит о процессе право-троцкистского центра, словно предостерегая наших судей: «И вы будьте тверды и бдительны. Не верьте! Истребляйте врагов!».

Со стен рубки режут глаза кровожадные лозунги о бдительности и врагах народа. Куда ни посмотришь, всюду развешаны портреты Сталина, Ежова и убитого Кирова. Обо всем, решительно обо всем позаботился Филимонов!.. Какой садизм! Боже мой, какой садизм! Прямо сатанинский расчет. В один и тот же день процессы: в Москве над Бухариным, Рыковым, Ягодой и тут, в глухой тайге, над нами! О, нет, это не случайное совпадение, как не случайно разосланы главные свидетели! И это жуткое радио, будто связывающее воедино оба процесса!.. Все продумано до тонкостей!

Официальный защитник что-то робко лепечет о переквалификации моей статьи и смягчающих вину обстоятельствах.

... Подсудимый Розанов, ваше последнее слово!

— Оно, граждане судьи, остается таким же, как и первое, мне нечего добавить. Все уже сказано здесь и в показаниях от 22 июля. Я считал и считаю себя невиновным. Ни один из свидетелей, прошедших здесь, не подтвердил и не доказал предъявленных мне обвинений. Что же касается «доводов» прокурора, то они, по меньшей мере, странны. Как можно требовать от экономиста-заключенного изменения существующей системы планирования?! Почему я должен нести за нее ответственность? Мой долг, моя обязанность — следовать ей, а не выдумывать новую. Из ответов свидетеля Подшивалова, начальника Судостроя, вам стало ясно, что «фантастические планы» выполнялись лучше, чем теперешние, «реальные», и что мой арест ничего не изменил. Если суд все же признает меня виновным, то у меня к нему остается лишь одна просьба: вынести мне высшую меру наказания — расстрел.

С клеймом вредителя я жить не хочу. Оно лишает меня единственного оставшегося права — естественного права на труд. Я отдал лагерю силу, молодость и здоровье, а мне в награду за это — новый срок. Повторяю просьбу: лучше высшую меру — расстрел. Я кончил.

Был уже десятый час ночи, когда нас отвели в изолятор. Суд оставался разыгривать заключительный акт комедии — вынесение приговора.

Один Ухлин не потерял присутствия духа.

— А я опасался худшего! — делился он дорогой своими мыслями. — После того, что говорил прокурор, можно было ожидать, что он потребует для меня расстрела. И вдруг — 25 лет!.. У меня отлегло от сердца. Год, ну, много два, и дело пересмотрят, нас реабилитируют. Пройдет эта волна борьбы с вредительством, и все уладится. А вы заметили, — спросил вдруг Ухлин, — какие наводящие вопросы ставили прокурор и председатель? Им хотелось, чтобы я назвал виновным во всем Мороза. Видимо, под него тоже ведут подкоп.

— Подкопаются с другой стороны, — буркнул я, — был бы приказ, а обвинить всегда сумеют. Мы тоже верили в законность и справедливость, а она вон какова.

Как был я в бушлате, валенках и шапке, так и повалился на свои нары. Голова зедеревенела от какой-то холодной пустоты. Тупая, животная бесчувственность окутала тело и душу. Вблизи решался вопрос моей жизни, а я, как скот, дрых на жестких нарах.

. . . . . .

— Розанов! Да он, никак, спит! Ну, и нервы! Эй, Розанов! Собирайтесь слушать приговор!

У ворот изолятора стоял удвоенный конвой: четыре стрелка. Что бы это значило? Неужели такой порядок? Гм, странно! Мы тревожно переглянулись.

— Который час?

— Четверть третьего.

Председатель суда, зырянин, нетвердо владеющий русским языком, запинаясь и коверкая произношение, монотонно читает приговор:

— Именем Российской Социалистической Советской Республики... признали виновным: Ухлина в.., Маслеху в..., Розанова... как все знакомо! Так это же копия обвинительного заключения, врученного нам за день до суда! Та же последовательность изложения, те же формулировки, даже безграмотность фраз осталась та же! И ради этого суд три дня выслушивал сорок свидетелей! Ничего не добавлено и не убавленно, как было так и осталось. Пункты обвинения сохранены в той же редакции, только в последнем — «Вел разговоры и выступал перед заключенными о нереальности планов» выпущены первые два слова.

Суд исправно выполнил свои функции: заслушал свидетелей и оформил, написанный НКВД, проект приговора. «В СССР заочно не судят» — сказано в конституции...

«...А потому, — читает судья дальше, — руководствуясь статьями... суд приговорил:

1. Ухлина, вольнонаемного, к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

Ухлин вздрогнул. У каждого промелькнула одна и та же мысль: «Как же так?! Прокурор требовал 25, а суд дал расстрел!..»

Председательствующий безучастно перевернул страницу:

«...2. Маслеху, заключенного, к 15 годам лишения свободы и поражению в правах на 10 лет, с присовокуплением к первому сроку. Концом срока считать 24 марта 1966 г.

3. Розанова, заключенного, к 15 годам лишения свободы и поражению в правах на 5 лет, с присовокуплением... Концом срока считать 4 декабря 1954 года...

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. В отношени осужденного Ухлина предоставляется 24 часовой срок для подачи ходатайства о помиловании.»

— Конвой! Обнажить оружие! Принять и отвести осужденных! — раздалась команда.

Щелкнули затворы. В руках блеснули взведенные «наганы». Не четверо, а уже шесть конвойных стояло позади нас.

Ухлин сделал движение в сторону судьи.

— Куда?! Ни с места! Стреляю! — заорал выскочивший вперед политрук ВОХР-а.

— Я только хотел спросить о порядке подачи помилования.

— Не разговаривать! Молчать! Объяснят, когда надо! А ну, правое плечо вперед, шагом марш!

Мы вышли в леденящую звездную ночь.

— Конвой! Винтовки — на изготовку! Осужденные, не разговаривать, не смотреть по сторонам и не оглядываться! Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к бегству. Оружие применяется без предупреждения. Вперед, шагом марш!

Только скрип снега под ногами оживлял эту безмолвную, жуткую ночную процессию. Как саваны, простирались над нами заиндевевшие сосны.

Скоро перекресток. Полпути. Тут отходит дорога к лагерному кладбищу. Не сон ли этот приговор? Не отвод ли глаз? Не завернут ли сейчас на кладбище, да там и расхлопают? Для чего, иначе, такая зверская строгость? Сердце тревожно замирает. Страх гуляет по нервам, оттоняя усталость и мороз.

Кончилась неудачная жизнь! Сломлен! В ту ночь этой дорогой, не знаю на каком шагу, от меня на долгие годы улетели смех и уверенность, и вползли робость и страх. Вот лишь когда завершилось мое перевоспитание! Я превратился в серую массу. Был человек — стал раб. Материя победила дух.

Ранним утром Ухлин простился с нами. Согласно приговору, до ответа на ходатайство о помиловании он должен содержаться в одиночке тюрьмы Ухтпечлага в Чибью. Два конвоира и сани ждали его у ограды нашего изолятора.

Я с Маслехой остался в низенькой, прокопченой каморке вместе с группой троцкистов, ожидавших этап в тюрьму. Из нашей камеры на работу не выводили, и стояла она встороне от большого изолятора, как тюрьма в тюрьме.

МАНИЯ ЖАЛОБ

В один из июньских дней, когда мы уже были в рабочей бригаде изолятора, наша камера пополнилась еще одним начальником. Привели Бутенина, любимчика Мороза, присланного из Чибью «самим» на ликвидацию последствий нашего «вредительства». Бутенину, как помощнику начальника Судостроя по производству, Филимонов предъявил обвинение во вредительской организации лесоразработок и сплава, но вскоре переквалифицировал статью на служебную, а затем и вообще закрыл дело, продержав Бутенина два месяца в изоляторе. Нельзя же без конца сажать одного начальника за другим! Уже четвертого сменили, а толку нет. От этого и производство страдает, и всякое уважение к законности исчезает. Очевидно, это стало ясным и Филимонову.

Подобно Ухлину, Бутенин боялся и боготворил Мороза и верил в его силу.

— Я вчера направил письмо Якову Моисеевичу с напоминанием о всех своих заслугах и наградах, полученных за

время работы под его руководством. Он прикрутит хвост этому Филимонову. Я ему не рядовой заключенный! — с ноткой тщеславия проговорил Бутенин, скосив глаза на значек «ЦИК СССР — ударнику Ухты»*), приколотый к его гимнастерке. — Во всем Ухтпечлаге лишь восемь лагерников и два вольнонаемных получили эти значки. Меня к награде сам Мороз представил. Он знает, кто создал радиевый промысел.

— Ему сейчас не до вас, Николай Дмитриевич. Ухлин тоже писал Морозу. Пока работали — хороши были, а посадили — забыли. Это не свинство с его стороны, а обязанность. Мороз сам как-то сказал Ухлину: «У нас, большевиков, такое правило: за хорошее — спасибо, за плохое — отвечай» Чего вы хотите? Благодарите Бога, что ваше дело закрыто. А вы еще ерепенитесь. Забейтесь в угол, чтобы вас никто не замечал. Бросьте писать Морозу, лучше помогите мне отшлифовать жалобу.

— А что вы здесь про Мороза написали? Вы хотите с ним тягаться? Вы понимаете, к о г о вы обвиняете? — Члена бюро Северного Крайкома партии! Большевика с тремя орденами! Да, он вас! Мороз три раза лично был с докладом у Сталина! Порвите жалобу. Не делайте себе хуже.

— Хуже?! А пятнадцать лет — это что? Удовольствие? Чем я страдаю? Ответьте, только прямо — убедительно изложено ил инет?

— Написано хорошо, но я не советую...

— Достаточно. Сажусь переписывать набело.

Через два дня жалоба Верховному Суду РСФСР была отправлена.

Еще через две недели — в начале августа — один передавал другому:

— Мороза тоже взяли. Зашли к нему в кабинет двое в гражданском платье, показали какую то бумажку из Центрального Комитета, посадили на машину и увезли. На Судостроe портреты Мороза уже сняты.

— Ну, что, Николай Дмитриевич, кто прав?

Бутенин молча раскрыл папку, вынул и тут же порвал копии своих писем Морозу Угар очарованья прошел. Больше он не вспоминал о Морозе. Каждый дрожал прежде всего за себя.

Убитый горем Маслеха уже второй месяц писал какую то докладную записку, испещренную цифрами и формулами.

— Вы тоже жалобу готовите, Виталий Григорьевич?

---

*) Эти значки выдавались в 1934-37 г. по особому положению. Идею дал Мороз, а ГУЛАГ — проект «положения» и подпись Ягоды. Одной рукой НКВД клеймил инженеров вредителями и шпионами, а другой представлял их к правительственным наградам. Ну, где еще сыскать такую низкую беспринципность и двуличность.

— Нет, по другому вопросу.

— Что нибудь насчет рационализации баржестроения?

Маслеха боязливо оглянулся по сторонам и тихо-тихо промолвил:

— Никому ни слова. Военная тайна! Я разработал технические расчеты переоборудования судов нашего Дальне-Восточного торгового флота в военные — путем дополнительных металлических креплений, настила и навеса стальных плит и установки орудий. Технически все обосновано и осуществимо за короткий срок. Понижается лишь скорость хода и маневренность. На случай войны с Японией, все это очень важно. Ведь наш военный флот в Тихом океане равен нулю. Не разбалтывайте только, ради Бога!

Через две недели после сдачи по всем правилам запечатаного пакета,Верховная Прокуратура ответила: «Предложение переслано по принадлежности в Наркомвоенмор».

На жалобы о приговорах молчат годами, а когда коснулось укрепления большевистской военной машины, так докладная пошла с курьерской скоростью

Некоторое время во мне оставалось какое-то брезгливое чувство к Маслехе. «Беспринципный человек! Его незаслуженно бьют, а он лижет ноги! — рассуждал я — выслуживается! Взялся укреплять силы того строя, который дважды осудил его, как шпиона и вредителя. Эх ты, старший инженер! Где твое самолюбие?!».

Но видно в советских условиях таков закон вещей: кого больше бьют, тот лучше работает. Страх двигает вперед даже техническую мысль. Будь Маслеха попрежнему проектировщиком черноморских теплоходов, ему подобная идея и в голову бы не пришла. А вот тут, оглушенный 25-летним сроком, потеряв семью, выброшенную из лагеря без средств на улицу, он отчаянно барахтается в жизненном омуте, высматривая, за что бы уцепиться, лишь бы продержаться на поверхности.

Концлагери особенно наглядно подтверждали «теорию страха». Политики ради, ОГПУ и НКВД неоднократно снимали все начальство командировок, обычно, состоявшее из «вредителей», «шпионов» и «агитаторов». На их место ставили «своих» — социально-близких и всегда эта политика обходилась ГУЛАГ-у в миллионы рублей. «Свои» еще хуже выполняли планы; порчи, недостачи и хищения материалов возрастали в несколько раз. Приходилось, правда, молчком итти на попятную. Оказывается, «свои» в меньшей степени, нежели политические, пропитаны страхом перед ГПУ - НКВД и не чувствуют в полной мере ответственности за работу. Горькая правда, которую многим неприятно слушать..

У меня только сейчас открылись глаза на это, а НКВД давно знает все свойства страха. В Москве, под его присмотром, в нескольких местах работают осужденные крупные инженеры, профессора и академики, выполняя через ГУ-

ЛАГ поручения Наркоматов по разработке и проверке всяких технических проектов и расчетов, вплоть до военных. И работают, говорят, куда продуктивнее, чем прежде, в институтах и лабораториях. Там не было над ними Дамоклова меча, а тут за малейшую ошибку ждет пуля или, в лучшем случае, отправка в концлагерь, с припиской: «содержать только на тяжелых физических работах». Поневоле семь раз примеришь, а раз отрежешь!

Продержав Маслеху и меня на штрафных работах до середины августа, Филимонов, наконец, смилостивился и выпустил нас в лагерь на общее положение.

Пятнадцать месяцев «лагерной академии»!.. О, это больше пятнадцати лет!

Маслеху сразу же взяли в проектное бюро, а меня наградили метровым буравом — сверлить баржи.

— Не думайте, что это моя выдумка! — будто оправдываясь, говорит прораб Степа Дударчук. — Взял бы тебя в цеховую контору плановиком или нормировщиком, но не могу. Филимонов приказал держать тебя на общих работах.

Подорванный изолятором и приговором, я с трудом выполнял ударную норму 125 процентов — на сверлении болтовых дыр. Тут с туфтой вытанцовывалось плохо. При всей изощрености, больше чем пятнадцати процентов не припишешь. На всю баржу полагалось по смете около шести тысч болтов. За каждую лишнюю записанную дырку бригадир отвечал изолятором и штрафом. Волей — неволей, в ожидании лучших времен, приходилось по десять часов, не разгибая спины, сверлить проклятые дырки. Спина ныла, руки болели.

Я молча, сбросив рубашку, крутил бурав, а вечером, набивая брюхо пресным супом из сушеных овощей, делил ударный паек хлеба на три равные части: к ужину, завтраку и обеду.

Совсем незаметно подкралась куриная слепота — верный спутник истощенности. Год назад здоровый крепыш, я с заходом солнца не мог найти дорогу к бараку, спотыкаясь о каждый пень. Для меня уже не существовало, как для других, светлых ночей. Электрические лампочки тускло мерцали, будто окутанные густым туманом.

Слабость развивалась, временами вызывая головокружение. Мускулы привыкли к бураву, но организм раскис. Слягу. Разве сходить к лекпому (фельдшеру)?

В околотке дали дюжину каких-то таблеток, пузырек железных капель и записку к завхозу с просьбой отпустить триста граммов сырой печенки за наличный расчет.

— Вам посчастливилось, Михаил Михайлович! Только что получили в счет поставок корову. Никитин, выпиши ордер в ларек на килограмм печени для товарища Розанова.

— Основание, товарищ завхоз?

— Больничная выписка в счет фонда санчасти. Понял?

И обратившись ко мне, тихо пояснил:

— Из нового этапа. Не оперился... Осмотрится, станет хорошим счетоводом. Помните, у нас в Кожве сидел на ордерах немец Шмидт? Так тот вначале тоже основания требовал, а как огляделся... Вот что: сегодня вечером, перед отбоем, зайдите в вещевую каптерку. Я скажу, чтоб вам переменили обмундирование.

... Вечная слава всесильному лагерному блату! Все, что запрещено законом, доступно ему! По законам жить, так не протянешь и года, а с блатом и туфтой можно выдержать и десять лет! По закону килограмма не выпишут, а по блату, в память дружбы, пожалуйста. Обмундирование дается раз в год, а мне его уже третий раз меняют...

Печенка помогла. Я прозрел и вновь отдался своей мании — писанию жалоб.

Кому я только ни писал их за эти годы? Всем, кто имел право отменить или опротестовать приговор Выездной Сессии. И как в прорву! Хотя бы слово! Одно управление лагеря исправно уведомляло: «Ваша жалоба отправлена по назначению, за номером...». Плоды бессонных ночей и нравственных мучений, видно, никого не трогали, кроме меня. Какой член партии в Верховном Суде или прокуратуре посмеет выступить на защиту дважды осужденного контрреволюционера! Не помогали сухие жалобы о грубых нарушениях процессуальных статей, не помогали и горячие вопли, идущие от сердца безвинно гибнущего. Партийный билет стоил дороже правды.

Я отгонял прочь эту трезвую оценку действительности и снова садился за писанину.

Полночь. В бараке бригадиров, куда меня устроил Дударчук, давно все спят. Забыты вечерние взаимные перебранки из-за украденных друг у друга строительных материалов. Сон успокоил и уравнял всех. Только один я сижу за столом: пишу и рву, пишу и рву, время от времени откусывая кусочек хлеба.

На дворе четвертый час. Восходит солнце, и в его лучах радостно чирикают птицы. А я пишу и рву, пишу и рву, как будто в этом смысл моей жизни.

И так месяцами! Стоишь ли в очереди у кухни, сверлишь ли дыры, глотаешь ли суп, а в голове одно: жалоба.

Прошла зима. Снова плывут по Печоре плоты. Уже 1939 год. А я все на том же Судострое, все так же пишу и рву, пишу и рву!.. С тою лишь разницей, что днем я не на баржах с буравом, а в запани с багром сортирую лес.

— Розанов пришел? — спрашивает нарядчик, зайдя в барак: — вас вызывает начальник Судостроя.

Душа уходит в пятки. Подшивалова давно нет. Уехал. Теперь другой — незнакомый НКВД-ист.

Робко вхожу.

— Гражданин старший сержант госбезопасности! Вы приказали явиться.

— Розанов?

— Так точно.

— У меня имеются сведения, что в ваших жалобах на приговор вы проводите параллель между работой Судостроя за ваш период и после него. Кто вам дает цифры?

— Никто, гражданин начальник! Я черпаю их из ваших докладов, стенной газеты и радио.

— Гм... У вас с собой есть копии жалоб?

— Да.

— Я хотел бы познакомиться с ними.

— Гражданин начальник, эти жалобы — мое частное дело...

— Тем не менее, я желал бы прочесть их.

Заартачиться? Что пользы! Только пуще разожгу в нем любопытство и всякие подозрения. Не дам копий, прочтет оригиналы. Шепнет слово начальнику УРЧ (учетно-распределительная часть), и тот до отправки принесет ему жалобу или снимет с нее копию.

Я вынул из бокового кармана тетрадку:

— Пожалуйста. Надеюсь получить ее в сохранности.

— Само собой разумеется. Можете итти!

Спустя несколько дней, начальник снова вызывает.

— Вот ваши жалобы. Я здесь человек новый, вас не знаю и ничего против вас не имею. Возможно, конечно, что суд допустил ошибку. Ваше право — доказывать это. Теперь о другом. Я хотел бы знать, по каким причинам Судострой опускается с каждым годом все ниже и ниже. Вы приводите в жалобах сравнительные цифры о работе предприятия, не объясняя причин. Вы могли бы сделать для меня анализ работы за четыре года? Цифровыми материалами я вас обеспечу.

Сказать ли ему правду, что в 1936 году Судострой был производством, больше чем тюрьмой, и что тогда были люди, которые знали и любили работу и шли на производственный риск, а теперь правит чиновническо-бюрократический дух. Обидится. Примет на свой счет.

— Нет, гражданин начальник! — отвечаю ему, — я сейчас не вправе анализировать работу. Я признан вредителем.

— Я вас так не называл!

— Вы нет, но суд, от имени государства. Вы заблуждаетесь, полагая, будто мой анализ увеличит выпуск барж. Он не изменит порядка вещей.

— А что же?

— Этого я сказать не могу. Я заключенный.

— Будьте откровенны!

— Не в ваших руках средства возродить Судострой.

— Какие средства? У кого же они? Я — член партии, если нужно, я получу их даже в Москве.

— Сомневаюсь!.. Извините, гражданин начальник, но на эту тему я в своем положении не считаю возможным сказать больше того, что сказал.

— Разве причины кроются в политике?

— Это не моего ума дело. Обратитесь к другим экономистам. Для меня достаточно опыта тридцать шестого года. Доанализировался!.. Разрешите уйти?

Сержант пристально взглянул:

— Отказываетесь? Напуганы приговором? Что ж, заставить не могу. Это было мое частное желание. Можете идти.

Часть IV

В ДАЛЕКОМ ЗАПОЛЯРЬЕ

(1940-1941)

Глава 16

Воркута - столица белых невольников

Подшивалов, растянувшись на диване, храпел во все носовые завертки, а я угрюмо глядел в окно на бесконечный снег и подступавшие отроги Урала. Поезд, громыхая и подпрыгивая, как разбитая телега по засохшей глинистой дороге, двигался все вперед и вперед. Мы ехали по самой северной в мире узкоколейке: от пристани Воркута-Вом к руднику, расположенному в 60 км. на берегу Воркутки. Дорогу, идущую по тундре в ста — двухстах км. севернее Полярного круга, проложили заключенные Ухтпечлага в 1933-1934 годах для доставки руднику грузов и вывоза оттуда угля.

Вагон, в котором мы ехали, был построен специально для Мороза, но так как последнего давно «ликвидировали», то вагон перешел по наследству к начальнику Воркуто-Печорского лагеря Тарханову. В условиях заполярья обстановка вагона вызывала зависть. Уютная печка, диван, обшитый бархатом, три мягких кресла, дубовый стол, умывальник, полки с книгами, на полу ковер и медвежья шкура; стены разделаны под палисандр, а на них развешаны картины южного Кавказа и портреты наших кормильцев — Сталина и Берии. Подшивалов, а тем более я — не имели права разъезжать в вагоне начальника лагеря, для нас были особые «теплушки». Но пол-литра водки чего не сделают в этой снежной пустыне! Начальник дороги, такой же заключенный, прицепил вагон, зная, что к утру вагон снова будет на пристани.

Тоска на душе росла с каждым километром. «Зачем я попросил Подшивалова вытянуть меня с Покчи? — думал

я. — Там теплее, там десятки знакомых. А тут? Полярная ночь, стужа, шахты и ни одного друга. Сегодня Подшивалов со мной, а завтра его уволят за пьянку. Кто еще рискнет помочь дважды осужденному? Дадут молоток или кирку и в шахты. Теперь, надломленный, я не протяну и года. Эх, идиот я, право, идиот!»

Над всей тундрой небо полыхало полярным сиянием. Синяя бездна то темнела, то окрашивалась в разноцветные мигающие полосы. По белому одеялу спящей тундры легкой дымкой пробегали тонкие струйки мелкого, как манка, снега. Одна за другой скрывались позади станции — маленькие, заснеженные до труб, деревянные бараки. Ватные бушлаты махали поезду фонарями, держали дребезжащую стрелку и на ходу передавали машинисту путевку. На всей дороге не было ни одного вольнонаемного.

Валентин Николаевич, повернувшись на другой бок и не открывая глаз, спросил:

— Далеко еще?

— Проехали сорок восьмой километр.

— Время собираться. Знаешь, что я придумал? Оставлю-ка тебя у начальника станции, на 58-ом километре, она почти у самого рудника. Сейчас тебе показаться на Воркуте опасно. Эти шакалы — коменданты сразу упрячут тебя в рабочие бараки, а в них не сладко. Не бойся! Не попадешь на общее положение. Знакомых «бобров» (начальства) у меня тут хватает, а водка еще осталась. Накачаю, кого надо. Подшивалов не забывает услуг, а ты мне кое в чем помог.

Начальник с кряхтением натянул сапоги, френч, нацепил портупею, поправил браунинг и взглянул в окно:

— Вот зверский край! Надо же было тут уродиться углю. Нет, чтоб под Москвой. Рестораны под рукой и водкой хоть залейся... — Подшивалов открыл чемодан и с любовью стал пересчитывать заботливо уложенные бутылки, —четыре, пять, шесть. В порядке! Начальник УРО (Учетно-распределительное отделение) на корточках не устоит. Пусть-ка попробует потом отказаться оформить тебя старшим экономистом лесного отдела! Тут, брат, спирт, как золото.

Поезд, замедлив ход, остановился. В двери вежливо постучали.

— Кто там церемонится? Раз нужно, так нечего спрашивать. Влезай!.. А, старый знакомый!

— По вашему приказу, гражданин-начальник. Вы распорядились поместить у меня одного человека. Не беспокойтесь, все устроим. Место есть, продуктами поделимся.

— Спасибо, старина! А ну-ка с морозу горяченького... Вот колбаса... Куришь?.. Ну, Михаил Михайлович, жди и не тушуйся, как обтяпаю, так сразу же позвоню.

Поезд ушел, оставив меня в тоскливой тундре, среди незнакомых людей.

За окном бушевала пурга. Дикий ветер яростно трепал и крутил тучи снега. Жутко свистели провода, в трубе гудело, барак скрипел и вздрагивал под свирепыми шквалами. Но мороз спал.

В такую погоду — а пурга временами буйствует по два, по три дня — опасно выйти наружу. В глазах, как искры, мелькают бесчисленные снежинки. Миг, и глаза залеплены снегом. Шаг... другой... легкий поворот и... куда же теперь итти? Где дверь? Отовсюду только свистит и снег. За три метра все сливается в один белесый снежный водоворот, за голенищами, в карманах, в швах — всюду набит снег да так плотно, словно утрамбованный. В пургу вся жизнь на Воркуте замирает. Даже куропатки, и те, заблаговременно набрав высоту, камнем падают вниз, носом и грудью пробивая себе в снегу ямку, чтоб укрыться от непогоды.

Раньше, в 1932-1934 годах, когда Воркута была еще маленьким лагерным отделением, в пургу заключенные ходили на кухню, придерживаясь за протянутый канат. Иные, пренебрегая опасностью, оставляли канат. После пурги их тут же, во дворе лагеря, находили занесенными снегом. С пургой не шутят. Но теперь Воркута — многотысячный город, со многими десятками бараков, землянок, палаток, складов, мастерских, с железной дорогой, электричеством, аэродромом, с настоящей ванной для начальника лагеря и пулеметами на вышках — для населения города. Теперь трудно даже в пургу и полярную ночь затеряться среди массы зданий и электрических столбов.

...На третий день пурга утихла. Небо очистилось. Урал сверкал отшлифованным снегом. Глаза слезились, не в силах выдержать световую игру кристаллов. Термометр упал, как обычно, до сорока градусов. Воздух застыл. Воркута проснулась.

Люди со вздохом покидали бараки, снова выгнанные на открытые работы: на строительство и очистку. Тысячи фигур, укутанных в бушлаты, с фланелевыми масками на лице, вступали в бой со стихией. Очищались строительные площадки, лагерные дороги, подходы к шахтам и буровым. По всей железной дороге раскапывались поезда и расчищался путь. После каждой пурги перебрасывались сотни тысяч кубометров снега. За два-три дня напряженной работы на собачьем холоде лазареты и бараки переполнялись обмороженными. Прежде во всех лагерях наружные работы проводились при морозе до 35 градусов. С января 1936 года главное управление лагерями издало другой приказ: прекращать работу при морозах только свыше 40 градусов. Стахановщина, по мнению Москвы, поддавала жара в работе.

Вот уж пошли поезда. Вместо лопат, людям до следующей пурги дают топоры, пилы, кайлы. Растут новые десятки деревянных бараков. А уголь, не взирая на мороз и пур-

гу, безостановочно вывозят из шахт. С высокой эстокады то и дело из вагонеток высыпается черное золото. На целых два километра протянулись угольные навалы. Железная дорога вывозит за день только пятьсот тонн, а добыча поднялась уже до полутора тысяч. Но с запада, от Котласа, за 1100 километров от рудника, заключенные уже строят новую ширококолейную дорогу. Еще два года, и воркутский уголь без перегрузки дойдет до топок Москвы, Ленинграда и Архангельска.

В 1934 году для вывоза угля проектировали построить двухсоткилометровую дорогу по вечной мерзлоте, прямо на север. к Баренцеву морю. Изыскательные партии работали по всей Ненецкой (самоедской) тундре. На Баренцевом берегу ГУЛАГ уже начал выгрузку строительных материалов из первых пароходов. Но в ЦК партии усомнились в реальности этой жуткой дороги, и проект отпал. Говорили, что даже при хорошем питании каждое полугодие пришлось бы укомплектовывать строительство свежим человеческим материалом. В открытой тундре, на вечной мерзлоте, без топлива и жилищ дорога унесла бы сотни тысяч жизней, а вождь сказал, что «человек — наш самый ценный капитал»... На дорогу от Котласа этого «капитала» угробят несколько меньше. Спасибо и на том...

Сейчас на Воркуте готовы к эксплоатации две капитальных шахты на миллион тонн добычи в год, заложены еще три. И все это — только начало. Воркута — в будущем. Уголь оказался первокласным. Залежи выходят прямо на поверхность и осыпаются с берега в речку. Запасы исчисляются в миллиардах тонн. Рабочий труд — гроши. Ни отпусков, ни социального страхования, ни семейных квартир, ни восьмичасовой работы. Набьют в барак по две сотни, чтобы теплее было, поставят на вышку стрелка с пулеметом, опрокинут в котел черпак супа, а над воротами повесят изречение Сталина: «Труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» — вот и все. Работа идет. Просто, дешево и продуктивно. В 1936 году, при Морозе, выработка подземного рабочего на Воркуте оказалась на двадцать процентов выше, чем в Донбасе. Будь вся страна в концлагерях, строительство коммунизма пошло бы еще быстрее...

* * *

Но не углем славится Воркута среди заключенных лагерей Ухто-Печорского бассейна. Воркута славится своим кирпичным заводом, не менее знаменитым, чем соловецкая Секир-гора. Завод является штрафной командировкой в этом штрафном лагере. Вместе с лагерными обер-бандитами, там ожидали приговора вторично обвиненные в агитации, вредительстве и шпионаже. На заводе было в десять раз хуже, чем на штрафной командировке в Покче. Люди не выживали там и шести месяцев. Кто вернулся с кирпич-

ного, не считался жильцом на этом свете. Цынга и шахты через два-три месяца окончательно подрезали надорванный режимом организм.

В дни ежовщины*) Воркута пережила самую жуткую трагедию за весь период существования печорских лагерей. Командированный из Москвы НКВД-ист Григорович со своей комиссией творил следствие, суд и расправу над каждым, кого НКВД даже в лагере считало опасным. В тот период тут было около 6 тысяч заключенных, среди них много видных троцкистов, партийно-советских сановников и участников последних массовых голодовок зимой 1935-36 года. В бараках отучились спать, поминутно ожидая очередного вызова кого-нибудь к Григоровичу. Нервы у всех напряглись до предела. Партия за партией под усиленным конвоем уходила на кирпичный. Некоторых на самолетах отправили в Москву, чтобы, допросив еще раз, расчитаться с ними на месте — в подвалах Лубянки. Опасаясь восстания, Григорович вызвал на Воркуту Усть-Усинский взвод охраны.

Кирпичный завод превратился в гигантскую камеру смертников. Мало кто считал себя виновным, но почти каждый надеялся на помилование.

. . . . . .

Как это произошло, никто толком не знает и рассказывать о том не хочет даже спустя два года. Страх тех дней не рассеялся и поныне. Слова совсем скупы: «Вызвали с вещами. Построили во дворе, сказали, что на рудник. Дали команду. Вышли за ворота. Спустили в лощину . . . — Рассказчик боязливо оглядывается, хотя мы стоим на пустой дороге, и шопотом продолжает: вдруг с обеих сторон косогора стрельба. Пулеметная и винтовочная . . . Всех уложили. Сколько? Кто их считал! Охрана три дня ходила их закапывать. Наверно, несколько сот. Вон там, несколько правее» . . . Как все просто! Вывели и ухлопали. Все! Среди этих несчастных находился и мой первый «наставник» в лагерном планировании — Натан Исаакович Левин, до лагеря начальник планово - экономического управления Наркомзема РСФСР, осужденный в 1934 году, якобы, за шпионаж. Мы вместе работали в 1935 году в Усинской водной группе. В начале зимы 1935 года, прощаясь со мной, — я тогда переезжал в Покчу, а Левин на Воркуту начальником планового отделения, — он сказал:

— Ну, вы еще все переживете, а со мной счеты кончены.

———o

*) Ежов—генеральный комиссар госуд. безопасности, сменивший на посту начальника НКВД заговорщика Ягоду. Ежов выполнил свою задачу доведения террора до крайних пределов, после чего был «убран» Политбюро ЦК ВКП(б) свалило на него ответственность за безоглядочные репрессии, подсказав народу словечко: «ежовщина».

— Полно! У вас здоровье не хуже моего.

— Не в том дело, — прервал Левин, — я не выйду из лагеря. Тут со мной и покончат. Я слишком много знаю, чтобы жить. Зачем им рисковать? Они допустили ошибку — они исправят ее. Прощайте!

По старой лагерной привычке я постеснялся задать вопросы. Но из прежних бесед и случайных фраз я давно понял, что Левин, как европейски- образованный специалист, не раз участвовал в секретных правительственных комиссиях по разработке различных государственных проблем на много лет вперед. Как-то он обронил застрявшую по сей день в голове реплику: «Ну, это только цветики! Подумаешь, событие — лейтенанты, вместо товарищей - командиров! Придет время, удивят еще больше. Прошлой весной мы уже обсуждали, во что лучше реорганизовать наркоматы: в департаменты на французский образец или в министерства на прежний русский. А вы лейтенантам удивляетесь!».

Через два года сбылось предчувствие Левина: он слишком много знал!..

Я взглянул на Урал. Во впадине, над белой пеленой, чернели очертания кровавого завода. Не попаду ль и я туда?

А бежать с Воркуты некуда. До первого деревца двести километров, до первой станции тысяча сто... За непроходимой тундрой — непролазная тайга. Легче с Соловков вплавь добраться до материка, чем с Воркуты пешком до железной дороги. Надежная тюрьма без стен! Твори, что хочешь! Кто узнает, тот промолчит. Прошлой зимой трое решились на побег. Достали лыжи, продукты, компас и в пургу скрылись из лагеря. Но куда уйдешь? Самолет отыскал черные точки в отрогах Урала. Взвод охраны на лыжах догнал их и без никаких пристрелил на месте. Летом тем более пути отрезаны. Куда ни ступишь, всюду воды по колено. Встревоженные стаи тундровой птицы сразу открывают беглеца. Тучи комаров и мошкары за несколько дней высосут всю кровь. Облепят сонного, вопьются, и не откроешь больше глаз. Нет уж отсюда не убежишь!

После ликвидации Мороза режим на Воркуте усилился. За два месяца третий отдел четыре раза делал ночные обыски в нашем техническом бараке Управления. В каждое помещение назначили ответственного за соблюдение правил внутреннего распорядка и за наличие людей. В дополнение к кирпичному заводу построили собственную воркутскую тюрьму с решетками, «парашами» и с коврами в коридорах, заглушающими шаги.

Осенью 1938 года Воркута пополнилась первыми этапами долгосрочников, с 15 - 25-летними сроками. Появилась уйма бывших крупных партийных, советских и хозяйственных руководителей — от окружного до всесоюзного масштаба. Профессуре и всяким специалистам лопат нехватало!.. Даже председатель Малого Совнаркома Богуславский,

и тот очутился тут, получив случай вспомнить свою старую профессию забойщика.

Всего поразительнее было то, что большинство видных прежде «деятелей» страны, надев арестантский бушлат, в один голос негодовало:

«Ужасно! Такие условия!.. Мы осматривали лагерь «Москва - канал» **) — вот это настоящий советский лагерь, а тут... Мы будем жаловаться!».

Кто поймет, что на душе у этих людей! То ли тут артистический трюк, чтобы избежать общей ненависти остальных заключенных, то ли они на самом деле жили, зная жизнь лишь по циркулярам и словам вождей. Вероятнее всего, были и те, и другие.

Весною 1937 года два бывших члена ЦК партии при переводе их с Воркуты в другой лагерь дорогой, в Усть-Усе сбежали ночью от конвоя, забрались в самолет Ухтпечлага, стоявший подле Усть-Усы и улетели в Москву (один из них когда-то командовал воздушной эскадрильей). Там, в Москве, прямо с самолета, — в ЦК с жалобой на режим в Печорских лагерях и особенно на Воркуте. И что же? Во-первых, их со специальным конвоем вернули обратно, во-вторых, Морозу пришел строгий выговор за разгильдяйство, благодаря чему заключенные улетают на самолетах. Слава Богу, что лагери непосредственно не подчинены ЦК, а то бы он не так еще закрутил гайку!

На Воркуте я повстречался с заместителем председателя Верховного Совета Коми - республики, у которого бывал в 1947 году при командировке в Сыктывкар. Теперь судьба уравняла нас — оба вредители...

Ну, и режимчик! — признался он. — А я то думал, что заключенные живут почти так, как вы, когда были в Сыктывкаре. Верите ли, за пять лет службы не осмотрел ни одного лагеря! Да и когда?! Помнится я вам в Сыктывкаре во всем помог.

— Да. Именно поэтому я постараюсь кое-что сделать для вас.

— О, пожалуйста! Я не против физического труда, но в таких условиях он быстро меня убьет. Отвык, знаете, и ослаб. Ведь, вам знакомо следствие...

Через неделю вторая персона в республике подметала коридор в нашем бараке и еще издали встречала меня поклоном. О, люди, люди!..

**) В этом лагере НКВД с целью пропаганды выделило несколько «образцово - показательных» отделений для высоких гостей, вплоть до иностранных.

... А все же Подшивалов молодец! Ведь, вот же из старой чекистской гвардии, а нет в нем ненависти к людям. Устроил сановника подметалой!

* * *

По утрам мимо барака с инструментами на плечах, молча и строем проходили бесчисленные бригады шахтеров, строителей и дорожников. За ними на белом снегу оставались розовые пятна. Это цынготники сплевывали слюну с кровью из размякших синих десен. В лазарет принимали больных лишь с резкой формой цынги, когда ноги опухали и появлялись злокачественные пятна. Остальные еще могут работать!

Сегодня в Воркутскую тюрьму под усиленным конвоем погнали около двадцати заключенных. Всю ночь по лагерю шныряли работники 3-го отдела и охраны, вызывая из бараков людей по уже готовому списку. Носились слухи, будто 3-й отдел раскрыл подготовку крупного диверсионного акта: взрыва центральной силовой станции, после которого остановились бы до лета все монтажные и эксплоатационные работы. Рассказывали, что в районе силовой станции и на чердаке управления лагерем нашли спрятанными несколько мешочков с аммоналом и пироксилиновые шашки. Тревожная обстановка чувствовалась и в управлении. Кто знает мсжет, вот-вот и сюда явится 3-й отдел, чтобы схватить намеченные жертвы.

Большинство не верило в это «дело». Слишком уж фантастично: «диверсия на Воркуте!». Да разве НКВД пропустит в концлагерь способных на этот шаг! Он рассчитывается с ними на месте, в своих подвалах. Нескольким диверсантам, допустим, удалось сохранить свою жизнь. Неужели они настолько безумны и легкомысленны, чтоб пойти на подобную диверсию?!

Двадцать диверсантов!.. Когда же сумели они договориться о таком деле, если тут даже другу не доверяют сокровенных мыслей? Все загнаны в свое внутреннее подполье и боятся оттуда показать себя. Дух Григоровича еще витает над Воркутой. Вот мы теперь вечерами слушаем радиосводки о советско - финской войне. Слушаем и молчим. Хотя бы слово кто выдавил! Будто истуканы, а не люди. А ведь большинство в душе симпатизирует этому маленькому народу, и никто не верит, что он посягал на советскую территорию. Всякий остерегается «стукачей». Тут их достаточно» и платных, подосланных НКВД, и той мрази, которая доносами думает спасти себя. А я особенно заразился подозрительностью. После нашего «дела» в Покче мне в каждом мерещился новый Матвеев, такой, знаете, дешевенький Азеф с советскоу душонкой, что и рук о него марать не стоит. Сколько же «стукачей» на Воркуте, если их на Судостроее, в Кожве, в 1935 году на четыреста заключен-

ных числилось восемнадцать — почти пять процентов! А вскрылась эта тайна НКВД совсем просто. Подвыпивший уполномоченный 3-й части Тульчинский, вылезая из саней, обронил записную книжку, а его спутник, начальник Судостроя Ухлин, не будь дурак, поднял ее и вечером заботливо просмотрел. На одном из листков Ухлин, как он после мне об этом сам рассказывал, нашел список восемнадцати заключенных, озаглавленный «По состоянию на 1-е февраля 1935 года». Сомневаться мог только слепец...

Двадцать диверсантов!.. К чему бы привел этот жест отчаяния? К новым десяткам невинных жертв и к усилению и без того тяжкого режима для тысяч прочих заключенных. Диверсия повредила бы не большевизму, а нам, его жертвам. Явный абсурд! Сам 3-й отдел по своей инициативе или по указке сверху, выдумал или спровоцировал диверсию, чтобы с одной стороны, заслужить награды за бдительность, с другой — иметь повод к еще большим строгостям и зверствам. Старый метод!

Однако, работать в такой атмосфере мучительно: чорт их знает, что еще состряпают они в 3-м отделе! Душевная стойкость слабеет день ото дня. Уж слишком угнетающе действуют на психику и бесконечная белая однотонность тундры, и пурга, и эти розовые пятна, и ночные аресты. Снова, как в Покче, после приговора ненависть к режиму оттесняется страхом перед ним. Страх, оказывается, глушит ненависть, когда она бессильна проявить себя. Подавленный страхом не способен сопротивляться.

Тает воля, а с ней и организм. Видно, придется сложить кости на Воркуте. А вдруг пересмотрят мое дело? Надо вырываться!

День за днем убеждаем начальство, что нелегко за тысячу километров из тундры руководить лесозаготовками на Печоре. Убедили. Утвердил Тарханов перевод лесного отдела в Усть-Усу.

26 февраля 1940 года мы покинули эту жуткую стройку 3-й пятилетки: я и Хейфец. Подшивалову с Погарским дали самолет, а нам клячу и срок: за три недели добраться до Усть-Усы.

Снова к югу и без конвоя. Подшивалов сам сходил в 3-й отдел и взял пропуск, по которому мы будто бы едем под его личной охраной.

— А где же начальник? — спрашивали дорогой оперативники, проверяя наши документы.

— Станет он мучиться в этих розвальнях! Уехал вперед.

— Посмотрев на ящики с папками, записанные в наш пропуск, оперативник отходил:

— Езжайте!

А я ехал и все оглядывался: «Не вернут ли?»... Мы были первые пятнадцатилетники, которых выпустили с

Воркуты. Двое на десять тысяч. Как тут не благодарить судьбу!..

Подавленное состояние понемногу развеивается. Одиночество и тишина успокаивают нервы. Жаль, право жаль, что до Усть-Усы только пятьсот тридцать километров! Рад бы так ехать целую зиму.

Снова зацепился за жизнь!

* * *

Прошло полгода. В один из августовских дней, когда мы в лесном отделе мирно гоняли цифры по колонкам таблиц, с Воркуты от начальника лагеря пришла радиограмма — молния:

«Усть-Уса Погарскому.

Основе требования ГУЛАГА безоговорочно двухнедельный срок представьте план лесозаготовок нужд Воркуты исходя следующих перспективных цифр угледобычи Воркуте. 1940 год один миллион тонн 1942 три миллиона 1944 восемь миллионов 1946 пятнадцать миллионов 1948 двадцать пять миллионов тонн. Тарханов».

Я взглянул на Погарского, Погарский на меня — столы наши стояли рядом — и у обоих в головах пронеслась, очевидно, одна и та же мысль: «Ай, да размах! Двадцать пять миллионов тонн угля в год!!! Столько же, сколько добывает вся Бельгия!!! Семьдесят тысяч тонн ежедневно. В час по три железно-дорожных состава. Это же четвертая часть угледобычи всего Донецкого бассейна с его пятимиллионным населением! Видно, большевики перешли от лозунгов к делу и всерьез решили превратить Воркуту в Заполярный Донбасс».

Но дальше наши мысли разошлись.

Погарский стал вслух восторгаться гигантскими цифрами. За миллионами тонн ему мерещились новые города, фабрики и дороги, которые неизбежно должны сопутствовать развитию Воркуты. Погарского не образумил пятилетний срок. Он остался большевиком: видел цель и оправдывал средства.

А я слушал его и думал: «Откуда возьмут миллионы людей? Такую массу сюда никакими калачами не заманишь. С Воркуты разбежались последние вольнонаемные шахтеры. Сюда можно только загнать. Дубиной. А дубина у кого? У НКВД. Ну, значит, план реальный. Будут люди... Выполнят. А во что обойдется, это не столь важно. Пот, слезы и кровь не планируют».

Через два дня лесной отдел била плановая лихорадка. Одна цифра тянула другую, другая — третью. Чтобы заготовлять для Воркуты сотни тысяч кубометров крепежника, нужно, оказывается, ежегодно вырубать чуть не миллион

кубов леса. Что делать с другими сортами древесины? Радиостанция работала день и ночь, принося нам туманные ответы.

А мы еще не знали главного: где же эти миллионы кубометров? Два дня ораторствовали и, наконец, записали в протокол:

«а) считать единственно - подходящей сырьевой базой бассейн Лемь-ю *) где, по сведениям охотников, имеются значительные массивы делового леса;

б) ввиду отсутствия лесных карт и таксационных материалов по этому району, поручить лесоинженеру, заключенному Буртасенкову, провести воздушную разведку и в трехдневный срок дать свое заключение».

Вообще говоря, для такого плана требуется минимум год времени. Допустим, по Лемь-ю лес есть. Но надо же, прежде чем планировать, удостовериться: где именно, какой, сколько, как его вывезти, сплавить и т. д. и т. п. Но в том-то и заключается одна из особенностей большевизма, что он терпеть не может делать по-людски: Раз приказано, значит, нечего рассуждать! Дан срок, значит, хоть умри, а уложись в него. Точно в установленный день план был отрадирован. Очевидно, таких технически - совершенных расчетов ГУЛАГ еще не видывал. Все точно подсчитано и экономически обосновано. От шлюзования Лемь-ю до напильников — ничто не было забыто. Даже сам Яша Хейфец, плановый зубр из Наркомлеса, и тот изрек: «Вот это план! Не совестно показать его самому наркому!».

На бумаге цифры выглядели гладко. В одном только сомневались: в наличии и качестве леса... Буртасенков, правда, два часа кружился над Лемь-ю, но что он мог рассмотреть сверху? Одни зеленые вершины. Вся эта «воздушная разведка» к «показания местных охотников», с которыми разговаривал Буртасенков, были простым очищением совести и самостраховкой. Надо же чем-то обосновывать план!

В сентябре, нагруженный планами, Тарханов вылетел в Москву, и вскоре нам сообщили:

«Начальник вместе с Берией был у «хозяина». Сталин утвердил плановые цифры добычи угля и строительства Воркуты».

А уж НКВД постарается, чтобы цифры, утвержденные вождем, претворились в жизнь.

В 1948 году на Воркуте вырастет город с двумя стами тысяч «жителей» — арестантов. Воркута станет столицей царства рабства, самой надежной и гигантской каторгой во всем мире и для всех времен.

*) Лемь-ю—левый приток верхней Печоры, длиною до 200 клм.

Глава 17

Женская командировка

Лагерная лошаденка медленно ковыляет по замерзшей Усе. Куда ни взглянь, повсюду искрится снег, ослепляя глаза редкого путника. Как брильянты, играют лучи солнца в кристаллах снежинок. И кажется, будто ни бугров, ни кочек, ни берега нет, — все слилось в одно ровное белое покрывало. Даже прибрежные кусты, и те спрятались под снегом. Чу!.. Где это? Словно кто-то вблизи, у берега, шевелит кучу засохших листьев. Тот же шелест пронесся над головой и, утихая, замер вдали. То белые куропатки, единственные зимние птицы в тундре, напуганные скрипом полозьев, покинули кусты. И снова тихо. После недавней пурги мороз еще не набрал силы. Всего каких-нибудь тридцать градусов. Морозный воздух чист и сладок. Дышится свободно и легко.

Уже скрылась Абезь *). Мы отъехали от рудника больше чем за двести километров. Нет, это не сон. Вырвался! Воркута позади! Ура!!! Вновь пробуждается смех и радость молодости и здоровья. Больше не маячат перед глазами вышки Воркутской охраны с чернеющими дулами пулеметов. Ни чинной атмосферы Управления лагеря, ни толчеи в бараке около печки. Вокруг раскинулась безбрежная ширь. Спали цепи гнетущей тоски. На сердце так же отрадно, как в дни 1932 года, когда мне удалось покинуть Соловецкий остров. Только мой спутник, Яков Соломонович Хейфец, тоже старший экономист лесозаготовительного отдела и тоже вредитель с пятнадцатилетним сроком, попрежнему сугубо задумчив. У него в Москве без средств осталась дочь. Он проиграл ставку на народного комиссара лесозаготовок РСФСР Ломова. Посадили Ломова, а за ним и всех его долголетних сотрудников-специалистов! Пропали пятнадцатилетние заслуги в лесном хозяйстве страны.

*) Абезь — деревня в 15 дворов, первый поселок за 150 клм. от Воркутской пристани.

Перед Адзьвой даем лошади короткую передышку, остановившись на маленькой, всего в три барака, командировке. Здесь в 1938 году открылся новый участок соседнего лагерного сельхоза, поставляющего Воркуте свежие овощи. По приказу начальника лагеря Тарханова, сюда собрали с усинских командировок всех жен кавказских «врагов народа». На весь участок лишь трое мужчин: комендант, кладовщик и бухгалтер да несколько женатых конвоиров.

Пока лошаденка подкрепляется сеном, а Хейфец готовит суп из сухого пайка и своих московских концентратов, я из любопытства заглянул в барак. День был воскресный, и лагерницы отдыхали.

В середине полутемного барака дымилась печка из железной бочки. Окна, снаружи и изнутри покрытые толстым слоем льда, скупо пропускали свет. По углам и у двери висел иней. Вдоль стен, по обеим сторонам барака, тянулись двухъярусные нары, на которых в беспорядке лежали разношерстные одеяла, платки, рукавицы и лагерное обмундирование. Ни шкафов, ни полок, ни умывальника. На протянутых ближе к печке веревках сохли где-то выстиранные полотенца, платки, теплые чулки и вязаные панталоны. Грязь и бедность. Видно, прекрасный пол плюнул на изящество и уют. Не до того. Вышиб НКВД эти прихоти из голов.

Женщины сидели на скамейках, поближе к печке, в ватных брюках и валенках и занимались своим делом: штопали лагерную одежонку.

Ни одной русской. Все с Кавказа: грузинки, лезгинки, ингушки, кабардинки, армянки. Молодые и старые. Красивые и так себе. Со всего знойного Кавказа собрал их НКВД на леденящий Полярный Круг.

— Привет с Воркуты! — смело бросил я и прямо пошел к печке. — Экий дьявольский холод! Уделите одинокому путнику частичку вашего тепла. Путь еще дальний. Погреться не вредно.

— Не в Россию ли едете? Кончили срок?

— Ну, нет: рановато. Крылья еще не отросли. Полечу туда в 1954 году. Пока в Усть-Усу. А что?

— Хотели бы отправить домой письма.

— Разве нельзя через комендатуру?

— Не принимают. Наш участок закрытый *): ни к нам писем, ни от нас. Никого не видим, кроме случайных командированных, вроде вас. Родные не знают, где мы и что с нами. Хотя бы адрес им сообщить! Так что же, не откажетесь захватить?

— Боюсь влипнуть. Посадят на месяц в клоповник, а вы, ведь, утешать не придете... Впрочем, пару писем зах-

*) Без права переписки и получения посылок.

вачу. Брошу их в почтовый ящик в Усть-Усе, а уж дойдут ли, не ручаюсь. НКВД часто проверяет письма.

— Может быть, на наше счастье на этот раз не проверит. Пожалуйста, возьмите!

Заложив три письма во внутренний карман брюк, я еще раз оглядываю обступивших меня женщин.

— Прошу! Не стесняйтесь! Пока что богаче вас. На папиросы хватает, — говорю я, положив на стол пачку «Красной звезды». — Надолго ль, спрашиваю, приехали?

— Кто на пять лет, а большинство на восемь и на десять.

— Чем же вы то провинились перед законом?

— Будто не знаете! Нам даже статей уголовного кодекса не дали. У всех одна формулировка: «Члены семьи врага народа».

— Значит, без суда. Ну, а прелести следствия изведали?

— К сожалению...

— Надеюсь, следователи вели себя как рыцари?

Собеседницы замялись. Видимо, ни одна не решалась ответить за всех. Порою молчание говорит лучше слов.

Реплика из угла прервала наступившую тишину:

— Не всякий рыцарь ведет себя по-рыцарски...

— А кем был ваш муж? — обращаюсь я к смуглой стройной грузинке лет 25, с длинной и плотной косой, перекинутой через плечо.

— Вторым секретарем грузинского ЦК.

— Сами тоже где-нибудь служили?

— Конечно. Была кинорежиссером!

Вторая грузинка оказалась режиссером тифлисского государственного театра и женой председателя тифлисского городского совета.

— Где же ваш супруг?

— У меня теперь своих забот хватает! — с какой-то тупой бессердечностью бросила она ответ.

Кого ни спросишь, у всех мужья были либо партийные, либо советские, либо хозяйственные шишки: заведующий организационным отделом ЦК, директор треста «Чай-Грузия», нарком юстиции, заместитель председателя Верховного Суда Армянской республики и т. п. А жены почти сплошь артистки, балерины, режиссеры, певицы. Целый Голливуд!

Вот они каковы, наши партийные и советские наставники!

Видно, таков уж закон, что нашим вождям после революционных фраз требуется для зарядки артистическое общество, а в нем всегда интриг, лести и коварства, хоть отбавляй. Вот и финал: мужей с постов по шее и «на луну» *), а жен и содержанок в концлагерь.

---

*) На луну — лагерное выражение: к расстрелу.

Да и наш Тарханов, начальник Воркутлагеря, женат тоже на артистке Большого Театра. Хоть и далеко до нее, но любовь, говорят, не признает расстояний. Тарханов летает к ней на казенном самолете и за казенный счет, после еще и командировочные получает.

Но не плохо живется и женам остальной лагерной администрации. Тем только и заняты, что кости перемывают да языки чешут. Все остальное по хозяйству делают за них арестанты: и обед приготовят, и дров нарубят, и белье вымоют. До того разленилось и разжирело это бабье, что порой не прочь тайком развлечься с нашим братом — заключенным. Каких только историй не случалось! На Воркуте, например, в 1936 году после пурги, когда не сыщешь темного пятнышка, у жены уполномоченного 3 отдела родился негритенок. Всамделишный: живой, черный и с преотменно-толстыми губами. Вопреки обычаю, мамаша рыдала, а супруг рвал на себе волосы.

— Где твой партийный билет! — ревел взбешенный Попов, начальник 3-го отделения. — Опозорил нашу организацию! До Москвы дойдет! Подлец ты, подлец! С жиру бесишься!..

— Это не я!.. — лепетал уполномоченный.

На закрытом партийном собрании Воркуты несчастного «отца» «проработали» до седьмого пота. Подробности не известны. Партия большевиков умеет хранить свои тайны. Вот бы хоть одним оком заглянуть в переписку по этому «делу»! Утром квартира уполномоченного опустела. Куда выгнали, никто не знал, но история быстро облетела все командировки.

На Воркуте в ту пору отбывали трехлетний срок за какую-то пародию любви два негра — артисты московского джаз-банда. Обоих немедля водворили на Кирпичный, считая ниже партийного достоинства проводить следствие и суд. К чему подливать масла в огонь! Ясно и без суда... «Авось», забудется. А чем виновны негры, если жене уполномоченного здумалось взять у них уроки фокстрота?

Фу, какие противные истории и противные эти бабы!

Совсем не чувствую к ним жалости. Не надо было и писем брать. Пусть мучатся! Я десятый год мыкаюсь по лагерям, а эти... В душе поднимается какая-то мутная ненависть.

Застегнув бушлат, я на ходу с желчью бросаю им:

— Не горюйте, милые! Помните: »Первые пять лет трудно, потом привыкают» *). Не вы первые, не вы последние. Придет и вам смена. Остались еще на Кавказе работницы искусства. Выйдут замуж за новых начальников, подоспеет

*) Лагерная поговорка.

новая чистка и... вы их встретите здесь. Будьте здоровы! Ловите больше куропаток. Вижу, занимаетесь этим. Вон и сетки, и петли, и крылья — это хорошо. Куропатки богаты витаминами. Скорчит цынга, навек пропадет грация.

Едва ли мои слова утешили красавиц. Желчи не скроешь. Молча освободили они проход к двери. Снова одни — в далекой тундре.

... Я с наслаждением глубоко вдохнул сладкий и чистый морозный воздух.

Глава 18

Из плена в плен

Сентябрь 1940 года. Надвигается конец навигации.

Один за другим вверх по Усе и Печоре медленно тянутся караваны барж. На пристани Усть-Усы — Содом и Гоморра. Причалы забиты баржами. Идет лихорадочная перегрузка.

К пристанскому дебаркадеру *) пришвартовывается еще один пароход.

— Эй, представитель Воркутпечлага! — слышится голос диспетчера, — принимайте ваш груз! Плановое время для разгрузки и очистки два часа. Не задерживайте баржу!

Я протиснулся к борту дебаркадера и взглянул на «груз».

В барже оказались люди, но в состоянии, которое ошеломило меня. Из нескольких сот человек только малая часть стояла, а остальные сидели и лежали в самых странных позах: на корточках, на коленках, на боку, на спине. На многих лицах лежала печать страшных физических страданий, другие глядели безучастно и тупо.

От этой массы скорченных тел поднимался и бил в голову какой-то отвратительный, вонючий смрад, словно под самый нос поднесли протухшую рвоту алкоголика. Так не смердит даже тюремная «параша».

Нижние доски бортов и края днища забрызганы желтой слизью с красными пятнами. Я догадался — этап страдал кровавым поносом, спросить о причинах не решался. По бортам палубы, на корме и носу, прогуливалась охрана в форме вооруженной конвойной стражи НКВД. С нею разговор был плохой. Откормленные, тупые, они не вступали в беседы и знали только своего начальника. После московской Пролетарской дивизии конвойная стража была самой надежной и послушной из всех родов войск НКВД. Кто попался к ней в

*) Дебаркадер — речная пловучая пристань в виде баржи со служебными надстройками.

руки, тот не уйдет от ее глаза и пули. Каждый конвоир был до фанатизма воспитан в ненависти к заключенным, считая каждого из них за чудовищного преступника: вора — за бандита, «агитатора — за отчаянного террориста. Едва ли кто, кроме НКВД, смог создать подобную систему воспитания беспредельной звериной злобы к арестанту.

Конвой время от времени покрикивал на людей:

— Не высовывать голов над баржей!

— Эй, в углу, сесть на корточки!

Вслед за этой отрывистой бездушной командой конвоир немного поднимал штык винтовки, будто намереваясь направить в трюм пулю или пронзить штыком непослушного.

Все заключенные были одеты в форму Красной армии: в зимних шапках, фуфайках, валенках и шинелях. Преобладали красноармейцы, но встречались взводные и лейтенанты. Знаки различия как-то противоестественно выделялись на этой груде тел. Лейтенант Красной армии в такой клоаке!.. Защитники Родины, измазанные испражнениями!.. Вон еще один, схватившись за живот, перешагивает через тела, торопясь к борту...

Случайность? Головотяпство? Едва ли! У НКВД достаточно опыта в обращении с этапами. Нет, не случайность, а какая-то садистская продуманность!

Уже давно шептали, что скоро и в наш лагерь привезут бойцов и командиров Красной армии, побывавших в финском плену. Но пока что этапы «освобожденных» пленных проплывали дальше по Печоре. Их везли на Кожву, на строительство железной дороги, в другой лагерь. Для Воркутпечлага это был первый этап.

— Граждане! — раздался окрик конвоира. — Потрудитесь отойти от борта. Здесь охраняют изменников родины!

В голосе конвоира звучит гордость от сознания о с о б о й ответственности за о с о б о важных преступников. Как же: попали в плен... Тягчайший грех! Изменили социалистическому отечеству! Не пустили в себя пулю! Теперь загадили всю баржу...

Но ждать повторного приказа не следует! Мы очищаем дебаркадер.

Уполномоченный 3 части, прискакавший по вызову начальника конвоя, о чем-то тихо беседует с ним всторонке. Вскоре показался лагерный конвой и все шесть подвод транзитного лагеря.

Началась «выгрузка».

— Кто еще может сам подняться наверх?

В барже молчание.

Перед выстроенными рядами вышел уполномоченный:

— Согласно полученным документам, вы обвиняетесь в нарушении военной присяги, — вы сдались в плен врагу. До суда Воркутпечлаг рассматривает вас как следственных

заключенных. Согласно закону, оставшиеся на вас знаки различия подлежат удалению.

Уполномоченный еще раз провел взглядом по рядам и приступил к «технической работе». Один рывок, и отлетает лейтенантский квадратик... С высокой горы глазеет группа усть-усинских зырян. Они привыкли уже к лагерным этапам, но на сей раз выдалось необычное зрелище. Молча поглазели, молча разошлись. Науку молчания усвоили не только в центре, но и на Печоре.

Пересчитанная партия тронулась в транзитный лагерь. Пришла очередь поработать санитарам. От баржи к подводам засновали носилки. Мест было мало, а больных много.

— Так не управимся и за пять оборотов, — решил комендант. — А ну... И он приказал санитарам переложить живые мешки не вдоль, а поперек телег. Приказано — выполнено. Ослабевшие головы и коленки бессильно свесились по бокам телег. Обоз тронулся в путь, к пересыльному лазарету. Скрип колес по кочкам тундры смешивался со стонами больных. Лагерь принимал на себя заботу о новом пополнении...

Вечером я забежал к нашему фельдшеру.

— Видали новеньких?

— Как же! В таком жутком состоянии встречаю первый этап.

— Что с ними?

— Кровавая дизентерия.

— С такой молодежью?! Отчего? Эпидемия?

— Нет. Рассказывают, что в пути морем, от Архангельска до Нарьян-Мара, они получали 400 граммов хлеба и по 2 селедки, а воды — лишь кружку на двоих. Дорогой поднялся шторм. Вместо трех суток, плыли неделю. Из трюмов к воде на палубу не выпускали, а от селедок поднялась такая жажда, что люди кинулись на морскую воду. Поделали из портянок веревки, привязали к ним котелки и ну черпать морскую воду через иллюминатор. Вот и подорвали желудки.

— Поправятся?

— И это возможно... народ молодой.

Но люди поправлялись плохо. Каждый день из лазарета нагружали полную подводу трупов. Добрых десять процентов, если не больше, пережили войну и плен, но не выдержали этапа. Остальных вскоре угнали в экспедицию по разведке на уголь и нефть, на Инту — приток Усть-Усы, где нет ни бараков, ни леса. Инта проходит по тундре.

Как-то в ноябре того же 1940 года, по вызову начальника Уфимского Транспортного отделения Воркутпечлага, захожу к нему в кабинет с дислокацией замерзших грузов. В кресле, против стола начальника, сидел неизвестный мне военный в чине капитана.

Подав таблицу, я молча стал сбоку, ожидая вопросов. Без рсякой цели, окидываю взглядом стол и замечаю толстую кипу хорошей бумаги с типографским текстом. Я прочел на верхнем листе:

ПРИГОВОР

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики выездная Сессия Военной Коллегии Верховного Суда РСФСР, в закрытом заседании от... ..... в..... лагере, рассмотрела дело по обвинению ..... в нарушении военной присяги и.....

Руководствуясь статьей 193 пункт..... Уголовного Кодекса РСФСР выездная сессия приговорила..... заключению в лагеря на..... лет и..... лет поражения в правах. Начало срока..... 19 ....., конец..... 19 ..... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Председатель
Члены

«Так этот капитан и есть, значит, председатель сессии», — подумал я.

Начальник отделения, пробежав таблицу, бросил мне:

— Хорошо. Теперь я занят. Зайдите в четыре часа.

В конторе уже знали, что сегодня прилетел самолет с членами военного суда, и что они вскоре уезжают на Инту. Все стало ясным... За какую-нибудь неделю «провернут» все четыре сотни «дел». Теперь всюду у нас царствует законность. Сталинская конституция закрепила за каждым гражданином СССР право на суд. Без суда — ни-ни! Власть во всем пошла навстречу, чтобы облегчить и ускорить судопроизводство: дала судьям самолет, снабдила их текстом приговора. Остались пустяки — спросить и записать фамилию, чин, номер части и вставить пункт статьи и срок.

За десять минут готов законый арестант. По конституции! По образцовой конституции!

Такие же выездные сессии и, несомненно, с такими же точно приговорами уже действовали на территории Севжелдорлага. Каждому пленному обеспечивался 5 — 8 — 10 летний срок в концлагерях. Исключений не было. Стандарт, преподанный свыше, есть стандарт!..

Я снова вспомнил слова секретаря Ленинградского обкома и члена Политбюро Жданова из его выступления в 1935 году на октябрьской партийной конференции ВКП(б):

... «Пришло время, — говорил он, — потребовать от Наркомата иностранных дел изменения тактики уступок и молчания в разрешении международных проблем. Советский Союз стал одной из решающих сил на международной

арене. В словах наших дипломатов мир должен чувствовать силу и мощь СССР . . . » *).

После удара в спину Польши, нападение на Финляндию было следующим пробным шаром большевистской агрессии. Бессарабия и Прибалтика умножили лавры Красной армии. Миру показывалась сила и мощь СССР.

Там, в Москве, творили активную историю большевизма, а тут, на Печоре, во славу и укрепление его, люди погибали в мучениях.

---

*) Цитирую по смыслу, а не буквально.

Глава 19

„Буржуев" привезли

По вязкой осенней дороге из Усть-Усы к Усинскому пересыльному пункту Воркутпечлага плелся новый этап. Тут заполнят на него лагерные «паспорта» (формуляры и карточки), установят категорию трудоспособности, научат рассчитываться и стоять в строю, а, главное, прогонят через вошебойку, от которой подохнут завозные вши, чтобы освободить место лагерным. Через неделю разошлют кого куда, глядя по возрасту и здоровью: молодых и сильных — в шахты и в лес, хилых — в лагерные сельхозы.

Оставив в покое таблицы, мы вышли на крыльцо нашего транспортного отделения, примыкавшего к воротам пересыльного пункта.

— Давай, подтягивайся! Не отставай! — неслись знакомые возгласы конвоя. — Тут с вас жир-то спустят!

«Московские», — подумали мы вначале, но, услышав незнакомую речь, догадались — «Балтийцы».

— Вон на того посмотрите, Михаил Михайлович, который в кожаном пальто. Какой товар, какой покрой, а? Сразу видно: заграничная работа. Пожалуй, и за две тысячи не купишь.

— Ну, не поднимайте цен, Игнат Андреевич! Бьюсь головой, что пальто завтра же сплавят в Усть-Усу и отдадут за три сотни. Не забывайте — в четвертом бараке ожидают отправки пятьдесят уголовников. Шпана не пропустит такого редкого случая. Ночью с этапа аж перья посыпятся. Пусть простится с пальто...

— Ах, какая шляпа! Чистый фетр! А фасон! Вот бы такую для мужа. Михаил Михайлович, душенька, вы в лагере живете. Сходите в этапный барак, спросите, может, этот гражданин согласится продать ее. Я готова дать все, что

одно: деньги, масло, сахар. Такая шляпа!.. Обещайте, сейчас же обещайте!

— Вероника Александровна! — с укором отвечаю я жене нашего юрисконсульта, бывшего заключенного. Откуда вы взяли, что я занимаюсь такими делами? В этой области не специализировался. И наклонившись к ее уху, тихо добавил. — Кто ж о таком «деликатном» поручении говорит во всеуслышание?! Экая вы неосторожная! Ладно. Приготовьте фунт масла и буханку белого хлеба. Устрою, хоть и не люблю этих комбинаций. Не ваши бы пирожки для меня...

Я опять отошел к перилам.

Этап, с нашей точки зрения, выглядел, действительно, по-буржуйски: сколько хороших пальто на меху, шерстяных костюмов, желтых солидных ботинок, кожаных перчаток! Какие изящные чемоданчики! На некоторых, правда, уже висели потрепанные советские «семисезонки», на одном из-под коверкотового пальто предательски выглядывали наши ватные шаровары. Товарообменные операции с додачей буханки хлеба начались... От этапного пайка с непривычки волком взвоешь и с радостью за ломоть хлеба стянешь с себя последние брюки. Кончились, видно, балтийские жиры. Рады и советскому хлебушку.

Ворота пересылки закрылись. Этап прошел. Мы снова сели за работу. Никому и в голову не пришло обменяться друг с другом своими мыслями, навеянными приходом людей из другого мира. Все мы были старые лагерники, умудренные опытом, как можно меньше делать глупостей. У каждого своя голова на плечах и за всех кричит в бараке радио: «Население Балтики восторженно встретило приход советских дивизий. На многотысячных митингах в Таллине, Ковно, Риге приняты приветственные резолюции вождю народов товарищу Сталину»... Хватит с нас! «Не любо — говорят — не слушай, а врать не мешай»...

*

В этапном бараке некуда стряхнуть вошь. На полу под столом — всюду расположились «буржуи», обмениваясь первыми впечатлениями от знакомства с практическими успехами нового для них строя.

Знакомая картина! Бывал в этаких передрягах! Осторожно переступая через людей, добрался до цели. Владелец шляпы на корточках, прислонившись к столбу, дожевывал остатки хлебного пайка, разостлав на коленях носовой платок, чтобы крошки не сыпались на пол. Во время оно так поступали ради чистоты, а тут с иным расчетом — не растерять бы крох. Этапный паек хлеба в этом 1940-м году урезали до 400 граммов, а с голоду он всякому кажется еще меньше. Вот люди и дрожат над каждой крошкой.

«Шляпа» заметив, что я неспроста остановился, поднял на меня глаза:

— Вы говорите по-русски?

— А что вам угодно? — с легким акцентом спросил он.

— Откуда вас привезли?

— Из Латвии. Ригу знаете? Из Риги.

«Шляпа» замолк, углубившись в охоту за крошками. Делал он это «технически». Сжав между пальцами первые крохи, он прижимал их к новым, и те прилипали к ним. Хлеб был мягкий и вскоре «шляпа» подобрал все остатки. Операция «приема этапной пищи», как официально называют завтраки и ужины, закончилась. Обедов в лагере не заведено, в обед надо работать!

— Долго ехали? — начал я прерванный разговор.

— Шесть недель. А почему вас это интересует? Кто вы?

Пришлось удовлетворить справедливое любопытство, смешанное с опасением: «а не агент ли?»

— О, я старый лагерник! Через три месяца исполнится десять лет.

Лед недоверия таял.

— Десять лет?! И выдержали?

— Как видите. Мне удалось.

— А другим?

— Кому как. В конторе при крепком организме можно привыкнуть.

— А на общих работах?

— Там несколько труднее, — слукавил я.

— Вы как думаете, неужели нас продержат по десять лет?

Я оглянулся. Все окружающие с какой-то робкой надеждой смотрели на меня, будто мой ответ может укрепить веру в жизнь или заглушить ее.

И снова я сознательно слукавил:

— С какой стати?! Вас взяли только в порядке предосторожности. Укрепят в Латвии новое правительство, организуют все на советский лад, а тогда распустят и вас. Как долго ждать? Ну, два, может, три года? — кто знает? Вас же не застигли с оружием в руках?

— Что вы?! Мыслимо ли?! С оружием?! Нас в постелях застали, оттуда и забрали...

— Ну, тогда определенно недолго ждать свободы...

Я вновь оглянулся. Как наивны, если не сказать — глупы, все порядочные люди! Поверили! По печальным лицам пробегали отблески внутреннего оживления. Вот также точно когда-то верил и я, что мой срок только на бумаге. Еще

семь лет назад надежда сопротивлялась трезвому разуму. Отчасти, может быть, именно поэтому я еще и жив. Пусть же и они утешаются ею!

— По вашему внешнему виду у нас заключили, что вы капиталисты, буржуи, как говорят здесь.

— Ах, какой вздор! Среди нас не наберется и десяти собственников. Одна интеллигенция: врачи, адвокаты, архитекторы, инженеры. Богатые до прихода вашей армии убежали в Германию, либо уплыли в Швецию.

— Выходит, что рабочих и крестьян НКВД не трогало?

— Это вам так кажется по составу нашего этапа. Рабочих и крестьян отправили с другими эшелонами. Сказали, что едут на поселение вдоль какой-то новой железной дороги на севере, но точно никто не знает.

— Ну, это отсюда недалеко. Всего в ста двадцати километрах. Там, действительно, строится новая дорога, и открываются поселки высланных с Запада. А за что же трудовой то народ в вагоны заперли?

— За то же, за что и нас. Одни в «Крестьянском объединении» состояли*), другие хотели восстановить социал-демократическую партию, закрытую Ульманисом. Думали...

— Когда много думают, мало толку выходит, — прервал я. — Тут перед вами проходил этап западных украинцев — галичан, в котором находился один помещик со своим батраком. Спрашиваю батрака: ну, как, мол, доволен ты советской властью? «Ничего, говорит, власть подходящая. У богатых землю отняла и бедных ею наделила. На собрания нас зовет, голосовать просит. Одного не понимаю: почему пану дали три года, а мне восемь? Хоть бы поровну, не так бы обидно. «За что же восемь лет?» — спрашиваю. «Да собрание, — отвечает, — у нас было. Приехал на танке красный оратор и давай расхваливать советскую жизнь. Всего-то, мол, вдоволь, всюду техника, всюду машины, тракторы, работать легко и радостно, и у вас, мол, так будет. А я возьми, да и скажи: — «Нам, говорю, передавали, что у вас ничего нет и нечем даже паразитов бить». «Мы их, — отвечает, трактором давим!» «Ну, народ и поднял оратора на смех. Тот опомнился и насчет гребешков стал объяснять, что их-де в достатке, и что он не понял. А вечером меня и взяли»... Вот видите, какие бывают случаи. Помещик молчал — три года, батрак спросил невпопад — восемь лет... У вас есть еще время присмотреться и приспособиться к новым условиям. Учитесь не попадать впросак. Лагерь — хорошая школа. Умудрит каждого. Старайтесь, пока вас не разослали по отдельным командировкам, защищать друг друга, не то через неделю лишитесь собственной одежды.

— Неужели администрация отбирает?

— Нет! Администрация действует в рамках закона. Она

*)Партия, которая поддерживала президента Ульманиса.

грабежами не занимается. А вот уголовники, те не пропустят случая. Тут их рядом с вами целый барак.

— Что же делать?

— Проявить стойкость. Пустить силу против силы.

— Мы же не хулиганы, чтобы драться!

— Иных средств нет.

— А если пожаловаться администрации?

— Бесполезно. Пока будут разбираться да отыскивать воров, все вещи уже очутятся за лагерем. Попробуйте, наконец, обменять вещи на продукты. По крайней мере, хоть что нибудь, да получите за них.

*

Возвращаясь, за углом соседнего барака в темноте ночи я заметил шушукающихся уголовников. «Бражка» не спала и вела «организационную подготовку», распределяя «роли». Я уж по личному опыту Покчи и соловецких этапов знал, как это произойдет. Зайдут в полночь в барак пятеро с ножами в руках и тихо скажут: «Не бойтесь. Лежите. Не тронем. Мы только осмотрим...» и в полной тишине общего страха начнут шарить, отбирая все, что им понравится. А у дверей двое, с ножами, как стражи НКВД, зорко следят за малейшим движением. Пусть-ка кто посмеет пикнуть? Через час уголовники скроются, а их подручные, мелкие воры, нагруженные ограбленным, перелезут через забор и к утру вернутся из Усть-Усы с деньгами, водкой и «жратвой». Комендатура получит свою часть.

Жалобы? Одна комедия! Только в обед начнут бесплодные обыски. Все следы уже заметены. Где нужно — подмазано, кого приметили, того уже в лагере нет. Техника лагерных грабежей достигла высокого искусства. Каждый это знает и потому молчит. Двадцать процентов уголовников держат под террором восемьдесят процентов морально-чистых людей. Три процента уголовников — «блатари» держат в слепом повиновении и страхе остальные девяносто семь процентов преступного мира. Ну, чем не копия большевистского государственного строя? Не так ли политбюро держит в подчинении партию, а партия с НКВД — в страхе всю страну?

*

— Уважаемые сослуживцы! — говорю я в бараке. — «Бражка» -то готовит налет на новеньких.

— Ну, и пусть. Какое нам дело! За нас никто не вступался! — раздались голоса.

— Да и следует их расшерстить! — послышался из угла голос дневального, уфимского башкира — колхозника: — Ишь, как разодеты! Буржуи! — с какой-то ненавистью, будто выплюнув, крикнул старик: — Двадцать лет ели, пили и носили, что понравилось, а мы в лаптях спину гнули!

— Какие тебе «буржуи»? Там почти такая же интеллигенция, как мы здесь.

— «Такая же!» — криво ухмыльнулся десятник по заготовке дров Корюшкин. — Когда ты носил такое пальто или костюм, или ботинки, как у них? Впрочем, ты, ведь, тоже одного с ними поля, — заграничный, китайский, оттого и заступаешься. Мы такой одежды и во сне не видели! «Интеллигенция»! Мы-да, интеллигенты, но советские, скромные. Держится на плечах костюм, не разъезжается — и миримся. А у них роскошь. Они о себе думали, а не про то, как мы живем. Не жаль! Не жаль — выкрикнул с каким-то внутренним огнем обычно угрюмый Корюшкин.

Я понял: поднялась желчь бедности против достатка. Стал на ноги тот конек зависти, на котором прикатил Октябрь, с его комитетами бедноты и вооруженным рабочим контролем над хозяином. Старое, старое нержавеющее оружие натравливания одних на других! Вот, ведь как долго держится в людях! Третий десяток лет!

Кое-кто, может, и вступился бы за новеньких, но все молчали. Большинство нашей интеллигенции — я это чувствовал без слов — в душе презирая, ненавидя большевизм, вместе с тем, не питало симпатии к своим коллегам из нового мира.

Наступившее тягостное молчание прервал голос с койки инженера Буртасенкова.

— Ложись-ка лучше спать, Михаил! Без нас обойдется. Знаешь, я сегодня немножко «зарядился» *) в Усть-Усе, у знакомой зырянки. Ну, приласкал ее легонько... Скучно «А вы, — говорит она мне, — эту нынешнюю партию в контору-то не сажайте! Жирны, как боровы! Пускай, говорит, попробуют наших морозов, да нашей работы. Морды-то, как в театре· буржуйские, и одеты, как в картинках не сыщешь. Я, кричит, четыреста трудодней заработала, в грудях молока для ребенка нет, и всю жизнь маюсь, а они у себя, видно, лишь танцовали и с девками лапались. Чего такую погань возят? Что они тут наработают? Только корми их!..» Видишь, как народ рассуждает? Ложись, да обдумай это на койке.

— А ты бы ей сказал, что не все ж фабриканты...

— Не поверит! Ни за что! А поверит, то ответит, как Корюшкин, только вперемежку с матом. Сходим к ней завтра, сам увидишь.

Но я не пошел. Я знал, что Буртасенков прав. Я по себе это чувствовал. Десять лет концлагерей и мою душу пропитали ядом зависти.

Может, ради этого яда и держат народ в бедности, что-

*)«Зарядился» — немного выпил.

бы в нужную минуту использовать зависть нищих в интересах мировой революции. Народ, живущий в достатке, легче уступает в идеях, чем народ, пребывающий в бедности.

*

Через неделю этап балтийцев ушел на Инту, в тундру. На этот раз мы не вышли на крыльцо, но из окна было видно все. Уголовники «поработали». Завидовать стало нечему. Изменились внешне — переломают и внутренне, если выдержат два-три года. Не таких «перековывали»!

..Ах, да про шляпу-то! Пусть назовут меня бессовестным те, кто не испытал лагеря. Вероника получила шляпу.

Часть V

С „ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ“

Глава 20

Последний шанс - ЦК партии

Десять лет первого срока закончены. Начал размен второго. (15 × 365) + 4 = Ого?!.. Пять тысяч четыреста семьдесят девять дней! На каком же дне прервется этот жуткий счет? Вон как постарел и осунулся!

Кабы не Подшивалов, был бы уже в шестнадцатой роте (так называли у нас на Соловках лагерное кладбище, потому что все живое числилось в пятнадцати ротах). Но Подшивалов спас. Вытянул. Увез с собой на Воркуту, а оттуда в Усть-Усу. Снова экономист, снова роюсь в таблицах и пложу цифры!..

Накручиваю арифмометр а сам думаю совсем про другое. Где ж собака зарыта? И так не выходит, и этак не пробирает! После работы, разложив по сто Прошло пятнадвариантах и во все инстанции, морщу лоб. Пишу и рву, пишу и рву!..

Это — последняя жалоба. Вышинскому — верховному прокурору. Дальше — некуда. Остается только помилование. Но за что п о м и л о в а т ь? Милуют преступников. Значит, нужно прежде признать себя виновным в том, что собрано в этих идиотских формулировках суда! Униженно п р о с и т ь! Сдохну, но о помиловании писать не стану!

Что ж делать? Опустить руки? Ждать 1954 года? О Господи! 1954 года! Еще четырнадцать лет! Фантазия! Войти в лагерь юнцом, выйти дедом!.. Да и где там выйти! Не век же сидеть экономистом. Не сегодня — завтра погонят на общие. Опять истощение, куриная слепота, цынга... «Доведут до социализма».

— Попробуйте, Михал Михалыч, написать в ЦК, — советует Подшивалов. — Возможно, прикажут провести объективную проверку обвинений. Политика на вашей сто-

роне, а это — главное. В ЦК все жалуются. Чем вы страдаете?

Гибнущий хватается за все. Уцепился за этот совет. Однако, ЦК, — это не Наркомюст. Статьи Кодекса его не интересуют, грязная подкладка дела тоже. Нужно доказать, что не я, а суд совершил политическую ошибку. Только в этом случае можно на что-то надеяться.

И я снова думаю. Думаю до того, что опять, как в Покче, теряю сон. Пишу и рву, пишу и рву!..

Уже который день ровно в пять часов на правой руке, немного выше пальцев, появляется маленькое красное пятнышко. Не больше гривенника. Пятнышко покрывается едва приметной сыпью и зудит до того, что я с остервенением тру его об угол стола и царапаю ногтем. Проходит пятнадцать минут, и нет пятнышка — исчезло. Видны только ссадины от ногтей.

— У вас экзема, — говорит доктор, — но не простая, а исключительно — редкая. Появляется при особом роде расстройства основ нервной системы. Нужна перемена климата и условия для душевного спокойствия. Эту помощь я... Понимаете?

Но писать, тем не менее, надо. Писание стало не только привычкой, а просто манией. Я снова пишу и рву, пишу и рву...

Теперь трудно вспомнить и поставить на свое место каждое слово этого заявления в ЦК, но, насколько смог, я восстановил его.

ЦК ВКП(б), Москва

... Прошу содействия ЦК в соответствующих инстанциях в деле объективной проверки и отмены приговора Верховного Суда Коми АССР от 22-25 февраля 1938 года, как политически неверного и идущего вразрез со всеми установками партии и правительства. Все мои попытки доказать его политическую вредность остаются безуспешными

Суд, найдя, что я, будучи в 1936 году старшим экономистом Судостроя Ухтпечлага, выполнявшего правительственную программу баржестроения, якобы, «составлял НЕРЕАЛЬНЫЕ планы, НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ рабсилой и материалами», тем самым осудил, как ВРЕДИТЕЛЬСКУЮ, всю систему СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО планирования.

Особенность планирования в СССР в том и заключается, что оно проводится сверху вниз, а не наоборот. Правительство, исходя из известных только ему потребностей и возможностей народного хозяйства, дает плановые задания каждой отрасли промышленности. Обязанность экономиста предприятия — правильно исчислить потребность в людях и материалах и своевременно представить обоснованные заявки на недостающие рессурсы. Он не вправе сокращать плановые задания, ибо в основе всякого социалистического плана лежат не какие-либо местные, но, прежде всего, государственно-хозяйст-

венные соображения. Обеспечение предприятий входит в уставные обязанности трестов и наркоматов, каковые и являются по закону ответственными за снабжение предприятий материалами и рабочей силой в соответствии с объемом плановых заданий. В моем случае Ухтпечлаг и ГУЛАГ явно недостаточно, некомплектно и с перебоями обеспечивали программу Судостроя, дезорганизуя тем самым его работу. Вместо того, чтобы исследовать причины резкого недоснабжения Судостроя, следствие, по существу, занялось критикой существующей системы планирования, не вникнув в суть дела. В результате за формулой «нереальный план» был замазан факт СРЫВА плана. Приговор надо мной освободил Ухтпечлаг от ответственности за невыполнение им его обязанностей. Суд же, без опроса свидетелей, анализа их показаний и даже без экспертизы самих планов, доверился следствию и утвердил такую формулировку обвинения, по которой можно осудить всех советских экономистов.

Естественным следствием столь явно анти-государственной формулировки приговора явилось то, что в последние годы ряд печорских предприятий, основываясь на приговоре Верховного Суда Коми АССР, находит возможным ставить перед вышестоящими органами ходатайства о «снижении», якобы, «слишком завышенных» государственных заданий. К чему ведет такая практика, показывает опыт Судостроя:

	1935	1936	1937	1938	1939	1940
1. Баржестроение						
план в тоннах . . .	15 000	30 000	20 000	15 000	12 000	10 000
выполнено . . .	5 000	21 000	11 000	9 000	7 000	—
2. Убытки (в сот. тыс. р.)	600	400	1 100	1 800	2 100	—
3. Рабочая сила						
по плану	1 400	3 000	2 800	2 600	2 400	2 200
фактически . . .	800	1 900	2 000	1 800	1 600	—

Таковы результаты работы предприятий, когда «нереальный» план перестает быть мобилизующей силой.

Надеюсь, что ЦК заинтересуется изложенным, и встанет на защиту государственных интересов, неправильно понятых судебно-следственными органами.

15 июля 1940 года.
Воркутпечлаг НКВД
Усть-Усинское отделение.

Больше писать некому. Осталось одно — ждать.

Прошел 1940 год. Молчит Москва. Только центральные газеты обрушиваются на хозяйственников за стремление добиться снижения плановых заданий, развив против них в своих статьях те самые доводы, которыми я обосновал мою жалобу.

Ухлин в Чибью. Расстрел заменили 25 годами. Тоже работает в управлении лагеря, как инженер, и тоже пишет жалобы . . .

Маслеха на Судострое днем и ночью разрабатывает расчеты новых конструкций барж, которые должны дать СССР многомиллионную экономию, и тоже пишет жалобы.

Прошел и февраль 1941 года. Молчит Москва. Только «Водный транспорт» — центральная газета Наркомата речного флота — целый номер посвятила поточному (конвейерному) методу работы на Печорском Судострое, предлагая ввести его на всех верфях страны. Этот метод был в 1936 году разработан и введен Ухлиным, но суд признал его вредительским. Судострой вернулся к допотопному, непроизводительному артельному способу постройки барж.

Управление Печорским пароходством, наконец то, набралось смелости и подтвердило актом, что баржи, построенные Маслехой и Ухлиным, для эксплоатации пригодны и, по конструкции, являются лучшими на Печоре.

Комиссия Воркутпечлага дала заключение о том, что Покча и Курья — самые удобные участки для верфи и лесозаготовок. Главные пункты обвинения теперь были опровергнуты.

Где-то в глубине советской бюрократической махины шевелились перья и в нашу пользу. Нужда, конечно, а не объективность и законность принуждала вступиться за нас. Очень уж дорого въехал государству этот приговор. Выпуск барж упал, себестоимость вскочила вдвое, убытки считают миллионами рублей.

— А, говорят, Маслехе уже отменили приговор, — вскользь замечает сосед.

— Не знаю. Не слыхал. Он за 600 километров отсюда.

— За Маслехой и ваш черед. Приговор общий, и вы...

— Поживем — увидим. Оставьте эту тему.

Дня через два — некоторые даты врезаются в память на всю жизнь (то было 8 марта 1941 года) — ко мне наклоняется Погарский, прежде прораб Судостроя, а теперь уже вольнонаемный, начальник лесо-барже-строительного отдела концлагеря:

— К а ж е т с я, скоро и ты станешь вольнонаемным...

— К а ж е т с я!.. — криво усмехнулся я.

— Нет, я серьезно...

— Такими вещами, Аркаша, не шутят!

— Какие тут шутки! Просто, не хотел тебя оглушить. Только что просматривал поступившие радиограммы. В одной — для УРО — о тебе: немедленно освободить, ввиду отмены приговора... Да ты что побледнел? Выйдем. Тут жарко.

Я глотаю морозный воздух, но разве он остудит чувство?

— Ничего... Прошло. Вернемся.

Лагерная «параша» уж всем разнесла новость. Всяк — и заключенный и вольный — жмет руку рожденному в ру-

башке. И впрямь: выдержать одиннадцать с половиной лет концлагерей, освободиться от пятнадцатилетнего второго срока, — на это, — ого! — сколько счастья надо. А сама жизнь в Советском Союзе, разве она не превозносится, как счастье? Разве неправду писала «Правда», что наши потомки, перелистывая историю СССР, будут вздыхать и восклицать с чувством зависти: «Счастливцы! Они жили при Сталине, дышали одним с ним воздухом...». Но я бы для усиления лирики добавил еще: «Счастливцы! По ним гулял сталинский арапник».

Значит, я вдвойне счастливчик — пережил лагерь сталинской эпохи.

* * *

В обед Погарский *) увел меня в свою комнату.

— Опять задумался? По привычке, да? — участливо спросил он, подавая закуску. — Теперь только петь и плясать, а не голову вешать. Встряхнись! Да ну же, пей, Миша! Забудь обиду. Истина восторжествовала. Там, в ЦК, всегда найдешь правду и защиту. Сегодня ты в этом убедился...

— Что?! — поднялся я со стула, — убедился?! Узнал, где правда и защита?! Нет, Аркаша, сегодня я узнал другое — узнал, где зло. Не догадываешься? Ты же сам только что подсказал мне. В Центральном Комитете!.. Да, в нем!.. Ну, чего ты испугался?

— Рехнулся! Тише, прошу тебя! Ведь у соседей все слышно.

— Пусть! Не могу молчать! Три года я мучился, спрашивая себя: за что я осужден, с какой целью, по чьей вине? Я презирал и тебя, потому что и ты в показаниях назвал мои планы нереальными. Я ненавидел судей, прокурора, следователя. Я Мороза проклинал, открывшего Судострой без всякой подготовки. Я винил Ухлина и Маслеху за их робость перед Морозом. Три года я брел по ложным путям. Я был подобен массе, но сегодня, сво-бо-дный, я понял, откуда исходит зло... Ну, ладно, не бойся, не повторю этих двух букв... Да, не махай ты руками, дай хоть раз за одиннадцать лет сказать слова, которых от меня потом, может быть, никто не услышит. Я опять стану мудрым...

— Будь мудр сейчас...

— Нет, не мудрым — искренним я хочу побыть, хоть одну минуту. Почему, скажи, молчали на мои жалобы все верховные суды и прокуроры? Разве они не видели абсурд-

*) Погарский был осужден на 5 лет в 1935 году, так как служил в Ленинграде, в одном учреждении и отделе с Николаевым, застрелившим Кирова, члена Политбюро и друга Сталина.

ности и противозаконности приговора? Ведь, они же могли давным давно отменить его, не дожидаясь письма ЦК.

— Его авторитет...—пытался прервать меня Аркадий.

— Ах, оставь! Мы сами сотнями тысяч жалоб создаем ему авторитет. Он натравил на нас эту свору, а теперь кое-кому из растерзанных лицемерно обмывает и залечивает раны. И еще учат, что у нас социально-передовая система и законность!.. Нет, ты должен дослушать! Да куда же ты?..

Но Погарский уже открыл дверь и, бросив мне: «Спятил! Успокойся!» — исчез. Я остался в чужой квартире один со своими мыслями, которых даже с глазу на глаз боятся слушать.

* * *

На утро Стол Освобождения объявил новоиспеченному вольному гражданину СССР:

— К столицам ближе чем за 30 километров не приближайтесь. В пограничных областях и республиках проживать не имеете права. В промышленных областях и центрах тоже. В областных и окружных городах тоже. Нарушение влечет лишение свободы на срок до пяти лет. Куда желаете ехать?

Сказать: «Назад, откуда привезли,—в Маньчжурию»— прыснут, либо за сумасшедшего примут. — Пишите, — говорю, —село Саюкино, Тамбовской области, к родне.

Я опять стал мудрым...

Заведующий столом долго крутит толстую, как столичный телефонный справочник, книгу с перечнем всех населенных пунктов страны и с шифрованными примечаниями.

— Сюда можно. Паспорт выдадут здесь, в Усть-Усе, вот по этой справке об освобождении.

В справке хотя бы слово о том, кем, когда и почему отменен приговор. Отменен, и весь сказ. Уезжай из лагеря и благодари Бога.

— Оставайтесь до навигации, — советуют знакомые, — скопите тысчонку, она пригодится. Сейчас оставлять лагерь нет расчета. Скоро распутица, — застигнет в дороге, и будете месяц сидеть сложа руки, с пустым брюхом, в какой-нибудь Ухте или Ижме.

Я еще раз заглядываю в бумажник. Не густо—54 рубля.

Утром я уже сидел «вольнонаемным экономистом транспортного отдела, с окладом 800 рублей в месяц», за тем же столом, над теми же таблицами и в том же бушлате. Сердце не лопнуло и не выскочило от радости. Слишком много забот и опасений охлаждали его.

С какой-то душевной пустотой покидал я лагерный барак технического персонала, переселяясь по соседству, в

дом вольнонаемных. Не от чего было приходить в телячий восторг. Свобода сулила столько же радостей, сколько и горя. Концлагерь готов в любой час вновь открыть мне двери. Я, ведь, еще не перековался до состояния робота. Медленно и тяжело, но еще шевелились в голове мысли, хорошему советскому гражданину совсем ненужные.

Да и перед глазами попрежнему торчал концлагерь с высоким забором, часовыми и комендатурой, напоминая о превратностях судьбы.

Мудро сказано:

«Входящий не грусти,
Выходящий не радуйся...».

Глава 21

Во всесоюзную темницу

Прощай, Усть-Уса! До свидания, концлагерь! Сыт, по горло сыт! Одиннадцать лет и семь месяцев по тюрьмам и концлагерям. 4230 дней, с мясом вырванных из молодости! Теперь в кармане «Путевка» во Всесоюзную Темницу. На одну каторгу привезли, в другую дверь открыли: то ли сам едешь то ли опять везут...

Как это ни дико звучит, но, ей Богу, приучили к лагерю. Где тот воодушевляющий подъем, который приносит каторжнику день свободы? Нет его — не чувствую. Весь пропитан каким-то ощущением обреченности. Даже в лагере первые годы я не испытывал такой душевной опустошенности и безразличия.

А, может, все это лишь плод больного воображения, страх почувствовать себя отверженным среди «свободных»? У меня же паспорт и «Путевка в жизнь» — справка об освобождении из лагеря. Не так, ведь, страшен чорт, как его малюют!

Отогнав назойливые думы, поднимаюсь на палубу.

Вот она, знакомая Печора. Широкая, буйная, весенняя. Плывут охотничьи избушки и сорванные плоты, подмытые деревья и последние льдины. Дикость, мощь неоседланной стихии. Тайга да тундра, тундра да тайга. Ни пашен, ни деревень. Никто не столкнет тебя в пучину — ближних нет...

— Гражданин, ваши документы!

— Ну, вот и ближний! Тут как тут! В форме вооруженной охраны Воркутпечлага. Оперативник — бдительное око НКВД. Смерив меня еще раз испытующим взглядом, оперативник возвращает документы.

Сегодня 10 июня 1941 года. Дождались, наконец, открытия навигации. Едем первым рейсом. Пароход кишит народом. Сплошь освобожденные. Слышится лагерная речь, уснащенная семиэтажным матом.

Нет, не могу!.. Больше того: имею право не слушать! У меня «Путевка», а с нею — билет в каюту. Вообще-то, заключенному, хотя и бывшему, не положено в каюты соваться — там и начальству мест нехватает, но пока что я еду под сенью могущественного лагерного блата. Приятели по несчастью, работники Воркутпечлага в Усть-Усе, достали-таки мне каюту.

И выгляжу я совсем не худо: новые ботинки, приличный костюм, заграничное пальто, купленное у какого-то прибалтийского инженера. Выбрит. Курю «Беломор». В чемодане и закуска и выпивка. Всем снабдили друзья. С серой массой не сливаюсь. И в бумажнике — тысяча четыреста рублей, — почти двухмесячный оклад старшего экономиста. За одиннадцатилетнюю-то работу!.. Отчего ж мне жаться к сторонке и кого стесняться?

Снаружи хлещет ветер, напоенный холодной сыростью, а тут так тепло и уютно. Никто не выгонит на работу. Вот она с в о - б о - д а!..

Колеса «Сыктывкара» мерно крутились, прокладывая новые километры между мной и лагерем. Ах, как приятно растянуться на пружинной койке! Хороша ты, Свобода, когда есть деньги, чтоб тебя приукрасить! Те, без денег, что дрожат на палубе, они вот так не заснут. Там и холод, и сквозняк, и коек нету. Трясись всю ночь! Знаю: испытал. Заключенному в бараке все же лучше, чем палубному пассажиру на Печоре.

Да, «Путевки в жизнь» у всех одинаковые, но судьба пока что разная: одного она уложила в каюту, а сотнями набила на палубу — меж дров.

*

В Кожве, куда ни глянь, — повсюду муравейники арестантов и горы технического оборудования: экскаваторы, лебедки, паровозы, краны, вагоны, станки. Колоссальные навесы и сараи забиты цементом, сеном, гвоздями, овсом, стеклом, мукой, толем и бочками. Тут и там в беспорядке стоят бараки заключенных. Полотняные и дощатые. А землянкам счету нет. Кто бы подумал, что в 1933 и 1934 годах здесь высились штабеля леса, работал лесозавод и строились десятки барж! Давно свернул здешнюю свою верфь Ухтпечлаг. Не могу даже сообразить, где именно стоял лесозавод, и где мы осенью выкатывали из воды бревна.

Сама Кожва, деревушка в 28 изб, одна из крупнейших на Печоре, примостилась сбоку, в устье притока того же названия. Строительный гам не оглушил тихой деревни. Она тянет ту же лямку: летом вырабатывает трудодни, зимой бьет белку и валит лес и, как встарь, вручную мелет ячмень, а по субботам пьет, закусывая водку мороженым омулем или свежепросольной нельмой.

Кожве и не снилось попасть в перечень ударных и крупнейших строек третьей пятилетки. Сам Сталин поставил на карте, против Кожвы, красный кружочек. Сейчас тут строят через Печору почти километровый мост. Все уже подготовлено для кесонных работ.

Кожва — первое звено в плане заполярной железнодорожной магистрали Ленинград-Котлас-Княж.-Погост-Кожва-Воркута и дальше, через Урал, северную Сибирь и Дальний Восток, к берегу Охотского моря. Двенадцать тысяч километров! Тундра, тайга и вечная мерзлота. Миллиардные затраты. Миллионы рабочих. Конечно, не вольных.

Пока у большевиков еще тонка кишка размахнуться строительством по всей намеченной трассе. Даже НКВД не под силу согнать такие армии рабов. Поэтому осуществляется лишь первая часть проекта: Котлас-Воркута. 1100 километров. Триста тысяч концлагерников за три года протянули-таки железнодорожный путь от Котласа до Кожвы. Первого мая этого года из Котласа сюда пришел пробный поезд с гостями. Партийные и советские сатрапы трясли руки начальникам лагеря и 3-го отдела НКВД и главному инженеру. Изрядно выпив, подписали рапорт тов. Сталину и тов. Берия, под чьим мудрым руководством одержана эта новая победа большевиков. О трехстах тысячах арестантах ни слова. Масса, особенно такая, — ничто, а вожди — все. Вождь умрет — второго и без скандала нескоро сыщешь, а каторжники передохнут — НКВД новых нагонит. Есть еще порох в пороховницах! 180 миллионов! Насосы НКВД который год безотказно перекачивают из всесоюзного резервуара в лагерный, а убыли там не заметно.

ГОРОД НА ТРУПАХ

До отхода поезда еще четыре часа. Успею забежать к Ивану Андреевичу. Четыре года назад он был при мне в Покче около Троицко-Печорского прорабом баржестроительной верфи Ухтпечлага. Здесь — инженером гражданского строительства. Живет, как пан. Один в целом доме. Дом, правда, лагерный: реечный баркас, обшитый горбылем, полуврытый в косогор и засыпанный песком. Зато — сам себе хозяин: своя железная печка, свой стол и койка. А главное — за зоной лагеря, вдали от охраны и уполномоченных НКВД. Чего еще желать вредителю с пятилетним сроком?

Показывая в окно на необъятный цыганский табор, Ванюша с иронией замечает:

— По моим проектам и под моим руководством. Строил дворцы, а тут пеку чорт знает что. Вот по этому графику. На, посмотри. Что ни день, то два барака готовы. Пока еще

держусь. Тут все же спокойнее, чем строить город на могилах.

— Какой город? Почему на могилах?

— Э, да вы в Ухтпечлаге ничего не знаете о нашем Севжелдорстрое! Закопались в уголь и знать нас не хотите. Так я тебе поясню. На том берегу Печоры с января взялись бешеным темпом строить город. Весь наш лес туда перевезли. Правительство сделало Кожву районным центром, а помещений в нем для районных организаций, сам знаешь, нет. Вот и приказали к весне построить новый районный город. Все здания — капитальные: двухэтажные, деревянные. До 10 мая выстроили около 60 зданий. Уже коекто приехал: прокурор, председатель райисполкома, начальник районного НКВД. И не одни — с семьями. А строили, надо сказать, в жутких условиях. Людей нагнали тысяч пятнадцать Набили их в палатки, топлива дают мало. Это при наших-то 40-45 градусных морозах! Повторилась картина прошлых лет: к марту продукты иссякли. Картофель, брюкву, рыбу, мясо поели дочиста. Одна мука осталась Посадили людей на болтушку. 400-600 граммов хлеба и два раза мучной суп. Вот тут и началось. Что ни день, то списывают 200-300 человек. Мрут, как мухи. Одни от цынги, другие от истощения, третьи от работы и холода. Особенно косило пленных поляков. Видно, не бывали еще в таких условиях. А их на северную линию чрез нас не меньше, чем сто тысяч прогнали.

Люди умирали везде: в лазаретах, в бараках, на работе, на разводах.

Набрали несколько десятков человек зарывать трупы. Грунт мерзлый — ни лом, ни кайло не берут. Работа сдельная — на одного закопать 5 трупов Дали этим бригадам санки, инструмент. Наберут полный воз покойников и за лагерь. Места под кладбище не отвели. Каждая бригада зарывала там, где ей вздумалось. Отдерут мерзлый мох, наскребут лопат 20 грунта, уложат мертвецов, присыплют для вида землей, прикроют мхом — и за следующим грузом. Несколько тысяч трупов закопали прямо в черте города.

До середины мая все шло благополучно. Одни строили, другие умирали, третьи хоронили, четвертые подходили на смену. Наконец, морозы кончились, солнышко пригрело, и снег сошел. В новые дома въехало районное руководство. Каждому хочется подышать весенним воздухом. Выйдет начальство на улицу, потянет носом — нет, что-то не то. Чем-то припахивает. День ото дня зловоние усиливалось.

Однажды секретарь райисполкома заметил у ограды учреждения, пальцы, высунувшиеся из-под мха. Содрали мох. Насчитали пятьдесят трупов. С этого и началась история. Арестовали коменданта кожвинского лагпункта за халатность. Он только в лагере считал трупы, а не проверял, где их хоронят, и достаточна ли глубина могил. Всех бригади-

ров-могильщиков отправили в штрафной лагерь. Пытались через них узнать, где в городе зарыты трупы — ничего не вышло. Хоронили зимой, в тундре, среди штабелей леса. Теперь там высятся здания, повсюду трава — ничего похожего на зимнюю картину. Как отыщешь?..

Набрали человек тридцать охотников из слабосильных команд. Гуляют целыми днями с лопатами по городу и сосут нюхом воздух. Где особенно смердит, ковыряют лопатой. Найдут — премия: белый хлеб и 200 граммов масла. Теперь отвели за километр от города место под кладбище. Дали аммонал. Рвут мерзлый грунт и делают братские могилы. Организовали новые бригады по вывозке трупов из города. Уже несколько тысяч перевезли.

Районному прокурору особенно не повезло. Ему днем и ночью чудился смрадный запах — и в учреждении, и на улице. В конце концов, не вытерпел — вызвал прораба и приказал отодрать пол. Строили, как всегда, в спешке. Мох сдирали только под нижней обвязкой! И что же? — Тоже кладбище!

На прошлой неделе ко мне за толем приезжал оттуда техник. Говорит, под шестью домами нашли кладбище. Теперь квартиранты переселены, а в этих домах взламывают полы и выкапывают трупы. Но смрад еще целый год будет душить Новую Кожву. Трупы-то за чертой города тоже гниют, а убирать их не думают. Хорошенькая работа! Слыхал ты что-нибудь подобное? Город на трупах!..

— М-да!.. Про города, правда, не слыхал, зато знаю тракты, построенные на костях заключенных. Про Ухтинский тракт к финской границе в Соловецких концлагерях тебе ничего не рассказывали?

— Первый раз слышу о нем.

— Так вот там за 1929 и 1930 год полегло не меньше 40 000. На каждые два метра тракта один труп. Это только то, что я точно знаю. А сколько десятков полегло в золотодобывающем колымском лагере? Мы все знаем, что туда морем пятый год гонят заключенных, но еще никто не встретил человека, вернувшегося из тех краев. Много ли, скажи, умерло там заключенных? — спросил я, кивнув головой в сторону Кожвы.

— Тысяч пятнадцать — не меньше. Два месяца умирало в среднем по 250 человек в день.

— На кого ж начальство свалило эти горы трупов?

— На сей раз обошлось без этого. Не понадобилось. Все знали, что люди мрут, что нет помещений и нет продуктов. Перед кем разыгрывать дешевую комедию? Перед заключенными нет смысла. Они сами видели, что, вместо овощей, мяса и валенок, в Кожву тянутся обозы с техническим материалом. Кто бы поверил, что людей заморил начальник кожвинского строительства! Виновно управление лагерей и то не одно, а с ГУЛАГ-ом вместе. Для них 15 000

— убыль небольшая. Да знаешь ли. сколько сейчас работает на нашей 400 километровой трассе от Кожвы до Воркуты?

— Тысяч полтораста?

— И в триста тысяч не уложишь! На каждом километре почти тысяча лагерников! Тысяч сто поляков, тысяч тридцать пленных, возвращенных из Финляндии, столько же прибалтийцев; много бессарабцев, западных украинцев и белоруссов. В общем, половина состава начала изучать нашу самую лучшую в мире конституцию прямо с лагеря!..

— Э! Да ты, вижу, после Покчи развязал язык?!

— Ну, тебя-то опасаться нечего! Иначе не был бы снова в лапах у наших общих приятелей...

Разговор перешел на другие темы. Время незаметно шло вперед.

— Батюшки! 4 часа! Лечу, лечу, лечу!!! Ну, Ваня, дай Бог тебе продержаться последний год. Не забывай уроков Покчи — уедешь с чистой совестью. А она нужна. Мало ль что может произойти? Кто знает, не встретимся ли снова, если там не удастся войти в жизненную колею. Здесь я, все-таки, выдерживаю. Акклиматизировался. Друзья есть. А там — кто знает, что там меня ожидает? Пока деньги в кармане, не хочу и думать об этом! Адье!

ПЕРЕКОВАННЫЕ РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ

Услужливые экономисты нашего Кожвинского пункта, которым я помог составить план, уже купили билет и провожают меня до «вокзала». Типично-лагерная станция. Деревянные временные бараки, вместо каменных казенных зданий. Люди грязные, мрачные, злые. Снуют оперативники, проверяя документы. В Кожву от Котласа через Княж-Погост только что проложена железнодорожная линия. Дорога в эксплоатацию еще не сдана, но сообщение уже открыто. Пассажирские вагоны поделены на две группы. В лучших может ехать только «чистая публика»: кадровый лагерный состав НКВД и вольнонаемный персонал, в прочих — командированные заключенные и освобожденные. Последние до Котласа едут бесплатно, если на их личном счете в кассе лагеря было меньше пятидесяти рублей. Тут уже нет людей с чемоданами и в костюмах. Мелькают истрепанные лагерные бушлаты, звенят алюминиевые котелки. За плечами у каждого мешок, набитый всякой лагерной ветошью: запасными портянками, бельем, старой шапкой и пайком на дорогу.

Долголетняя жизнь в лагерях приучает безошибочно, по одному внешнему виду не только отличать заключенных от местного населения, но и определять, кто из первых относится к социально-опасной — «политической» группе, а кто к социально-вредной. Вон тот, у которого за голени-

щем самодельная ложка, а в руках самодельный сундучок, — определенно «колхозник» и с большим лагерным стажем — на его лице нет следа эмоций: годы каторги превращают лица в бесчувственные маски.

До Котласа освобожденные получают дорожный порцион на три дня, а дальше, до места, каждый предоставлен самому себе. Что хочешь, то и ешь. За каждый день пути от Котласа до местожительства лагерь выдает 2 руб. 20 коп. суточных и бесплатный железнодорожный билет. Едет человек в Донбасс — получает 11 руб., из расчета двух тысяч километров, по 400 клм. в день. Как ни крути, все равно нехватит. Надо либо воровать, либо милостыню просить. За то и за другое — статьи в уголовном кодексе.

А каждый хочет хлебнуть дурманящего напитка свободы. Иные еще задолго до освобождения обменивают на продукты свое хорошее обмундирование, облекаясь в тряпье, так называемый «третий срок годности». Кое-кто откладывает по ломтику хлеба от скудного пайка.

Другие делают иначе:

— Куда хочешь ехать?

— Во Владимировку.

— Где это?

— От Владивостока 300 клм. морем до бухты Ольги и там 80 клм. пешком.

— Что ты там забыл?

— Как это — «забыл»? Там моя родня.

— Да тебя в Череповце арестовали!

— Так что ж, что в Череповце! В Череповце я временно был. А родня во Владимировке.

Начальник стола освобождения извлекает толстые справочники. Разыскивает злополучную Владимировку. Начинается подсчет:

До Владивостока:	(9 000 клм. : 400) × 2.20 =	50 руб. 60 коп.
До бухты Ольги:	(300 клм. : 50) × 2.20 =	4 руб. 40 коп.
До Владимировки:	(80 клм. : 20) × 2.20 =	8 руб. 80 коп.

В итоге, парень получает 63 руб. 80 коп. На два дня пути хватит ... до Череповца. И на водку даже останется! Во Владимировку он и не думал ехать! Просто, выдумал парень. Только не все могут пользоваться этими лазейками в законе. Социально-опасные, как правило, обязаны ехать туда, куда им укажут в Столе Освобождения. Вслед за ними лагерь шлет в милицию извещение: выехал такой-то, прибытие подтвердите. Не явишься к месту назначения — занесут в списки сбежавших. Разыщут — за шиворот и обратно в лагерь на три года «за нарушение паспортных законов». Зато социально-близкая группа этого ограничения не знает. Езжай, куда хочешь, только в определенные крупные города носа не показывай. Назвал Владимировку —

получай проездные до Владимировки. Никто не пошлет вслед извещения: «едет жулик Петров, сообщите, прибыл ли». Премудрые советские законы,—к кому лицом, к кому—затылком.

Но тоска тяжелой неопределенности давит всякого. И для жулья советская власть калачей не напекла. Тоже должны как-то жить. Все приехали без улыбок, и все уезжают без радости. Эти потеряли семьи, те обязаны ехать на свободу в края, где у них нет ни родных, ни знакомых. Формально освобожденные, на деле — ссыльно-поселенцы. Едут тянуть ту же лямку, порою в более худших условиях. В лагере как-никак, но какой-то кусок хлеба положен, дадут одежонку, угол на нарах, выпишут из ларька махорку, а там, на свободе получи, что заработаешь, и тем живи. Найди квартиру, стой в очередях, заботься о дровах, стирке, бане.. Дело новое, непривычное. Большинство заключенных отучилось заботиться о себе. В этом, пожалуй, одно из самых жутких последствий лагерного перевоспитания. У людей отмирает способность к проявлению личной инициативы. Человек доводится до стадного состояния. Бредет, куда ведут, делает, что прикажут, жует, что подадут. Жизнь без души и без воли. Ходячие трупы. Моральные кастраты. Кто оборонял свою индивидуальность, тот погиб либо до лагеря, либо в лагере. Только немногие счастливчики украдкой пронесли через этот страдный путь свое Я. Сегодня у них еще теплится надежда, что завтра, на с в о б о д е, они станут сами себе хозяевами. Что ж, поедем, попробуем! Не встретим ли и там ту же обстановку подавления, личности, только в другой среде, иными средствами, не столь нагими и грубыми, как в концлагерях! Здесь нас объездили. Там, укрощенных, впрягут опять в колесницу социализма. Не нам держать ее вожжи! Для нас лишь кнут!

Уже тут, на станции, это колет глаза. Налево сотни изможденных, обтрепанных, направо — выутюженные френчи, блестящие сапоги, столичные портфели. Старые классы капитализма умерли, да здравствуют новые классы большевизма! От одного социального дерева, а какие различные побеги! Тут нет ни генералов, ни фабрикантов, ни помещиков; нет даже их потомков. Всех истребили. Только в Москве оставили нескольких. Как пропагандные экспонаты. И этот толстый майор НКВД с собачкой, и тот желтый цынготный скелет с пайковой селедкой в кулаке — оба прямые потомки трудящихся.

Отцы обоих проливали слезы радости, встречая революцию. Она несла знамена Свободы, Равенства и Братства. Теперь один едет в двухмесячный отпуск на крымские курорты, в мягком купе, другой — в Караганду, на поселение, в телячьем вагоне. Цынготный скелет искоса смотрит в нашу сторону, грызя селедку. Думает ли он? Почему же нет?! Даже всесильный НКВД не в состоянии отнять это право.

Пусть думает, лишь бы не действовал и молчал! Он доведен до такого состояния, что может думать только о куске хлеба и примитивном покое. Сказать, что в нем умерены человеческие желания — неверно: они низведены до степени насущной, животной нужды. Перевоспитание совершилось! Концлагерь возвращает стране полезного члена коммунистического общества!

Спросите его через месяц:

— Тяжело было в концлагере?

— Так себе.

— Много умерло на твоей командировке?

— Не знаю.

— Невинные люди тоже попадают в лагерь?

— Не думаю. НКВД, говорят, зря не сажает.

Спросите меня через месяц, и я отвечу в том же духе.

Если я еще не совсем стал полезным членом советского общества, то я, во всяком случае, научился главному — молчать.

ДОРОЖНЫЕ МЫСЛИ

Ну, в добрый путь! Я среди «чистых». Последнее преимущество трехмесячной службы в должности вольнонаемного экономиста Ухтпечлага. Вокруг — лагерные тузы: начальники лагпунктов, командировок, уполномоченные НКВД, работники управления Ухтпечлаг и Севжелдорстроя. Мелькают ордена. С непривычки все чудится, будто каждый меня ощупывает и пронизывает бдительным оком и что вот-вот да ткнут в меня пальцем и крикнут:

— Вон! Как затесался сюда враг народа?! Кто допустил его в наше общество?

Но страхи напрасны. Мой внешний вид не нарушает общего колорита. Пассажиры разбредаются по вагону.

До Княж-Погоста, первой пересадочной станции, ехать двое суток. Целых 250 километров. Это выходит по 5 километров в час. С пассажирским-то поездом! Вот это темпы!.. Уже не плановые, а фактические.

Едешь, словно в санях по ухабам. Шпалы с рельсами то погружаются под нами, то выплывают наружу. Насыпь делали зимой, из мерзлого грунта. Солнышко пригрело и превратило ее в кисель. Зато, приказ Кремля выполнен: 1 мая первый паровоз огласил своим гудком Кожву. Социализм добрался и до Печоры!..

Раза три в пути отдельные вагоны сходили с рельсов. Пускались в ход домкраты, и через полтора-два часа поезд ковылял дальше.

— М-да! Пройдет год, если не два, пока насыпь окрепнет. По такому полотну угля не повезут! — бурчит у окна штатский, при очередном «крушении».

Остальные делают вид, будто не замечают анекдотичности дороги. Что ж, понятно: у многих рыльце в пушку.

*

Вдоль дороги копошились бесчисленные ремонтные бригады заключенных. Одни меняли болты или укрепляли насыпь, другие углубляли и чистили канавы, третьи тесали и таскали шпалы.

«Темпы! Темпы!! Темпы!!!», — отбивали колеса на каждом стыке рельс. В жертву этому жестокому сталинскому слову людей отрывали от семьи и бросали в леденящий ад Севера. Наш пассажирский поезд подолгу задерживался на станциях, пропуская «срочный груз» — эшелоны новых «Завоевателей белых пятен». Их ускоренно гнали в тундру за Печору, чтобы выполнить «график строительства дороги». За графиком следил сам Сталин с Берией. Шемены — начальник Севжелдорлага — ожидает второго ордена. Пусть плачут жены, пусть голодают дети! Дорога в Заполярье к воркутскому углю дороже слез и страданий. Страна строит социализм!

— Эй, ты! Отойди. Стрелять буду! — бездушно, по уставу, кричит конвойный, заметив у окна телячьего вагона чью то голову.

Эшелон прошел, наш поезд трогается снова.

Вечереет. Бригады устало плетутся вдоль линии в лагерь. Приближается час «приема пищи». Механизм нуждается в смазке... Под открытыми навесами у котлов выстраиваются с котелками и консервными банками «пионеры» Севера». Скоро в бараке кто-нибудь из них затянет унылую песню заключенных Севжелдорлага:

От Усть-Вымь до Ухты проложили
Путь железный мильоны ЗеКа (заключенных),
На работу босыми ходили,
А в желудке одна лишь треска...

... Упитанный дог лейтенанта госбезопасности сосредоточенно жует толстый кусок колбасы. В соседнем купе, после коньяка засели за карты. Ах, какая скучная для них дорога до Крыма!.. Я снова углубился в «Очерки Сахалина».

*

Вот и Котлас. Здесь крайняя южная граница владычества могущественных северных концлагерей. В Котласе их транзитные базы с собственными подъездными путями, пакгаузами, пересыльными пунктами, радиостанциями, аэродромами и кладбищами. Сотни тысяч тонн грузов распределяются отсюда по концлагерям. Тут все найдется, что нужно для радиевой, угольной, нефтяной, асфальтитовой, гелиевой и лесной промышленности, для железнодорожного, ав-

тошоссейного и мостового строительства, для затонов, верфей и молочно-овощных хозяйств. Есть врубовые машины и шампанское, приборы для наблюдения за разложением радия и лак для ногтей, мощные трансформаторы и смирительные рубашки. Пожалуй, Форд, Крупп и Тиссен позавидовали бы размаху этого своеобразного концерна. Семьсот пятьдесят тысяч заключенных не только отбывают срок, но и создают на приуральском Севере, на случай войны, недоступные врагу коммуникации и сырьевые базы угля, нефти и радия. В дальновидности хозяину отказать нельзя!

Транзитные базы в Котласе снабжают концлагери, границы которых проходят на западе по Двине и Вычегде, а на востоке — по Уралу, захватывая площадь, равную Франции. Почти вся продукция жителей этой территории, зырян и ненцев (самоедов) — лес, рыба, птица, оленье мясо и сено — сдается концлагерям. И не удивительно: вольного населения 300 тысяч, а невольного три четверти миллиона.

По сложным и тайным расчетам Кремля, эти концлагери в плане третьей пятилетки отнесены к первоочередным ударным «стройкам». Поэтому все отрасли промышленности СССР выполняют заказы приуральских концлагерей вне очереди.

НКВД шутить не любит. Это известно не одним нам, но и всем советским чиновникам, от заводского писаря до наркома. Задержать заказ лагеря, значит, навлечь на себя через ГУЛАГ гнев самого беспощадного наркомата—НКВД. ГУЛАГ, ведь, создан не для «отеческих забот» о жертвах Особого Совещания и Уголовного Кодекса, а в первую очередь для эксплоатации этих жертв.

Тысячи заключенных заняты переработкой грузов, прибывающих сюда для лагерей со всех концов страны. Особые транспортные самолеты развозят самые срочные грузы по отдаленным пунктам, куда обычным способом они дошли бы лишь через полгода. Тысячи радиограмм ежедневно принимают и отправляют радиостанции котласских баз. Сотни вольных и заключенных бухгалтеров и счетоводов ведут учет проходящих через базы материалов.

Ни у кого из рабочих и служащих не болит душа о лагерном хозяйстве, но тем не менее дело идет, и лагери получают из Котласа все, что требуют. Этого чуда не объяснит нам даже сам Берия. Очевидно, и тут страх ответственности наводит порядок во всей этой транспортной кутерьме.

НАХАЛЬСТВО И ПАРАГРАФ

Наконец-то, снова в настоящем вагоне! Вот и мое спальное место № 18. Еще раз сверяю плацкарту. Да, точно: этото вагон и место. Но оно, чорт возьми, занято! На полке разлегся какой-то лейтенант. Куда ни повернись — всюду безусые командиры. Будто еду с военным эшелоном.

Определенно он лейтенант. Но какой, старший или младший? Век путаюсь в этих рангах и званиях! И как назвать: товарищем или гражданином? Лучше обойти эти туманные вопросы!

Поймав взгляд лейтенанта, подношу плацкарту:

— Мне кажется, тут ошибка. Взгляните — как раз то место, которое вы заняли. Впрочем, я могу перейти на вашу полку, если она свободна. Какой номер вашей плацкарты?

— А у меня ее и нет. Мы все время едем в этом вагоне.

— Как же быть?

— Не знаю, товарищ. Завтра утром мы пересядем в киевский поезд. Вот вы и займете место.

Какой логикой проймешь этого офицера? Завтра я могу занять мое место! Завтра! Возмутиться? А вдруг спросят: «Кто вы такой, гражданин, что шумите на красного лейтенанта? Покажите ваши документы!». Посмотрят, да и вытолкают взашей из вагона. Кому жаловаться? Дорожному отделу НКВД? Ну, нет — спасибо! Недаром прошел лагерную школу! Лучше промолчу.

Присаживаюсь на нижней полке, в ногах другого лейтенанта.

— Граждане, предъявите ваши билеты! — раздается голос контролерши.

Дошла очередь и до меня.

— Почему вы сидите не на своем месте?

— Оно уже занято.

— Как так? Кем?

— Военным. Он как раз над моей головой.

— Товарищ лейтенант! — обращается к нему контролерша. — потрудитесь освободить место. Гражданин имеет на него плацкарту.

— Вот еще новости! Я еду в часть и не могу сидеть всю дорогу.

— Об этом вам следовало доложить военкому коменданту станции отправления. Но сейчас вы без плацкарты не можете занимать спальное место.

— Товарищ контролер! — раздается голос с другой полки: — правильно или нет, по-вашему, если лейтенант до Киева будет сидеть, а штатский лежать?

— Мое мнение к делу не относится. Спросите Наркомпуть. Я обязана выполнять его правила. Потрудитесь сейчас же освободить место для гражданина!

Лейтенант начинает бурчать:

— Порядки... Штатский домой едет... Мне роту принимать...

— Гражданин лейтенант! — голос контролерши стал жестким и сугубо официальным. — Если вы сейчас же не освободите место, я составлю акт и на первой станции вызываю администрацию. Меня ваши объяснения не трогают.

Вы командуете в армии, но в поезде распоряжаюсь я. Здесь с[э]ои порядки: у кого плацкарта, тому и место.

Контролерша замолкла и отошла к окну, видимо, твердо р[е]шив довести дело до конца. Продолжая ворчать под нос, лейтенант спустился вниз.

— Ваше место, гражданин, освобождено! Можете занимать.

Стараюсь сохранить в лице и движениях обычное спокойствие, раскладываю на койке свой н[е]сложный багаж и углубляюсь в «Очерки Сахалина», чтобы от[в]лечь от себя внимание и не слышать реплик по адресу контролеров и «штатских».

Итак, временами порядок торж[е]ствует, если забывают про политику и бдительность. Значит, параграф иногда осиливает нахальство. Учтем! Пригодится! Скучно читать законы и правила, но придется, иначе заклюют. Какой теперь из меня воякa! Заползу-ка под щит законности, авось, не заметят.

*

От нечего делать, перебираю содержимое чемодана. Запас провизии поредел. В пути так и не удалось купить съестного. Всюду очереди, очереди без конца. Единственное, что приобрел в подарок родне и без очереди, — банку какао, 10 пачек высшего сорта папирос «Выставочные» и две бутылки «Спотыкача». Вот и все, чем богаты были Вятка, Пермь и Нижний. Не густо!.. И как я мог забыть утверждения Сталина, что советский народ богатеет, и его покупательная способность растет! Пятнадцатый год вожди бубнят об этом, и пятнадцатый год растут хвосты у жизненно важных магазинов. Небось, за какао, «Выставочными» и «Спотыкачем» очередей нет!.. Видимо, они не по карману. Советскому народу подавай числом поболее, ценою подешевле. Так, чтобы и денег хватало, и пузо раздувало. Пусть завидуют в Лондоне и в Берлине, в Нью-Йорке и в Париже! Вон, мол, какое брюхо отросло при большевизме!

Спасибо, сообразил во время, и еще в Усть-Усе (мой последний лагерный блат!) запасся всем, о чем снится советскому гражданину.

Я уже закусываю украдкой, чтоб никто не видел. Вынy завернутую колбасу, повернусь на полке лицом к стенке и без ножа уплетаю. Съем с полфунта, потом таким же манером с печеньем расправляюсь. Совестно есть при всех. Всяк смотрит в рот, считает куски и, очевидно, думает:

«Что это за цаца? Ишь, какие бутерброды мастерит! С маслом, с колбасой! У, паразит!.. И хлеба не хочет — бисквиты лопает! Не иначе, как завмаг!».

Под такими взглядами кусок застревает в горле. Пробовал — не выдерживаю. Тайком лучше.

Фу! Ну и дорожка! От Котласа до Тамбова нет и 1 500 километров, а я уже больше двух тысяч отмахал, и все еще еду. Непостижимо, почему поезд на Москву из Вятки должен завертывать в Пермь, к Уралу, и в Нижний-Новгород, на Волгу.

— Что за чехарда с поездами!? Очумел что ли Наркомпуть?

— Тс-с-с! Военные перевозки! Тс-с-с! — полуиспуганно шепчет сосед.

— Разве что случилось?

— Тс-с-с! Не наше дело. Там лучше знают! Тс-с-с!

— Согласен. Но почему, все-таки, наш поезд на 400 километров влево взял?

— Потому и взял. Может, с нами шпион едет и высматривает, где да что. А по этой линии военных поездов нет. Разве не заметили?

— А-а-а... Вот оно что! Ловко придумано!

— Уж будьте покойны!

ВОТ И ДОМА!

— Миша! Вставай! Алексей приехал.

Из-за двери показалось худощавое лицо брата.

— Михаил!

— Леня!

— Сколько? 16 лет не виделись?

— Больше. С 23-го года — 18 лет!

— А я вам новость привез. Радио передавало...

— ? !

— Война с Германией! Бои идут уже по всему фронту.

Я так и присвистнул.

— Фью! Вот, значит, для чего меня хранила судьба! Еще не все испытано в жизни.

*

На пятый день пришла повестка — явиться 30 июня, в 9 часов утра, на призывной пункт. С каторги — на защиту каторги!

Закрыв комнату на ключ, я на бумаге подсчитываю стоимость большевизма для нашей семьи; не буржуазной и даже не кулацкой — все выросли на черном хлебе и медных пятаках.

Из семнадцати ближайших родственников по мужской линии оказалось за двадцать лет:

расстреляно ГПУ — НКВД	— 2
убит из-за угла большевиками,	— 1
умерло в концлагерях и ссылке,	— 2
покончил самоубийством,	— 1
выгнано из домов и вскоре умерло,	— 2
сидят в концлагерях,	— 2
вернулось из концлагерей,	— 3
покинули семьи, чтоб сохранить себя,	— 2
пока не затронуты режимом и служат ему	— 2

Из тринадцати родственниц:

покончила самоубийством,	— 1
сошла с ума.	— 1
выгнаны из своих домиков,	— 2
торгует телом,	— 1
учатся,	— 2
замужем,	— 3
работают,	— 2
пропала.	— 1

В дом кто-то вошел. Я быстро порвал и сжег исписанный лист.

Из кухни доносился голос:

— Сосед подписался на 25 рублей. Для вашей семьи такая сумма тоже не обременительна. Вы как, — сразу внесете деньги или хотите в рассрочку? Заем Обороны Отечества — дело общее...

Конец.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . . I-XXXII

Часть первая

СОЛОВЕЦКИЕ ФАКТОРИИ

(1930 — 1932)

Глава 1. Лиха беда начало 3
Глава 2. На лесозаготовках 31
Глава 3. Остров - символ 43
Глава 4. Кто и как «осваивает» Север 63

Часть вторая

В УХТО - ПЕЧЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ

(1933 — 1935)

Глава 5. Большевики — народ упрямый 71
Глава 6. Туфта и туфтачи 85
Глава 7. «На все сто...» 91
Глава 8. Уплывшая касса 97
Глава 9. Лагерная любовь 101
Глава 10. Скотство со скотом 105

Часть третья

ПЕЧЕРСКИЙ СУДОСТРОЙ

(1936 — 1939)

Глава 11. Тришкин кафтан 111
Глава 12. Командарм куралесит 117
Глава 13. С плотами 133
Глава 14. Лагерник — полпред 149
Глава 15. Лагерная «Академия» 161

Часть четвертая

В ДАЛЕКОМ ЗАПОЛЯРЬЕ

(1940 — 1941)

Глава 16. Воркута — столица белых невольников 227
Глава 17. Женская командировка 239
Глава 18. Из плена в плен 245
Глава 19. «Буржуев» привезли 251

Часть пятая

С «ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ»

Глава 20. Последний шанс — ЦК партии 261
Глава 21. Во всесоюзную темницу 269

Приложения 287

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные формы прямого принудительного труда в СССР

Название	Состав	Районы размещения	Срок осуждения	Средняя выдача денег на руки в %% от ставок вольных	Режим	Работы
I. Трудовое ополчение	Бывшие политические заключенные и ссыльные, раскулаченные, торговцы и вообще лишенные избирательных прав, но достигшие призывного возраста.	Повсеместно, преимущественно пограничные зоны Запада и Востока.	от 2 до 4 лет	10-15%	Военные формации и строй. Явной военной охраны не имеют. Она подменена усиленным политическим контролем.	Постройка аэродромов, пограничных укреплений, военных дорог; заготовка для армии строительных материалов и фуража.
II. Спецпоселки	Судебно и административно сосланные и высланные, раскулаченные, бывшие политические заключенные концлагерей и остатки разгромленных партий и оппозиций.	Северный край, Урал, Нарым, Обдорск, Туруханск, Средняя Азия и Казахстан.	от 3 лет до «бессрочно»	70-75%	Подчинены поселковым комендантам НКВД, а там, где нет «спецпоселков», обязаны систематически являться на регистрацию в комендатуру местного НКВД или в органы милиции. Отказ от работы или побег наказывается переводом в концлагерь.	Лесные, транспортные и дорожные работы, сельское хозяйство и, как исключение, служба в местных организациях.
III. Принудительные работы.	Осужденные народными судами за мелкие бытовые и служебные проступки.	Повсеместно в городах и районных центрах.	от 2 недель до 6 месяцев	25-75% в зависимости от указаний в приговоре.	Мало отличающийся от режима в колхозах и в промышленности. Уклонение от принудительных работ карается переводом в тюрьму.	Отбывают срок наказания, обычно, по месту постоянной работы или вблизи — на торфоболотах, лесозаготовках местного значения и т. п.
IV. ИТК — исправительно-трудовые колонии	Осужденные народными и окружными судами за служебные, бытовые и уголовные действия мелкого характера: бракоделы, прогульщики.	——	от 6 месяцев до 3 лет	25-30%	Живут и работают под охраной милиции. Разрешаются свидания и даже отпуска. НКВД не вмешивается в жизнь ИТК. ИТК подчинены Наркомюсту.	Сельскохозяйственные и кустарно-промысловые предприятия отдела Мест Заключения.
V. Дома заключения (тюрьмы)	Что и в колониях, а также переведенные из лагерей за отказы, побеги и агитацию.	——	от 6 месяцев до 3 лет, но встречаются и с 10-летним сроком	10-20%	Тюремный	Различные мастерские при тюрьме, а также подрядные работы (выгрузка на станциях и другие).
VI. ИТЛ — исправительно-трудовые лагери («концлагери») 1-й категории	60% служебных и уголовных, 40% политических.	Центральные и южные области страны.	в основном от 3 до 5 лет	5-10%	Усиленная охрана, строгий внутренний распорядок, но относительно терпимые жилищно-бытовые условия. Начальник лагеря вправе разрешать свидания.	Лесные, торфяные, дорожные, постройка каналов (Москва-Волга), пошивка обмундирования для других лагерей, сельскохозяйственные и животноводческие предприятия, земляные работы в районах крупных новостроек.
2-й категории	60% политических, 40% служебных и уголовных.	Европейский Север и район Сибири и Дальнего Востока вдоль железной дороги.	от 3 до 25 лет	——	Ослабленная охрана по финансовым соображениям и природным условиям. Жилищно-бытовые условия очень тягостны: вшивость, теснота и грязь, перебои с питанием. Свидания только с разрешения НКВД из Москвы.	Лесные, строительство железных и шоссейных дорог, каналы; разведка и эксплоатация угля, нефти, радия и других богатств; сельское хозяйство.
3-й категории — «штрафные» или «закрытые» лагери	80% политических и 20% служебных и уголовных.	Крайний Север Сибири и Дальнего Востока. Сообщение со страной только через Ледовитый океан.	от 5 до 25 лет	10-15%	Еще более слабая охрана по тем же причинам. Условия жизни и работы абсолютно бесчеловечны. Вечная мерзлота и тундра действуют на организм хуже самого строгого режима. Письма, посылки и свидания запрещены. Эту категорию лагерей теперь официально называют каторгой.	Золото, дороги через тундру, лес для экспорта, строительство портов в устьях рек, погрузка, выгрузка пароходов, обслуживание изыскательных партий.
Политизоляторы	Только для особо важных, почему-либо избежавших расстрела, активных политических противников и оппозиционеров.	Урал и мелкие города севернее Москвы.	обычно «бессрочные»	10-15%	Неизвестен. Отрезаны от всякой связи с внешним миром.	Единственная форма наказания без принудительного труда.

II. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОВ

А. ОБЩИЙ ИТОГ

	1941 г	1928 г.	1912 г.
1. В концлагерях и спецпоселках НКВД	5.150.000	300.000	—
2. В тюрьмах	1.050.000	160.000	32.000
3. В исправительно-трудовых колониях	900.000	400.000	—
4. В ссылке в отдаленных местностях	3.950.000	200.000	—
Всего	11.050.000	1.060.000	32.000

Б. В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЙОНАМ СССР

	В концлагерях и спецпоселках		в тюрьмах	в исправ.-труд. колон.	в ссылке в отдаленных местн.	итого
	Всего	в т. ч. в спецпос.				
Ленинградская область	100.000	—	40.000	15.000	—	
Карело-Мурманский край	250.000	50.000	5.000	5.000	—	
Печорский бассейн	750.000	150.000	—	—	—	
Проч. обл. европ. севера СССР	350.000	100.000	25.000	10.000	—	
Итого на европ. севере	1.450.000	300.000	70.000	30.000	1.300.000	2.850.000
Европ. ч. РСФСР (без севера)	600.000	—	600.000[1]	500.000		
Украина			200.000[2]	150.000		
Белоруссия	—	—	30.000	30.000		
Кавказ	50.000	—	30.000	40.000		
Итого по этим районам	650.000	—	860.000	720.000		2.230.000
Всего в европ. части СССР	2.100.000	300.000	930.000	750.000	1.300.000	5.080.000
Азиатская часть						
Западная Сибирь	500.000	150.000	60.000	80.000	2.000.000	
Восточная Сибирь	1.400.000	200.000				
Колыма	400.000	—	—	—	—	
Урал	250.000	50.000	20.000	20.000	400.000	
Южн. ч. Дал.Востока	200.000	—	10.000	20.000	100.000	
Караганда	200.000	—	—	—	—	
Среднеазиатские республики	50.000	—	30.000	30.000	150.000	
Всего в азиат. части	3.000.000	400.000	120.000	150.000	2.650.000	5.920.000
На остр. Лед. ок. и Охотск. м.	50.000	—	—	—	—	50.000
Итого по СССР	5.150.000	700.000	1.050.000	900.000	3.950.000	11.050.000

Примечания:

*) В том числе в Москве 40.000

**) В том числе в Киеве и Харькове 50.000

3) Сюда не включены ссыльные и высланные в соседние области и районы — таких несколько миллионов и на особом учете Москвы они не состоят.

Приложение 3

СТРОГОСТЬ РЕЖИМНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

(По степени их морального угнетения)

1. Осужденные за служебные проступки и бытовые преступления.
2. Осужденные за расхищение социалистической собственности.
3. Уголовный элемент (воры, конокрады, притонодержатели).
4. Бандиты (статья уголовн. кодекса 59, пункт 3).
5. Осужденные по прочим пунктам 59-й статьи (контрабандисты), хранение оружия и т. п.).
6. Политические (статья 58 уголовного кодекса):
   а) За агитацию и как социально-опасный элемент (подразделяются в свою очередь на краткосрочников 3-5 лет и долгосрочников — свыше 5 лет).
   б) Вредители и саботажники.
   в) Враги народа.
   г) Шпионы и террористы.
   д) Троцкисты и члены заграничных компартий.

Осужденные по пунктам: в, г, и д с 1935 года, как правило, подлежат содержанию только на подконвойных тяжелых физических работах.

Приложение 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Анализ ведомостей на выплату премиального вознаграждения заключенным приводит к следующим выводам:

На первом месте по размеру премии (а, следовательно, и по производительности труда) стоят осужденные за контрреволюционную агитацию и социально-опасный элемент;

На втором — бытовые преступники (обычно из крестьян: за убийства, поджоги, изнасилование);

На третьем — шпионы и террористы;

На четвертом — расхитители социалистической собственности (в основном колхозники);

На пятом — вредители и саботажники;

На шестом — осужденные за преступления по службе (бывшие чиновники);

На седьмом — враги народа (бывшие члены партии);

На восьмом — бандиты и бывшие уголовники, направленные в лагерь «по изоляции», в порядке профилактики по 35-й статье.

На девятом — троцкисты

И на последнем, десятом, месте — уголовники-рецидивисты.

Приложение 5

УСЛОВИЯ В ЛАГЕРЕ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

(По степени их ухудшения)

По роду работы

1. Счетно-конторский и управленческий аппарат.
2. Бригадиры, десятники, контролеры.
3. Инж.-технический персонал производства.
4. Лагерная обслуга (кухня, баня, портные и т. п.).
5. Квалифицированные рабочие.
6. Вспомогательные рабочие.
7. Основные рабочие.
8. Рабочий состав изоляторов
9. Рабочий состав штрафных командировок.

По фактическому питанию

1. Средний и высший технический персонал.
2. Лагерная обслуга.
3. Конторский аппарат.
4. Десятники, бригадиры, контролеры.
5. Квалифицированные рабочие.
6. Основные и вспомогательные рабочие.
7. Состав штрафных командировок и изоляторов.

Жилищно-бытовые

1. Инж.-технический персонал.
2. Счетно-конторский и управленческий аппарат.
3. Десятники, бригадиры, контролеры.
4. Лагерная обслуга.
5. Квалифицированные рабочие.
6. На массовых работах:
   а) в «обжитых» лагерях.
   б) на «ударных» стройках.
7. Штрафные командировки.
8. Изоляторы.

По размеру денежного премиального вознаграждения

1. Инж.-технический персонал	от 30 до 60 р. в месяц
2. Средн. адм.-тех. персонал	20-30 р.
3. Конторский персонал	10-25 р.
4. Квалифицированные рабочие	12-25 р.
5. Лагерная обслуга на нормированных работах (сапожники, портные и др.)	15-25 р.
6. Рабочие основного производства	8-15 р.
7. Вспомогательные рабочие и ненормированная лагерная обслуга	5-10 р.
8. Штрафные командировки	5-10 р.

Эти таблицы показывают ту же закономерность большевистской действительности, что и на воле: кто создает продукцию, тот хуже питается, живет и оплачивается.

Приложение 6

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ И НОРМЫ

МЕСЯЧНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СПИСОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО

(на Севере, в государственных средних ценах и нормах 1938-1941 г. г.)

№№ п-п.	Наименование продуктов	Единица измер.	Цена за един. измер.	Норма в месяц	Сумма
1.	Хлеб ржаной	кгр.	0.80	21.00	16.80
2.	Крупа разная	кгр.	1.30	3.60	4.68
3.	Мясо	кгр.	3.00	1.00	3.00
4.	Рыба	кгр.	1.50	3.00	4.50
5.	Жиры животные	кгр.	6.00	0.300	1.80
6.	Жиры растительн.	кгр.	4.50	0.450	2.02
7.	Овощи	кгр.	0.20	18.00	3.60
8.	Сахар	кгр.	5.00	0.500	2.50
9.	Чай, кофе	кгр.	2.00	0.150	0.30
10.	Махорка	кгр.	5.00	0.100	0.50
11.	Соль, перец	кгр.	—	—	0.50
					40.20

Приложение 7

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ И НОРМЫ

ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СПИСОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО НА ГОД

(На севере, в государственных ценах и нормах 1938-1941 годов)

№№ п-п.	Наименование	Цена за единицу	Норма носки за год	Сумма на год	Сумма на месяц
1.	Ботинки	16.00	1	16.00	
2.	Валенки	18.00	½	9.00	
3.	Бушлаты ватн.	20.00	½	10.00	
4.	Телогрейки	12.00	½	6.00	
5.	Брюки летние	6.00	1	6.00	
6.	Брюки ватные	8.00	1	8.00	
7.	Кальсоны	3.00	2	6.00	
8.	Нижние рубашки	3.00	2	6.00	
9.	Гимнастерки	6.00	1	6.00	
10.	Полотенце	1.50	2	3.00	
11.	Одеяло	18.00	⅓	6.00	
12.	Матрац	6.00	⅓	2.00	
13.	Портянки	0.50	3	1.50	
14.	Шапка зимняя	2.50	½	1.25	
15.	Шапка летняя	1.50	½	0.75	
				87.50	7.30

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРНОЙ КОМАНДИРОВКИ

